

Рубинштейна читать  
необходимо — чтобы  
все замечать и ничего  
не забывать.

**Петр Вайль**

Лев Рубинштейн  
СКОРЕЕ  
ВСЕГО

CoRpus

Книгу Рубинштейна хочется  
растачить на афоризмы.  
Не сомневаюсь, что именно  
это и произойдет.

**Борис Акунин**

# Лев Рубинштейн

## Скорее всего



издательство **АСТ**

Москва

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
Р82

Фотография на обложке: ДМИТРИЙ АЛЕШКОВСКИЙ

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

**Рубинштейн, Лев**

Р82 **Скорее всего / ЛЕВ РУБИНШТЕЙН.** — Москва : АСТ : CORPUS, 2013. — 575 [1] с.

ISBN 978-5-17-079730-1

Один из основоположников московского концептуализма, поэт, едва ли не самый известный российский колумнист последних лет, Лев Рубинштейн всегда первым высказывается по важнейшим поводам. И каждый раз его едкие и остроумные колонки расходятся цитатами по соцсетям. Рубинштейн как никто умеет видеть мелочи, из которых складывается наша жизнь, и облекать свои наблюдения в слова. Новая книга Рубинштейна “Скорее всего” — это обновленный и разросшийся более чем в полтора раза сборник его колонок “Духи времени”, вышедший пять лет назад. С тех пор многое изменилось, но глупость и невежество, о которых пишет Рубинштейн, остались неизменными. Значит, это не последний сборник Льва Семеновича.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-079730-1

- © Лев Рубинштейн, 2008, 2013
- © А. Бондаренко, художественное оформление, 2013
- © ООО “Издательство АСТ”, 2013
- Издательство CORPUS ®

# Оглавление

*Предисловие* . . . . . 11

Начнем, пожалуй... . . . . . 25

## **на колу мочало**

На колу мочало . . . . . 31

Если вся школа закукарекает . . . . . 35

Откуда что берется . . . . . 41

В один прекрасный день . . . . . 47

Булгакова(-о) знаешь? . . . . . 53

О национальной гордости великороссов. . . . . 59

Ты кто? . . . . . 63

При чем здесь чукча . . . . . 71

Узнай о себе. . . . . 76

Мрачные бесы . . . . .	82
Будем как Мбуругу . . . . .	87
Дункаль . . . . .	92
Тяжелые соты и нежные сети . . . . .	98
Скорее всего . . . . .	105

### **о том, чего не было**

О том, чего не было . . . . .	117
О страхах . . . . .	123
Сон Попова . . . . .	128
Игрушечный попугай . . . . .	135
Скелет писателя . . . . .	141
Так само получилось . . . . .	146
Памяти Кулибина . . . . .	153
Прощайте, голуби . . . . .	157
Куда что девается? . . . . .	164
Велосипед . . . . .	170
История . . . . .	175

### **семантический сдвиг**

Ни слова о политике . . . . .	179
Суверенная логика . . . . .	186
Папа или Сталин? . . . . .	195
Слово на слово . . . . .	202
Довольно простоты . . . . .	208
Гордость с нагрузкой . . . . .	216

Утерянный рай. . . . .	223
Да, вольность. . . . .	229
Бабушкины сказки . . . . .	235
Превратности любви. . . . .	244
Некритические дни. . . . .	254
О самобытности. . . . .	261
Комплексные обиды. . . . .	265
Песня оленине. . . . .	273
Вечная мерзлота . . . . .	280
Семантический сдвиг . . . . .	287
Осторожно: август. . . . .	291
Всемирная отзывчивость. . . . .	296
Словарный запас . . . . .	299
Чем прозрачнее, тем прочнее. . . . .	304
Семиотический прорыв . . . . .	312

### **апология одного места**

Коммунальное чтение . . . . .	325
Да не оскудеет, или Четыре в самый раз . . . . .	341
Танцы от печки. . . . .	346
На железной дороге . . . . .	350
Воздушная тревога . . . . .	355
Уроки литературы . . . . .	361
Разрешите обратиться . . . . .	369
Ледовое побоище . . . . .	375
Я поведу тебя в музей . . . . .	381
За ваше и наше здоровье . . . . .	386

Личный вес .....	391
Апология одного места .....	396
Мы отдохнем .....	401
Танцуют все .....	406
Вне игры .....	414
Человек и машина .....	420

## **фирменная упаковка**

Нам не дано предугадать .....	429
Урок чтения .....	434
Старые басни о главном .....	439
Следите за рекламой .....	444
Лебединое болото .....	449
Обнажение приема .....	457
Деревенская проза .....	463
Вам музыку? .....	470
Точка пересечения .....	474
Доиндустриальный пейзаж .....	479
Гуляем .....	485
Духи времени .....	491
Фирменная упаковка .....	497
Торжество неумеренности .....	501

## **бобровая струя**

Страховое обеспечение .....	509
Восточный мотив .....	515

Бобровая струя . . . . .	519
С отдаленной поднявшись вершины. . . . .	523
Весеннее настроение. . . . .	527
Мечты и звуки . . . . .	532
После антракта . . . . .	536
Покурить, что ли? . . . . .	540
Дамы и кавалеры . . . . .	544
Собачьи метафоры . . . . .	548
Так, как есть. . . . .	553
Сон автора . . . . .	558
<i>Послесловие</i> . . . . .	565





## *Предисловие*

# **Ежик кучерявый**

В самой первой (после введения) главке “На колу молчало” — образец писательского метода Льва Рубинштейна, способа его мышления.

Он огорченно задумывается, почему в России постоянно приходится заново расставлять исторические акценты, напоминать об очевидном. Пытается найти ответы в поздней грамотности населения, в крепости устной традиции. Сюда можно было бы добавить многовековую непривычку к критическому чтению. Главную Книгу не то что не толковали, как в других христианских странах и народах, — даже не читали, а слушали, причем не на родном языке. А когда наконец перевели

с церковнославянского на русский и сделали доступной — вскоре вовсе запретили, на любом наречии.

Рубинштейн, однако, не задерживается на поисках первопричин. Его всегда волнует сегодняшний облик явления. “Что” важнее, чем “почему”: оно, *что*, влияет на нынешнюю жизнь. Констатировав: “Все большее право голоса обретают вечные второгодники”, с характерной своей трезвостью Рубинштейн произносит главное: “Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье”.

Ага, непробиваемое, неуязвимое душевное здоровье. То самое, которому дивился Василий Розанов: “Русь слиняла в два дня. Самое большое в три... Что же осталось-то? Станным образом — буквально ничего”. О чем почти истерически едва не теми же словами написал Георгий Иванов: “Невероятно до смешного: /Был целый мир — и нет его... /Вдруг — ни похода ледяного, /Ни капитана Иванова, /Ну абсолютно ничего!” А потом, в 1991-м, так же стремительно рухнул новый и тоже казавшийся неколебимым целый мир. А уже через десяток лет пошел вспять, и опять все надо повторять и объяснять заново. “Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоро-

вье”, — говорит Рубинштейн. Анализ и диагноз разом. Глубокий, основательный, подробный — два предложения из восьми слов.

Любопытно, что уже в следующей главке снова косвенно тревожится тень Розанова. Рубинштейн мельком замечает: “Мне, впрочем, всегда были подозрительны люди, неумеренно много талдычащие о нравственности. Так же, как, скажем, и о любви к родине”. Это парафраз розановских мыслей: “Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали” и “Чувство Родины должно быть великим горячим молчанием”. Парафраз, разумеется, невольный, порожденный одинаковым художническим принципом — изъясняться прямо и свободно. Да, вот так просто: всего только прямо и всего только свободно — только нужен еще талант. Чтобы читать было интересно.

Рубинштейна читать хочется — для получения физиологического удовольствия. Когда никого рядом, а ты смеешься, даже хохочешь в голос и выбегаешь, чтобы пересказать.

Рубинштейна читать нужно — это душеполезно.

Рубинштейна читать необходимо — чтобы все замечать и ничего не забывать.

Одна из рубинштейновских книг называется “Случаи из языка” — по сути, таково название всех его книг и всей его жизни, осмелюсь сказать. “Пространство языка — единственное пространство, реальность которого не подлежит сомнению”, — утверждает он. В главе “Слово на слово” речь о том, как разность мировоззрений проявляется в языковой несовместимости: “Ключевые слова и понятия ударяются друг о друга с диким кляцаньем и высеканием искр”.

Слова Рубинштейн знает все, а своими владеет виртуозно. На это оружие и надеется во всех случаях жизни: “Вместо того чтобы обидеться, ты начинаешь смеяться”. Ирония — “противоядие против мракобесия всех видов”. Он убежден, что “язык зла хаотичен и неререфлективен. Зло никогда не бывает остроумным. А если бывает — то это уже не зло”.

Универсальный рецепт: смешно — не обидно, смешно — не противно, смешно — не страшно. Все более-менее это знают, но надо же уметь применять. Рубинштейн так свято верит в прописанное (буквально) средство, что даже увлекается — ведь зло бывает остроумным и может оставаться при этом злом, когда оно чернит истинные добродетели и рушит заслуженные

репутации. Однако всегда приятнее перехлест в благодушной недооценке, чем в осудительной переоценке.

В одной из хрестоматийно рубинштейновских историй он рассказывает о каком-то музее: “К совершенно пустой витрине была пришпилена бирка. На ней значилось: “Кучерявость у ежей”. На другой бирке, чуть ниже, было написано: “Экспонат на реставрации”. Да не на реставрации — вот он, книжки пишет: ежик, но кучерявый. Редчайшая разновидность.

При всей язвительности и порывах гневного негодования Рубинштейн в большинстве случаев добродушен — как раз потому, наверное, что уверен в силе (своих) слов. Как трогательно, хотя правдиво и без прикрас, описано коммунальное детство. Как дан портрет коммуналки — смешной, парадный, едкий, домашний, вроде групповых портретов Хальса.

Подробный и сжатый очерк тенденций, явлений и стиля пятидесятых: в полстраницы вместилось то, что у других заняло бы толстый том. Чем там занимаются на факультетах журналистики, кого изучают? Есть у тех, изучаемых, рубинштейновская способность к концентрации оригинальной мысли? Запомнить его тесноту слов в строке — и попробовать самому. Ну,

мыслить на чужом опыте и таланте научиться нельзя, но хоть глаз наметать — что хорошо, что плохо. Хорошо — чтобы небанально.

Рубинштейн пишет про поражающую взрослых свежесть детского словоизъявления: “Они как-то вдруг формулируют то, что должны были бы сформулировать мы сами, если бы умели”. Получилось, что это он про себя, он именно так умеет, он за нас старается.

С детски равным вниманием и сочувствием сопрягаются музей и помойка: андерсеновское внимание к вещному миру и андерсеновская способность одушевлять неодушевленные предметы.

С нежностью описан сортир, по недостатку жилплощади превращенный в кабинет, в котором почерпнуто (каламбур случаен) так много разумного, доброго и пр.: “Настольные книги читаются там, в местах, где нет стола, но есть покой и воля”. Это стихи вообще-то: одна строка — четырехстопный амфибрахий, другая — шестистопный ямб. Пробыло-таки поэта на поэзию — и то сказать, предмет высокий.

Щедро и походя Рубинштейн разбрасывает то, что другой бы любовно мусолил страницами. Ему не жалко, и в этой расточительности — расчет профессионала.

Характерно подано то, от чего хохочешь и выбегаешь. Рассказ врача о записи в сельской больнице: “Укус неизвестным зверем в жопу”. Начало романа, написанного девятилетней девочкой: “Герцогиня *N* сошла с ума после того, как узнала о том, что ее дочь незаконнорожденная”. Бомж, которого прогоняла буфетчица, грозя вызвать милицию, “повернулся лицом к очереди, развел руками и сказал: “Нонсенс!”. О себе: “Кассирша в нашем супермаркете огорошила меня вопросом: “Молодой человек! Пенсионное удостоверение у вас при себе?”

Самое уморительное отдано другим — вряд ли потому, что оно в самом деле подслушано и автор поступает благородно, не присваивая чужие шутки. Похоже, часто похоже, что шутки все же его собственные, но он умно и дальновидно вкладывает их в уста персонажей, тем самым создавая животрепещущую панораму, а не фиксируя отдельный взгляд из угла. Мелкое авторское тщеславие отступает перед большой писательской гордыней. Тут высший пилотаж: понимание того, что пересказанная чужая реплика — *твоя*, если ты ее вычленил из людского хора, запомнил, записал и к месту привел. *Твоя* и книжная цитата с какой угодно добросо-



вестной сноской — если ты приподнял ее на пьедестал своего сюжета. В подслушанной речи и прочитанной книге не больше отчуждения, чем в своих снах или мимолетных мыслях: это все *твое*. “Мой слух устроен так, что он постоянно вылавливает из гула толпы что-нибудь поэтическое”, — говорит Рубинштейн. Все-таки, наверное, не совсем так: его слух ловит и преобразует услышанное в поэтическое — потому что “любой текст в соответствующем контексте обнаруживает способность прочитываться как объект высокой поэзии”. Потому что “жизнь, вступая время от времени в схватку с жизнью и неизменно ее побеждая, сама же литературой и становится”. Это и есть случай из языка. Случай Рубинштейна.

Описывая свои школьные годы, он замечает: “Ученичок я был еще тот. Нет, учился-то я как раз неплохо — не хуже многих. Но я (курсив мой) *вертелся*”.

И, как видим, продолжает — это точное описание способа познания жизни. Озирая мир благодаря выбранному методу на все 360 градусов, Рубинштейн, невзирая ни на что, все-таки вертится!

В книге 62 главы + введение = 63 фрагмента. Охват тем широчайший: писательское призвание, над-

писи на заборах, актерство и притворство, тоска по СССР, автомобиль глазами пешехода, еврейство, смысл Нового года, эрозия языка, ксенофобия, попрошайки, природа страха, пьяные на улицах, футбол как провокатор агрессивности, страшная и заманчивая Москва, вещи в нашей жизни, запахи, коммуналка, китч, храп, интеллектуальная роль сортира, “свой путь” России. Сколько набралось навскидку? Двадцать одна — всего-то треть.

При этом Рубинштейну словно мало разнообразия в его дробной, многофасеточной исповеди сына века. Он все не унимается, смотрит, запоминает, перечисляет. Перечни жизни — одно из его искуснейших фирменных изделий. Ладно когда речь о весне, но вот — храп: “Хлопотливые будни ночных джунглей, грозное рычание разгневанного океана, широкомасштабное танковое сражение, встревоженная ночной грозой птицеферма, финальный матч мирового чемпионата по футболу, брачный дуэт кашалотов, шепот, робкое дыханье, трели соловья”.

Эссенция, она же поэма; конспект, он же песня.

И тут же — мастер-класс элегантности письма и точности формулировок.

Емкие метафоры России изготавливаются из подручного (подножного) материала: “Если водка — воплощение всего человеческого, то лед — всего государственного”.

Стиль — сжатость: “Да стоит ли так много говорить о “великой стране”, если ты и правда так уж уверен в ее величии?” Или такое: “Когда не очень получается стать нормальными, приходится становиться великими, тем более что это куда проще”. (Снова вспомним Розанова: “Хорошие чемоданы делают англичане, а у нас хороши народные пословицы”.)

Эпитетов, как пристало истинному стилисту, немного, но уж когда есть, то они начеку: “Жирный гламур, наглюющая от полной безнаказанности попса, несовместимый с жизнью телеюмор”.

Небрежным движением меняются местами заглавная и строчная: “А кто же у нас будет путиним на следующий срок? Неужели опять Президент?”

Исполненный здравого смысла Рубинштейн адекватен — редкое качество. Нет иллюзий — нет разочарований. Но есть надежды — значит, есть горечь. Есть находки — значит, есть радость.

Он пишет о некоем интеллектуале: “Это не оппозиционер и не апологет государства. Это его трезвый критик и ироничный комментатор. Это официально признанный носитель независимого взгляда. Это диагноз”.

О ком бы ни писано — перед нами автопортрет. Дан в главке с примечательным названием “Превратности любви”. А за что любить диагностов? Не за диагноз же, в самом деле.

**Петр Вайль**



**СКОРЕЕ ВСЕГО**



## Начнем, пожалуй...

**У** многих эта проблема считается едва ли не главной. Да не у многих — практически у всех. Проблема эта, если обобщенно, формулируется так: “С чего бы начать?” Или еще говорят: “Главное — начать. Дальше уже пойдет”.

Откуда такая уверенность, что пойдет? И почему игнорируется такая вещь, как “чем все закончится”? Неужели только потому, что это и так вроде бы известно? Чем-чем? Ну понятно чем. Все умрем, короче...



Нет, говорят, главное — начать. Или же, что еще главнее, не начинать вовсе. Это тоже имеет кой-какой смысл. Я вот прочитал недавно в интервью одного, что существенно, журналиста интересные соображения о том, что если бы, мол, не было свободных средств массовой информации, то не было бы и терактов. С соответствующими выводами. В общем-то, это правильно. Террор, если это, конечно, не террор государственный, только и может что являть себя на фоне демократических, открытых, прозрачных декораций. А уж свободная пресса в его системе координат — это, в сущности, его же трибуна. Все правильно. Кому интересно взрывать что-либо и кого-либо, а тем более себя самого в ситуации, когда об этом никто не узнает. А если и узнает, то исключительно из шипящих по техническим в основном причинам враждебных голосов.

Все правильно. Но не более правильно, чем то обстоятельство, что если бы не случилось так, что человек родился, то он бы и не умер. Полагать любое начало причиной любого конца — вечная как мир логическая ловушка. В причинно-следствен-

ной системе некоторых племен бассейна Амазонки, например, считается, что ветер дует оттого, что качаются деревья. Я, между прочим, не утверждаю, что это не так. Просто у одних так, а у других иначе.

Начало, в том числе и начало текста, действительно необычайно важная вещь. Вот, допустим, сижу я сейчас за своим компьютером и пишу эти строки, а справа и слева от меня сидят двое моих уважаемых коллег и пытаются начать текст — каждый свой. Тот, который слева, не дает мне писать и требует, чтобы я придумал заголовок к его статье. Без заголовка он, видите ли, не может выдать из себя ни слова. А с заголовком он, видите ли, может. Пожелаем ему удачи. Тот же, который справа, открыл файл, написал свои имя и фамилию и теперь сидит уже минут сорок, пытаюсь сочинить первую фразу.

А что тут можно сочинить?

Вот раньше, во времена Большого стиля, было куда как легче. Напишет человек что-нибудь вроде того, что *“Веками человечество...”*, и пошло-поехало. Это не менее надежно, чем век тому назад — *“Наш полк стоял...”* Тут ведь сам язык пове-

дет тебя куда надо вплоть до Киева, а если повезет, то и дальше. Или так: *“Собирались начали еще затемно”*. Чем плохо? Или: *“С утра дорогу развезло, и до Воропаевки добрались лишь к девятому часу”*. У таких начал нет проблем и с продолжением. Где-то ближе к середине легко и непринужденно может возникнуть что-то вроде *“От местных мужиков удалось узнать, что...”*. А если тебя пробило на пахотно-сивушную “живинку”, то после *“Выпили по первой. Похрустели ядреной хозяйкиной капусткой. Помолчали. После второй языки помаленьку развязались”* вообще уже все пойдет, что называется, мелкими пташками. Чужой, но зато проверенный стиль выведет тебя как слепого на широкую дорогу. Другой вопрос — что на этой дороге делать? Куда она приведет, кроме кассы, да и это под большим вопросом?

Так что делать нечего. Опять приходится думать. Думать о начале. А если ничего толкового не придумаем, отмахнемся самоцитатой: *“Можно начать с чего угодно, будучи уверенным в том, что любое начало в данном случае будет многообещающим”*.

**НА КОЛУ  
МОЧАЛО**



## На колу мочало

**О**дной из характерных и, увы, неизбежных особенностей нашей культурной ситуации является необходимость время от времени заново объяснять, кто есть кто и что есть что. Историко-культурная амнезия — хоть и досадное, но постоянное условие протекания культурных процессов, и с этим приходится считаться. Что же делать, если все время приходится напоминать об очевидных вроде бы вещах.

Амнезия эта, как кажется, есть следствие глубоко укорененной в российском общественном

сознании устной традиции. Может быть, это объясняется относительно поздней грамотностью населения. А может, поздняя грамотность объясняется этим. Так или иначе, но история здесь не написана и не прочитана. Она рассказана и услышана. Как рассказана, так и услышана. Как услышана, так и забыта. Устная традиция предполагает, как, например, в былине, периодическую повторяемость ключевых элементов повествования. Для того чтобы хоть как-то запомнить. Для того чтобы хоть как-то пересказать другим.

Эта амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье. Это такое специфическое восприятие времени, где все, что происходит, происходит практически одновременно. Так не бывает в истории, но так бывает в эпосе.

На одном из радиоканалов записывали интервью с неким писателем старшего поколения. Писатель говорил о многом, в том числе и о Пушкине. Видимо, о Пушкине он говорил настолько убедительно, что, когда писатель отговорил и ушел из студии, молодой звукооператор с некоторым трепетом спросил у ведущего программы:

“Он что, знал Пушкина?” То, что для юноши-звукооператора все происшедшее до его рождения воспринимается как-то нелинейно, что все события прошлого в его сознании существуют практически синхронно, — это, конечно, минус. Но зато он знает слово “Пушкин”. И это несомненный плюс. Впрочем, “Пушкин” — настолько успешный бренд, что не знать его было бы просто неприлично.

С этими самыми брендами, ради удобства и мобильности их бытования лишенными всякого содержательного наполнения, происходят иногда странные вещи. Знакомый художник рассказывал, как недавно ехал в такси. Разговорился, как обычно бывает, с водителем. Водитель спрашивает пассажира о его профессии. Художник честно говорит, что он художник. “Как Малевич?” — неожиданно спрашивает водитель. А ведь многие-многие десятилетия “художником” был Репин или на худой конец Айвазовский. А тут поди ж ты — Малевич. Победил-таки некогда опальный “Черный квадрат”. Отомстил-таки Ивану Грозному за его непедагогичный посту-



пок. Впрочем, знал ли этот водитель о Малевиче что-либо, кроме его фамилии и того, что он был художником, никак не очевидно. С Пушкиным, впрочем, та же история.

Та же история и с историей вообще. На дворе есть кол. На колу мочало. Начинай сказку сначала.

## Если вся школа закукарекает

**Н**екоторое время назад, включив зачем-то телевизор, я наткнулся на дискуссию. Дискуссия была в самом разгаре. Речь там шла о свободе и нравственности. И так как-то там все время получалось, что свобода с нравственностью сочетаются плоховато.

Особо активничала там некая дама. Судя по речам, а также горящим глазам и проповедническим интонациям, дама была высокодуховная и патриотичная до невозможности. Дама делилась со зрителем некими откровениями напоодо-

бие того, что свободы без твердых нравственных понятий быть не может. Вот ведь удивила! Что за такая свобода сама по себе, риторически восклицала дама. Просто свобода, свобода вообще — это чушь собачья, говорила она. Бывает, мол, свобода убивать, а бывает свобода быть убитым. Ну и прочее в таком духе.

Это, в общем-то, правильно — свободу действительно каждый понимает по-своему. А вот нравственность, видимо, все понимают одинаково. То есть именно так, как ее понимает тетка из телевизора. Мне, впрочем, всегда были подозрительны люди, неумеренно много талдычащие о нравственности. Так же, как, скажем, и о любви к родине.

Представления о нравственности не только индивидуальны, но и историчны. Я, представьте себе, не забыл те времена, когда глубоко безнравственными были короткие юбки, шорты, длинные волосы, драные джинсы, непонятная музыка и “дикие танцы”. Можно ли сказать, что человек, который оскорбляет мои эстетические и моральные представления своим внешним видом и бытовым поведением, ведет себя безнравственно по от-

ношению ко мне и ограничивает мою свободу? Можно, почему нет.

Когда-то, очень давно, я зашел пообедать в какое-то кафе в центре города. Сел, сделал заказ. Пока ждал заказ, вынул из сумки книжку, раскрыл ее, стал читать. Подошла официантка и произнесла удивительную фразу. “У нас не читают”, — сказала она строго. “Чего это вдруг?” — изумился я. Официантка, к ее чести, сочла возможным снизойти до того, чтобы растолковать мне вещи, которые, казалось бы, очевидны для каждого нормального человека. “Так это же кафе, — говорила она медленно и отдельно, как это делают при общении с глухими или иностранцами. — Люди сюда приходят отдохнуть. А тут кто-то вдруг читает! Вам вот было бы приятно?” Слово “читает” она произнесла с плохо скрываемой брезгливостью. Я понимаю, что сам по себе процесс чтения был для нее чем-то гадким, тягостным и предельно неуместным в приличной обстановке. Чтение не вызывало у нее никаких ассоциаций, кроме занудной и репрессивной школы, так и не выученного письма

Татьяны к Онегину и неисправленной двойки по географии. Я, безусловно, ее обидел, ибо человек, читающий в присутствии людей, похуже будет, чем человек, ковыряющийся вилкой в зубах. Просто уже хотя бы потому, что мотивы его совершенно необъяснимы. В общем, я поступил безнравственно и осознаю это.

Всегда кто-то кого-то обижает проявлением и утверждением собственной свободы. Но обиженный в свою очередь обижает обидчика отсутствием терпимости и неадекватными реакциями. Вспомним хотя бы историю с карикатурными битвами. Обижать других нехорошо, безнравственно. Но шумно и вздорно обижаться на все подряд не менее безнравственно, вот ведь в чем дело.

Время от времени нам назидательно повторяют, что демократия — это не вседозволенность, а рынок — не базар. Сами знаем, что не базар — за базар надо отвечать. А еще говорят: вот почему тебе можно, а другим нельзя? Почему, и другим можно, говоришь ты. Да другим такая глупость и в голову не взбредет, говорят тебе. А мне вот взбрела, говоришь ты, и на тебя обижаются.

Вот еще такую историю я очень люблю. Однажды мою хорошую знакомую вызвали в школу, где тогда учился ее сын. Вежливая, но строгая завуч завела ее в свой кабинет, плотно закрыла дверь и сказала: “Я хочу серьезно с вами поговорить”. Сердце матери тревожно дрогнуло. “Дело в том, — сказала завуч, — что ваш Саша на переменах громко кукарекает”. Слово “кукарекает” она произнесла с каким-то особым нажимом. От сердца отлегло. “Ну и что такого? — спросила легкомысленная мамаша. — На переменах же”. “Вот это мне нравится! — дидактично воскликнула завуч. — Как это “ну и что”? А если завтра вся школа закукарекает?” Представив себе столь искрометную сцену, моя знакомая, забыв о необычайной важности момента, стала дико хохотать. “Ничего смешного я тут не вижу, — строго сказала педагогический работник. — Это вовсе не смешно”. Чем там кончилось дело, не помню, да это и не важно. Важно то, что вся школа, вопреки мрачным пророчествам завуча, так, кажется, и не закукарекала.

Но что правда, то правда — границы нашей свободы все время трутся, иногда высекая искры,

о границы свободы чужой. Тут, в сущности, бессильны и этические, и даже юридические механизмы. Тут приходится опираться лишь на собственную нравственную и эстетическую интуицию. Ну и на опыт, разумеется. А опыт свободы едва ли представим без самой свободы.

## Откуда что берется

**Ч**исто теоретически в полном соответствии со священной для меня презумпцией невиновности я готов допустить, что различные наши высокие и не очень законодательные органы не щадя живота своего с раннего утра до позднего вечера заняты исключительно чем-то ужасно созидательным или хотя бы просто позитивным. Видимо, так оно и есть, если судить по тем многочисленным соревнующимся друг с другом в исключительной разумности законодательным инициативам, которые мне удается вылавливать из новостей.



Однако все время получается так, что подавляющее большинство этих инициатив носят все больше запретительную или, पुще того, карательную окраску. Ну как-то так получается. Похоже на то, что коллективный депутатский разум всю свою интеллектуальную энергию расходует на решение вечной русской проблемы — чего бы такого еще запретить.

Корни этого явления, впрочем, залегают на довольно существенной глубине общественной российской традиции, закрепленной даже и на лингвистическом уровне.

Мой эстонский приятель рассказывал мне, как когда-то, уже очень давно, после окончания Тартуского университета его призвали в армию на два года. В качестве офицера. И он стал, как тогда это называли, двухгодичником.

Службу он проходил в Калининградской области, в каком-то маленьком городке. По-русски он говорил вполне свободно и литературно, потому что много читал. Но, будучи все-таки нерусским, знал не все русские слова, точнее, не все их значения. И, как оказалось, не знал он значений слов

очень важных, особенно в контексте армейской жизни. Долгое время он, например, никак не мог уяснить онтологического смысла слова “не положено”, с которым он сталкивался постоянно. Это, как он понял далеко не сразу, был универсальный, абсолютно исчерпывающий, хотя и не слишком удовлетворяющий европейский разум моего друга ответ на все вопросы из разряда “почему нельзя то-то и то-то”. Почему, почему. Не положено, сказали же тебе! Вопрос о том, почему именно “не положено”, либо вовсе игнорировался, либо отзывался иррациональным, тавтологическим, но по-своему убедительным ответом: “Потому что не положено”.

Наши законодатели, конечно же, не звери какие-нибудь. Не садисты и не палачи. Они ведут себя, можно даже сказать, вполне адекватно в условиях полного отсутствия самого, пожалуй, насущно важного запрета — запрета запрещать. А потому так лихо гуляют по буфету.

Войдя во вкус, давая волю своему врожденному хватательно-заградительному инстинкту, остановиться они не в состоянии. Да и зачем?

Слегка отшумели страсти по поводу скандального, противоречащего конституционным нормам и международному праву, дикарского гомофобского закона. И вот уже всерьез обсуждается новость о том, что “депутаты Мосгордумы собираются разработать городской закон, запрещающий пропаганду сексуальных отношений среди несовершеннолетних”.

Дело не в том, насколько реальна упомянутая пропаганда. Мне, например, такая пропаганда никогда в глаза не бросалась. Более того, я как-то всегда был уверен, что секс, хоть разнополый, хоть однополый, хоть взрослый, хоть подростковый, никогда в особой пропаганде не нуждался. Во времена моей юности никакой такой “пропаганды” уж точно не было. И настолько ее не было, что некоторые чистые души даже были уверены, что его в СССР и вовсе нет. А он, вообразите себе, был.

Дело вообще в другом. А именно в том, что никогда не известно, что придет в голову нашим неугомонным законодателям считать таковой пропагандой. И ладно бы еще законодателям. Есть же еще и исполнители подобных законов. Есть еще и не-

исчислимая рать надзирателей, плодящихся на просторах нашего запретократического государства в геометрической прогрессии. А уж они-то свои буйные фантазии точно обуздывать не приучены.

Я вот легко представляю себе, что таковой “пропагандой” легко может стать, например, то, что когда-то называлось половым воспитанием подрастающего поколения, а любой человек, по большому секрету сообщивший этому самому подрастающему поколению, откуда оно, это поколение, взялось, может запросто оказаться правонарушителем.

Может быть, и правда не стоит рассказывать детям, откуда они берутся? Тем более что берутся они, как известно, из совершенно разных источников.

Обстоятельства рождения у всех, конечно же, разные. Кого-то, как всем известно, приносят аисты. Кого-то находят между листками капусты, поближе к кочерыжке. Кому-то покупают братиков и сестричек в специализированных магазинах. Одна барышня, историческая достоверность которой до сих пор оспаривается неисправимыми скептиками, возникла буквально из соленой морской пены. Бывает даже и так, что кого-то извле-

кают из маминого животика. Всякое бывает. И это все более или менее счастливые случаи.

Но как же сокрушительно много тех, кто самозародился под половой тряпкой, валяющейся в углу казарменного сортира. Или между прутьями решетки канализационного люка. Или в куче облюбявленной семечной шелухи на крыльце окраинного барака.

Как же они узнаваемы по голосам и выражениям лиц! Как же они хорошо заметны! Особенно тогда, когда они неудержимо тянутся вверх, как тянутся вверх худосочные, но долговязые помоечные цветы.

Это я, конечно же, не про наших уважаемых, всенародно избранных депутатов. Впрочем, такое и в голову никому прийти не может. Не правда ли?

## В один прекрасный день

**К**огда-то очерки очеркистов начинались так: “Ничто не предвещало беды. Светило по-весеннему яркое солнце, принялись за влажную уборку родного города поливальные машины, хозяйки с кошелками и корзинками с утра пораньше отправились за покупками, потешные в своей важности малыши спешили в школу...” Ну и так далее вплоть до слов “и тут произошло страшное”. Такими надежно клишированными художественными средствами описывалось обычно все то, что гораздо позже получит нерусское название “саспенс”.

Но дело-то в том, что все это бывает на самом деле.

Ты выходишь из дому, почему-то уверенный, что сегодня все будет хорошо. И уже хорошо. Вот в лифте с тобой приветливо здоровается мрачноватая тетка, про которую ты привык думать, что она тебя неизвестно за что не любит и поэтому смотрит волком. Мало ли что, думаешь ты, может быть, человек болен чем-нибудь, а так ведь нормальный же человек. Надо, думаешь, просто стараться всех понимать и уметь ставить себя на их место.

Сегодня с утра ты всех понимаешь.

Вот две женщины в черных платках и с букетиками в руках спрашивают, как пройти в больницу номер такой-то. Ты понимаешь, куда и зачем они идут. Ты всем своим видом демонстрируешь деликатное понимание. Ты объясняешь, что это прямо тут, за углом. Вот ты проходишь мимо троллейбусной остановки, где на скамеечке сидит томный гражданин и пьет что-то из чего-то обернутого в газету. Вы встречаетесь глазами. Ты опять же выражаешь понимание и даже одобрение с помощью большого пальца правой руки. Утоляющий жажду улыбается

и кивает тебе в ответ. Вот проезжающая мимо машина замедляет ход, чтобы не обрызгать тебя водой. Вот два небритых южанина (заметьте, именно “южанина”, а не “кавказца”) с какой-то мятой бумажкой в руках спрашивают у добродушного милиционера, как им попасть на такую-то улицу. А он, вместо того чтобы прямо тут же проверить у них документы, подробно объясняет и даже рисует чего-то на бумажке, да еще и улыбается при этом.

Что за день? Что за город? Не город, не день, а какая-то сплошная реклама сока “Добрый”. Но ведь так бывает. Действительно бывает — это все знают.

Ты легок и расслаблен, и ты с готовностью впадаешь в благодушную маниловщину. Что-то все-таки меняется в нашей жизни, думаешь ты. Да, медленно и не без уродств, но меняется. Цивилизованность, обобщаешь ты, несмотря ни на какие родовые хвори нашей ухабистой истории, все равно рано или поздно... и так далее.

В общем, ничто не предвещает беды, и беды — скажем, забегая вперед, — так и не случается, хотя она и пытается, гадина, добраться до тебя.



Ты, уже расслабленный и расставшийся на время с присущей тебе смутной тревожностью, подходишь к табачному киоску купить сигарет. Ты стоишь и умиротворенно ждешь, покуда милая продавщица отсчитывает тебе сдачу. Да, я тороплюсь, да, она считает мучительно медленно. Но у нее, видимо, зрение плохое. Она, видимо, новенькая. Потерплю, ничего страшного. Не раздражаться. Понимать. Всех надо понимать.

Но тут из хтонических глубин возникает та самая “беда”, которую “не предвещало ничто”. Она возникает в облике очень мрачного и неопрятного мужчины. Ему тоже нужны сигареты. Он отодвигает тебя рукой и обдает тебя невыразимым духом вчерашних радостей. “Нельзя ли полегче все-таки?” — говоришь ты все еще добродушно. “А х... ли ты тут встал?” — отвечает ожесточенный неопохмеленностью мужчина. “Встал, потому что надо”, — начинаешь заводитьсь и ты, понимая уже, что привычная жизнь все же сильнее и правдивее, чем непривычная. “Ты ведь еврей?” — не столько спрашивает, сколько констатирует твой незванный оппонент.

“Все, — тоскливо думаешь ты, — начинается тема, развитие которой чревато неизбежными хватаниями за грудки”. Ты с самого детства не привык спускать такие штуки. Ты вспоминаешь все. Нет, погромов и Освенцимов в твоей жизни, слава богу, не было. Но был московский двор середины пятидесятых. Был Витька Леонов, смертельный твой враг, говоривший тебе при встрече: “Абг’ам любит куг’очку”. Ты, не думая ни о чем, бросался на него и тут же оказывался на земле, потому что гад был вдвое больше тебя. И была школа № 11. И был завуч Иван Тихонович, который делал вид, что никак не может запомнить твоей фамилии, и потому называл тебя, к бурному восторгу класса, то Гуревичем, то Рабиновичем. И была девочка Таня, которая спрашивала тебя, почему твою бабушку зовут таким глупым именем — Берта. И была смутно запомнившаяся зима 1953 года. И была на нашей улице маленькая аптека, где много лет проработала маленькая тихая женщина в круглых очках — Софья Соломоновна. Ее все знали. В те дни она стала средоточием смертельной ненависти, охватившей всю округу, весь город, всю страну. “Куда смотрит

начальство, — волновались тетки в очереди, — почему ее не уберут отсюда? Они же нас всех тут угробят на хер”. И прошло много лет, пока ты не научился без внутренних судорог произносить постыдное слово применительно к себе самому — первое лицо единственного числа давалось долго и мучительно.

“Да, я еврей”, — говоришь ты, размышляя при этом, куда бы девать очки.

Но тема делает абсолютно непредсказуемый поворот. “Да какой же ты еврей? — говорит ни с того ни с сего твой новый знакомый. — Евреи умные. А ты дурак”. Преодоление жанровой инерции кажется столь радикальным, что вместо того, чтобы на законных основаниях обидеться на “дурака”, ты начинаешь смеяться. Смешно ведь, и правда. Просто надо всех понять. День удался.

## Булгакова(-о) знаешь?

**Д**а, понимаю, заголовок довольно странный. Но потом все разъяснится, обещаю, — чуточку терпения.

А для начала вот что. Неизбывный наш литературоцентризм, вступая в непосредственное соприкосновение с грубой реальностью, преподносит нам иногда... Нет, не то. Об этом наговорено столько уже всего, что лучше будет как-нибудь по-другому.

Так, например. В детстве я очень любил географию. Точнее сказать, географическую карту, висевшую над моим письменным столом. Пялиться

на пеструю карту мне было как-то веселее и увлекательнее, чем на постылые и совершенно закрытые для восприятия страницы учебника по физике под редакцией Перышкина и Крауклиса. (Вот память! Хотя не могу исключить, что Перышкин и Крауклис — это как раз какая-нибудь стереометрия, хрен редьки не слаще. Нет, стереометрия — это все-таки Стратилатов, точно помню. Так что все правильно.)

Карту я знал очень хорошо: мог почти точно нарисовать большую жирную запятую Африканского континента или Скандинавский полуостров, похожий на спящего сенбернара в профиль. Я, хоть ночью разбуди, мог назвать столицу какого угодно государства. Знал я, например, и знаю до сих пор, что столицей Гондураса является город Тегусигальпа. Правильно? Я ничего не перепутал?

И я очень много читал. Учитывая мою уже упомянутую здесь душевную привязанность к географической карте, легко догадаться, что и читал я в основном про путешествия и открытия. Таким образом, литература и география дружественно и взаимовыгодно сосуществовали в моем пытли-вом подростковом сознании.

Бывают, впрочем, случаи, когда география и литература вступают друг с другом в странные окказиональные противоречия. Вот такой, например, случай.

Один из друзей моей юности, студент-филолог и начинающий поэт, как-то летним вечером в конце шестидесятых возвращался из довольно отдаленного дачного поселка, куда он только что проводил свою барышню. И вот сидит он на пустом перроне и ждет последнего поезда. А поезд все не идет и не идет. А чтобы время не тянулось столь мучительно, он бормочет про себя все, какие может вспомнить, стихи своего обожаемого в ту пору Блока. На перроне он был один. А над ним низко повисла несколько тревожная для городского человека первозданная ночь, слегка, впрочем, очеловеченная худосочным фонарем. И даже угадывались в глубине пристанционной площади очертания деревянной аптеки. Так что ничего, жить можно. Приятель мой, хотя и проводивший только что до дому свою нежную подругу, будучи юношей ветреным, не стал бы иметь ничего против появления на перроне какой-нибудь незна-

комки, способной тем или иным образом скрасить нудное ожидание.

Незнакомка не появилась. Появился, напротив, незнакомец, вызвавший в душе нашего героя стыдноватую, но отчетливую тревогу, ибо его облик и специфическая пластика навели на моего сублильного и очкастого друга некоторые мало-симпатичные воспоминания из времен его дворового пресненского детства. Незнакомец подошел к моему другу, дыкнул на него чем-то значительно менее декадентским, чем какие-то там духи и туманы, и задал совершенно в этом пространственно-временном контексте неожиданный вопрос. Он спросил: “Булгакова знаешь?”

У юноши, что называется, отлегло. Еще бы ему не знать Булгакова, которого он читал и перечитывал сто раз подряд! Вот, кстати, совпадение: два заветных номера журнала “Москва” с “Мастером и Маргаритой” вот прямо сейчас лежат в его сумке. Все складывается просто отлично. И чего это он, дурачок, испугался. Булгаков и его счастливая проза сделают человека из любого, даже из этого brutального на вид субъекта. Литература спасет

этот грубый мир — мир агрессии и утробных страхов. Друг мой уже изготовился преподнести незнакомцу какую-нибудь из особенно блистательных цитат, в ответ на которую он рассчитывал получить другую, не менее искрометную. Так, глядишь, не заметим, как время до поезда пролетит. А ведь еще и в поезде можно продолжить. Эх, красота!

Но на всякий случай, исключительно из соображений интеллектуальной корректности, он все же счел нужным уточнить: “Какого Булгакова? Писателя?” “Хуятеля! — уже и вовсе неожиданно, хотя и в рифму, ответил незнакомец. — Деревню, говорю, Булгаково знаешь? Здесь где-то должна быть. Мне туда надо, понял? А в какую сторону, не знаю, понял? А ты знаешь Булгаково? Деревня. Здесь где-то”. “Нет, — ответил поэт печально, — не знаю. Я здесь первый раз”. “А хули ты тогда расселся тут?” — в полном несоответствии с нормами светских приличий, да и просто с элементарной логикой спросил раздосадованный незнакомец. Проявления его досады могли бы быть и более предметными, но ограничились, к счастью, вербальным уровнем. Он лишь презрительно махнул



рукой и ушел куда-то в ночь, слегка посверкивая во тьме своими условно белыми штанами.

А дальше что? А дальше ничего. Пришла электричка, мой приятель сел в нее и поехал в Москву. А по дороге он мысленно оттачивал свое литературное мастерство, которое, он знал, непременно пригодится ему, когда он будет рассказывать своим друзьям и знакомым об этом удивительном литературно-географическом эпизоде. Время от времени у него не получалось удержаться от радостного хохота, чем он приводил в легкообъяснимое смятение сидевшую рядом с ним пожилую огородницу с огромным букетом георгинов в натруженных руках.

## О национальной гордости великороссов

**Ч**то делать с самоидентификацией, непонятно. Лучше всего ничего не делать. В принципе нормальный человек ничего и не делает, а просто живет в собственной ему повседневности. В той повседневности, которая не задает ему неожиданных, как ночной визит участкового, вопросов. Вопросов типа: “А какой вы будете национальности?” Интересный вопрос.

Особенно интересным этот вопрос казался мне в детстве. А если я добавлю, что самая нежная пора моего детства прилась на первую половину

1950-х годов, то читатель, хоть как-то знающий отечественную историю, поймет, что я имею в виду.

Однажды — мне было лет пять — я прибежал домой в слезах. Я прибежал жаловаться маме. “Витька, — сказал я, рыдая, — обозвал меня на букву “е”. Мама насторожилась. “А как именно?” — спросила она. Она, впрочем, уже, судя по всему, знала ответ. “Не могу сказать. Ужасно неприлично”. — “Ну ничего, скажи, не бойся”. — “Он. Сказал. Что я. Еврей”. Мама почему-то ничего не ответила, а только вздохнула и переглянулась с бабушкой. Бабушка сказала что-то на языке, которого я не понимал. Меня не очень смущало, что я не понимаю бабушкиного языка: я твердо знал тогда, что существует специальный язык, свойственный именно старым людям.

Вскоре я узнал, что я нерусский. Но этого мало. Я узнал, что я как раз тот самый еврей и есть. Это меня потрясло и, надо признаться, потрясает до сих пор. Все мое детство прошло в беспрерывных драках по “национальному вопросу”, и до сих пор мои глаза застит непонятно что, когда я услышу где-нибудь что-нибудь такое, из детства. Тогда я готов на самые дикие поступки.

Впрочем, течение жизни постепенно приучило меня ко многому и многому научило. Научило пониманию нации как категории не столько этнической, сколько гражданской. Приучило к тому, что глупо и неправильно соотносить те или иные события жизни, свойства характера, успехи и поражения с происхождением, фамилией и типом физиономии.

Что мы имеем в остатке? В остатке мы имеем странный, горьковатый, заведомо непонятный иностранцу комизм некоторых жизненных ситуаций, положений и высказываний, особого комизма вроде бы не предполагающих. Вот, скажем, пару лет тому назад ко мне подошел на улице средних лет человек с характерным дрожанием всех видимых и, по-видимому, невидимых частей тела. Он попросил рублей семь. Он честно сказал для чего. Он их получил. И он, растроганный, сказал мне: “Спасибо вам большое. Вы — гордость русского народа”. Смешно. Но что смешно в большей степени, “гордость” или “русского народа”, — вот ведь вопрос. Гордость — это ладно, бог с ней, с гордостью. Но ведь действительно — какого все-таки

народа я являюсь если уж не гордостью, то хотя бы представителем? Опять же вопрос. И этот вопрос, боюсь, так и придется унести с собой.

А почему я вдруг обо всем этом вспомнил в очередной раз? Да, в общем-то, сущий пустяк. Просто в интернете я наткнулся на забавное сообщение о том, что “житель Южной Африки Филипп Рабинович установил новый мировой рекорд в беге на сто метров для людей, достигших столетнего возраста”. Тоже вроде бы гордость, хотя в этот раз уже южноафриканского народа. И ведь настоящая гордость, мне не чета.

## Ты кто?

**В** начале семидесятых в моей тогдашней компании была популярна такая штука — тест не тест, игра не игра. В общем, одному и тому же человеку (новому в компании) трижды задавался один и тот же вопрос: “Ты кто?” Отвечали, понятно, кто как. Кто-то, допустим, первым делом называл свое имя, вторым — профессию, третьим — половую принадлежность. Кто-то — что-то еще. Я вот, помню, три раза подряд назвал свои имя и фамилию, за что был — видимо, справедливо — заподозрен в сугубом эгоцентризме. А также мне запомнился

молодой человек, который на вопрос “ты кто?” трижды без запинки ответил: “Армянин”. Меня это, признаться, поразило. Это уже позже я стал замечать все большее и большее число людей, для которых их этническая принадлежность является главным, если не единственным пунктом самоидентификации. То есть не только знаменитым “пятым пунктом”, как это сложилось в сознании всех советских граждан, а первым, вторым, пятым, седьмым и семнадцатым.

На форумах интернет-изданий днем и ночью пасется особая, не слишком многочисленная, но отличающаяся особой крикливостью порода участников, крайне озабоченных национальным вопросом. Одни кричат: “Что же ты, еврей, тут делаешь, если тебе все тут не нравится!” Ехай, типа, в свой Израиль. Другие увещевают: “Ну вот видите, в какой стране и среди каких людей вы живете. Как вы можете здесь жить?” То есть говорят они, в сущности, одно и то же и более или менее на одном языке. А однажды я прочитал такое: “Статья ваша весьма интересна. Но кажется немного странным ваше упорное нежелание ка-

саться еврейской темы”. Что тут можно ответить? Ответить вопросом на вопрос и спросить, а на каком, собственно, основании я должен касаться именно этой темы? Отчего бы попутно не поинтересоваться, почему я не пишу о ценах на нефть или о военной реформе? Неужели всего лишь потому, что моя фамилия такая, какая есть, а не другая? Странно, ей-богу. Да и неправда — касаюсь я этой темы, вот теперь, например. Но писавший этот комментарий имел в виду явно другое. Он имел в виду, что человек того или иного происхождения не может и не должен писать, говорить, думать ни о чем ином, кроме как о специфических проблемах своего рода-племени. Писал это, видимо, один из тех, кто на вопрос “кто ты?” трижды называет свою национальность.

А я кто такой? Ну то есть в этом самом смысле.

Нет, не стану я отвечать на этот вопрос. Во-первых, потому что я убежден: всякая этническая принадлежность, как, кстати, и религиозная, — сугубо интимное дело каждого индивида и гражданина. Публичная репрезентация своей этнической принадлежности является безусловным правом каждого,



но не является его обязанностью. Точно так же, как женщина может красить губы, а может их и не красить — ее дело. А во-вторых, не стану я говорить об этом вот почему. С точки зрения национально озабоченных лиц любой окраски со мною и так все ясно, а для неозабоченных этого вопроса не существует вовсе. Так что и отвечать-то особенно никому. Разве что самому себе.

Но если бы я вдруг и решил ответить, то ответил бы примерно так.

Весь опыт жизни в моей стране давно и прочно приучал и приучил меня к тому, что русским я не являюсь. А являюсь я, наоборот, нерусским, каковое обстоятельство никак невозможно объяснить европейцу, а американцу тем более. “Вот ты говоришь, что ты еврей. Это что значит? Что ты соблюдаешь субботу и ходишь в синагогу?” — “Нет. Не соблюдаю и не хожу”. — “А какой язык ты слышал с рождения? На каком языке говорили твои родители?” — “На русском, разумеется”. — “Ничего не понимаю”. Да, это непонятно. Но я не русский. И я это знаю твердо. И все дворовое детство прошло в непрерывных драках по “национальному вопросу”.

Лучше, чем высказалась на эту тему блистательная Лидия Яковлевна Гинзбург, высказаться трудно. Вот что написала она однажды: “Чувство общественного приличия запрещает увиливать от своего происхождения. Нельзя находиться в положении человека, который говорит: “Я русский”, а завтра может стать объектом еврейского погрома”. Подписываюсь.

Это, так сказать, негативный опыт. Но зачем же им ограничиваться? А моя любимая бабушка, чьим родным языком был идиш? А бабушкин растрепанный молитвенник? А ее песенки и поговорки? А ее фаршированная рыба? А многочисленные пожилые родственники, по праздникам собиравшиеся в нашем доме и распевавшие за большим столом еврейские песни?

Но иногда я все-таки бываю и русским. Им я становлюсь, пересекая государственную границу моей родины. Лишь за границей я могу уверенно, без оглядок и многозначительных покашливаний, сказать, что да, я русский. А кто же еще? Китаец, что ли?

И есть еще такой аспект этнической идентичности, как стыд. Когда я слышу или читаю ка-

кую-нибудь гадость из уст того или иного трижды еврея про то, что “русский народ — это народ свиной и рабов”, мне бывает стыдно как еврею. Когда на стенах и заборах родного города я читаю что-то вроде “азеры, вон из Москвы” или даже внешне нейтральное “русская семья снимет квартиру”, мне стыдно как русскому и как москвичу. Я помню, как в Таллине, в компании эстонцев, кто-то из присутствовавших понес что-то довольно-таки гадкое про какие-то там свойства и черты, якобы свойственные русской нации. Я спросил его: “А почему ты говоришь это в моем присутствии?” — “Но ты же не русский”, — сказал он простодушно. “Нет уж, — сказал я. — В этом смысле я русский”. Он извинился и сменил тему.

Не стану врать, что меня вовсе не волнует и не интересует эта самая тема. Почему же, интересует. Но интересует меня она в аспекте, скажем так, этнографо-фольклористическом. Разве не увлекательны и не поучительны семейные предания, анекдоты, поговорки, песенки? А уж кухня! Кстати, о кухне. Мой знакомый режиссер, татарин, выросший в Ташкенте, говорил, что националь-

ность в его представлении — это запахи из кухни, слышимые в раннем детстве. Можно и так.

Фольклор — это десакрализованный миф. Но беда в том, что для многих застрявших в стадии архаического родоплеменного сознания не фольклор, а именно миф лежит в основе всего. А где миф, там и причинно-следственные связи принципиально иные, чем те, что приняты в современном мире. Потому и сакраментальный вопрос “какого ты роду-племени?” является для них главным и последним вопросом, ответ на который позволяет без затей решить все прочие вопросы. Различны лишь ракурс и контекст. Ты умен и талантлив, потому что ты еврей. Ты великодушен и широк, потому что ты русский. Ты подл и расчетлив, потому что ты еврей. Ты злобен и туп, потому что ты русский. Такие словосочетания, как, например, “настоящий русский мужик”, в зависимости от контекста и интонации могут принимать не только различные, но и прямо противоположные значения.

Но всего этого я говорить не буду. Зачем? Об этом столько всего сказано и написано. Для кого-то, как для меня, например, это более или менее

ясно и очевидно. Для кого-то говори, не говори — он все равно будет стоять на своем. Но если все же вопрос “ты кто?” будет звучать уж очень настойчиво, то я отвечу так же, как я однажды ответил: я трижды назову свои имя и фамилию. И пусть каждый вычитывает из этого ответа что его душевненьке угодно.

## При чем здесь чукча

“**А** нет ли каких-нибудь новых анекдотов из Союза?” — с чуть-чуть нерусским синтаксисом и с некоторым интонационным акцентом спросил меня мой друг, эмигрировавший в Америку в середине 1970-х годов. А разговор наш происходил в начале девяностых в городе Нью-Йорке, куда я попал впервые. Я рассказал ему какой-то первый же вспомнившийся мне анекдот про чукчу — кажется, про то, что чукча не читатель, а писатель. Поскольку приятель мой был как раз писатель, мне показалось, что ему это будет забавно. Но ему не было забавно.

Он печально сказал: “Да, как была Россия расистской страной, так и осталась”. Тут пришла очередь взгрустнуть и мне. Во что, подумал я, превратила веселого и насмешливого человека суровая и стерильная политкорректная реальность. “Ты, в общем-то, прав, — сказал я, — Россия действительно довольно-таки сильно заражена бытовым расизмом. Но вот только анекдоты про чукчу здесь совершенно ни при чем”.

Действительно, чукча здесь ни при чем, как, впрочем, ни при чем и разные прочие персонажи особого этнографически окрашенного фольклора, присущего всем постимперским народам. Недавно я побывал в Тбилиси, где рассказывал своим новым грузинским знакомым о том, что в советские годы в России существовал такой фольклорный, анекдотический “грузин” — богатый, щедрый, любящий пустить пыль в глаза, говоривший со смешным акцентом и к реальному грузину едва ли имевший особое отношение. Одним словом, “палто нэ надо”. “О да, — сказала одна дама, — я хорошо помню эти анекдоты. Эти ваши “грузины” носили кепки-аэродромы, какие обычно носят наши тби-

лиссские евреи, и почему-то разговаривали с азербайджанским акцентом”.

Этот комический грузин тоже ни при чем. И ни при чем медлительный, туповатый и основательный “эстонец”. И ни при чем “еврей”, “украинец” и все прочие.

Да что там Россия. Во Франции вот, например, рассказывают анекдоты про “бельгийцев”. Недавно в Париже мне рассказали такой, довольно, надо сказать, черноватый анекдот: “Вопрос: что такое “скелет в шкафу”? Ответ: это бельгийский мальчик, который играл в прятки. И выиграл”.

А это при чем? А это к чему имеет отношение? К шовинизму, к бельгиефобии? Чушь, разумеется. Ни к какому расизму, ни к какой ксенофобии и никаким прочим формам человеконенавистничества не может иметь никакого отношения все то, что остроумно и весело...

Я помню, как однажды, в конце 1990-х годов, я чуть не сорвал выпуск издания, в котором тогда работал. Я этого не хотел, это получилось случайно. Просто я пришел к коллегам из отдела политики, где горячо обсуждался какой-то материал про че-



ченские события, и сказал, что мне пришли в голову неплохие имена для трех полевых командиров: Ушат Помоев, Букет Левкоев и Рулон Обоев. Дня на три работа застопорилась. Из разных углов редакции раздавались спонтанные взрывы. Из одного угла слышалось: “Камаз Отходов” (взрыв). Из другого — “Рекорд Надоев” (опять взрыв). Из третьего — “Парад Уродов” (залп в сорок три орудия). Из четвертого — “Билет Догаваев” (девять баллов по шкале Рихтера). Потом эти чудесные имена-фамилии долго шлялись по интернету, лавинообразно обрастая все новыми образцами стихийного имятворчества.

Летом следующего года я поехал в Эстонию, где развлекался в том числе и тем, что от нечего делать придумывал эстонские фамилии, а также географические названия. Эта тема оказалась не менее заразной, чем чеченская. Жаль, поленился я записать свои вещие откровения, а потому многое забыл. Помню лишь промышленный город Вырву-Кохти. А также запомнилось мне как бы начало как бы главы из как бы учебника: “Эстонский советский писатель, лауреат Ленинской и Государ-

ственной премий, Герой Социалистического Труда Порно Сайт родился в 1919 году в рыболовецком поселке Трахну-Выдру в северной Эстонии, где и провел свои детские годы”.

Ну вот. А это что? Ксенофобия? Великодержавный шовинизм? Ответ на этот вопрос у меня есть: мои эстонские друзья, когда я делился с ними своими ономастическими изысканиями, очень радовались и просили еще. А другого ответа нет и быть не может.

Войны и геноциды затевают вовсе не те, кто придумывает и рассказывает смешной анекдот про соседа. И тем более не те, кто обладает счастливым умением смеяться над самими собой. Войны затевают те, кому чудится, что сосед собрался отравить его корову или положил глаз на его жену.

А чукча тут ни при чем.

## Узнай о себе

“Дорогие москвичи и зарегистрированные гости столицы!” Такое радиообращение пришлось мне услышать недавно на какой-то из станций метро. Хорошее обращение, дидактическое. Что-то вроде “Граждане пассажиры, оплатившие проезд”. Или “Уважаемые депутаты, не берущие взяток”. Или “Господа предприниматели, не уклоняющиеся от налогов”. Ладно, фантазия заводит далеко, а каково все-таки быть “гостем столицы”, хотя бы даже и зарегистрированным, мне, москвичу, психологически мало понятно. Зато я знаю, что гости

столицы имеют четкое представление обо мне как о москвиче.

О том, что такое быть москвичом, я раньше не особо задумывался, поскольку москвичом был всегда. Когда я был маленьким, голос из радио клялся в том, что друга он никогда не забудет, если с ним подружился в Москве. Но мои-то друзья все жили в Москве, а в других городах жили родственники, которые забывать о себе не давали ни малейшего повода, ибо постоянно наезжали в Москву и останавливались у нас, в нашей единственной комнате.

Москвичи нечасто бывают патриотами. В отличие, скажем, от петербуржцев. Я только один раз слышал в Царском Селе, как молодой человек говорил своей спутнице: “Красиво, конечно. Но с нашей ВДНХ не сравнишь”.

У меня, во всяком случае, какой-то специальной гордости никогда не было. И даже наоборот — в детстве я испытывал зависть к тем, кто живет, например, у моря. А когда меня начали возить к морю, я не без смущения обнаружил, что и сам являюсь объектом зависти. Помню, в Крыму местный мальчик, мой сверстник, удивлялся: “Не пони-

маю, зачем москвичи сюда ездят. Скука одна. Море, подумаешь! А в Москве! Там Кремль, Красная площадь, Мавзолей”. Меня это настолько поразило, что я даже не решился ему сказать, что в Мавзолее ни разу не был. Да он бы и не поверил: а зачем же тогда жить в Москве, если не пропадать по целым дням в Мавзолее?

Пришло время, и я много чего узнал про себя и про свой город. Я узнал, например, о том, что москвичи пьют много чаю и говорят “коришневый” и “клубнишный”.

Я узнал о том, что быть москвичом — это вроде как в прежнее время было быть дворянином, то есть пользоваться всеми привилегиями не по заслугам, а по праву рождения. Я узнал, что Москва — это место, где обитает сплошное начальство. К москвичу и относятся как к начальству — как начальника его боятся, ненавидят, ублажают, стараются что-то скрыть от него, пустить пыль в глаза, высказать претензию. В том же Крыму, на пляже, ко мне подошел как-то молодой человек и спросил, не москвич ли я. Я подтвердил его догадку. Тогда он мне сказал: “Слушай, мужик! Как же нас тут зае...ли

ваши съезды и пленумы!” Я ответил, что меня — еще больше. “А х... ли тогда?” — нелогично, но убежденно сказал он.

Я узнал, что Москва — это место содомского греха. Огромный страшный город, наполненный миазмами разврата, губящий своими соблазнами и бесчеловечным практицизмом чистые провинциальные души, — один из наиболее устойчивых мотивов так называемой деревенской прозы. Мифы мифами, но каждый миф время от времени иллюстрируется жизненными реалиями. Знакомый адвокат рассказывал, как ему пришлось защищать в суде деревенского парня, маляра, приехавшего на заработки в Москву. Дело было так. Жарким летним днем поднимается наш маляр в своей люльке вдоль стены какого-то дома. Люлька останавливается около балкона. А на балконе в шезлонге сидит и дремлет юная особа, на которой не надето буквально ничего. Бог знает что совершилось в этот момент в бедной крестьянской голове, но только взял маляр здоровенную кисть, обмакнул ее в ведро с краской да и мазанул спящую красавицу прямо по причинному месту. Красавица в тот же миг про-

снулась, и началось. Шум, милиция, суд, “злостное хулиганство”. Адвокату как-то удалось свести дело к минимуму, напирая на молодость, трезвое поведение и хорошую трудовую характеристику клиента, который никак не мог объяснить ни суду, ни следствию, ни себе самому, зачем он это сделал.

Москвы боятся. Но в нее рвутся. Причины самые разные — от практически обоснованных до абсолютно иррациональных. В Москву едут и для того, чтобы прославиться на весь мир, и для того, чтобы затеряться в ней навсегда. “В Москву, в Москву” устремлялись души чеховских героинь. Еще бы: в Москве общество, тонкие разговоры, кондитерская Филиппова, Художественный театр, “Три сестры”.

Москва — это место социальной реализации, причем настоящей, конвертируемой. Давайте очутимся вдруг в каком-нибудь маленьком русском городе. Зайдем от нечего делать в местный краеведческий музей. Деловитой рысцой проследовав вдоль обязательных бивня, прялки и сохи, мы остановимся у витрины “Знатные люди нашего района”. Вот вам, пожалуйста, архимандрит. Вот летчик-ис-

пытатель. Вот доярка-рекордистка, депутат, между прочим, облсовета. А вот и настоящая находка: портрет средних лет мужчины в костюме, при галстучке, в очках. И подпись: “Плотников Валерий Геннадиевич. Уроженец нашего города. Старший научный сотрудник одного из научных учреждений г. Москвы”. Вот ведь повезло парню! Попал-таки в г. Москву, в одно из учреждений. А ведь мог бы так и проходить всю жизнь “гостем столицы”. И хорошо еще, если зарегистрированным.



## Мрачные бесы

**В** наши дни, как известно, всех, кто попадает под руку, ловят, куда-то там увозят и разбирают на отдельные органы, чтобы органы эти продать американцам. Никак у них ничего не ладится там без наших российских органов. Да-да! И не надо спорить. Газеты надо читать. Там все написано.

А раньше, в 1980-е, всех нас насквозь просвечивали лучами и зомбировали, зомбировали. Вот так мы, зомбированные, и ходим, ни о чем таком даже и не подозревая. Ну, это, впрочем, кто как. Некоторые, наиболее прозорливые, не подозре-

вают даже, а знают твердо. Да и газеты опять же... Кстати о газетах. Знакомый литератор “в рассуждении, чего бы покушать” устроился однажды в уфологическую газету. Там, как он рассказывал, было довольно-таки непыльно. Когда печатать было нечего, он садился за компьютер и писал что-нибудь в таком роде: “Ранним воскресным утром отец и сын Патрикеевы из села Взнуздаевка, что в Бочкозатыченском районе Липецкой области, отправились по грибы. День стоял...” Ну, в общем, понятно, что очень скоро отец и сын увидели в небе необычное сияние со всеми вытекающими из него аномальными последствиями. Все бы ничего, если бы не два печальных обстоятельства. Первое заключалось в том, что в редакцию с утра до вечера звонили наблюдатели, а то и собеседники всевозможных “посланцев”. А второе — это то, что дама-редактор сама лично во все это дело верила, что крайне затрудняло нормальное протекание редакционного процесса.

А вот еще раньше, в пятидесятые-шестидесятые, в очередях незаметно шприцами кололи. Сзади подкрадутся, кольнут и исчезнут — ищи по-

том ветра в поле. Что впрыскивали? Да хрен его знает что. Но то, что кололи, — это точно. Сам не видел, врать не буду, но люди рассказывали. Да зачем же им врать? Ну хорошо. А в то, что непарного шелкопряда завезли к нам невесть откуда и подбросили на наши дачные участки во время фестиваля молодежи и студентов, вы что, тоже не верите? А колорадский жук как же тогда?

А еще раньше просторы родины кишмя кишели шпионами и диверсантами. Некоторых вылавливают до сих пор, и тогда в бедных головах присяжных заседателей во всем своем первоизданном величии оживает старинный миф. А еще раньше водились люди с песьими головами и девы с рыбьими хвостами. А еще раньше...

В общем, так было всегда. И все это, начиная с безобидной боязни дурного глаза и кончая газовыми камерами, называется мракобесием. Все, что построено на отрицании причинно-следственных связей, все, что неспособно к диалогу и рефлексии, все, что апеллирует к "истине", "духовности", "величию", "идеалу" и прочим категориям, насильственно вырванным из религиозного, фи-

лософского, исторического и других присущих им контекстов, есть мракобесие. Подозрительные взгляды в сторону чужого и непонятого — это мракобесие. Иррациональная тоска по “великой державе” и вообще по всему “великому” — тоже мракобесие. Оно везде и всюду. Оно, вроде как Ленин, “в тебе и во мне”.

Что ему противопоставить? Технический прогресс? Но мракобесы, проклиная прогресс, охотно пользуются его плодами, особенно теми, которые обнаруживают способность стрелять или взрываться. Науку? Но некоторые из научных идей мутируют в идеологию, в универсальное руководство к действию, в фетиш. И тогда берегись. Не это ли имел в виду Ежи Лец, когда предостерегал: “Никому не рассказывайте своих снов. Вдруг к власти придут фрейдисты”? Моду? Для меня совершенно очевидно, что агрессивное неприятие такого динамизирующего фактора, как мода, есть безусловное мракобесие. Но штука в том, что бывает мода и на само мракобесие, и триумфальные шествия подобной моды мы время от времени наблюдаем.

Но есть и еще одно противоядие. Это, представьте себе, ирония. Ироническая дистанция, как ни пытайся упразднить ее директивными мерами или изгонять с помощью магических пассов, как ни обзывай ее “ядом, разъедающим наши традиционные ценности, устои и святыни”, — именно она пока что едва ли не единственное сколько-нибудь надежное средство против любой очередной утопии, против фундаменталистских и тоталитарных устремлений любого рода.

Несмотря на то что мракобесие делится на “научное”, “религиозное”, “политическое” и “бытовое”, мракобесы любых сортов и направлений легко сходятся. А еще они сходятся в тупой, звериной серьезности. Мракобесие и веселый, непредвзятый взгляд на мир несовместимы. Воспользуемся этим.

## Будем как Мбуругу

**В** середине 1990-х годов был популярен такой анекдот. Запись в дневнике бизнесмена: “Перечитывал пейджер. Много думал”. Технический прогресс последних лет столь стремителен, что далеко не все уже помнят, что такое пейджер, но анекдот остался. Остался потому, что технические новинки уходят и приходят, а о чем подумать, всегда найдется.

Беглое ознакомление с форумами различных интернет-изданий тоже заставляет задуматься. Причем даже не об их содержании. Читаю я, читаю форумы и все думаю, что же мне это мучи-

тельно напоминает. Потом понимаю: напоминает мне это коммунальную кухню моего детства. И неважно, что в те времена не было таких слов, как “коммент” или “юзер”. Ничего, зато были другие слова, ничуть не хуже. Коммунальная кухня — это ведь тоже, в сущности, форум. Там тоже не было ни редактора, ни корректора, и даже особой цензуры там не было.

Почему, действительно, форум так привлекателен для людей с расшатанными нервами, с устойчиво негативным взглядом на мир и с явно недостаточным лексико-фразеологическим ресурсом? Почему любой разговор, начавшийся вполне чинно и поначалу пытающийся хоть что-то осмыслить в человеческих терминах и категориях, мгновенно преобразуется в склоку, в глоссолалию, где все воюющие стороны распознаются лишь с помощью ключевых слов, какими они награждают друг друга? Несмотря на формальное идейно-политическое различие спорящих, разницы между ними, в общем-то, нет, даром что одни других величают, допустим, “кремлевско-чекистскими ублюдками”, а другие одних, к примеру, “либерастами” и “дем-

шизовыми уродами”. А еще все они то и дело спрашивают друг у друга: “Сколько тебе заплатили за?..” А еще хорошо заметно откровенное частотное зашкаливание такого нежного слова, как “быдло”. Что им всем далось это “быдло”?

Разницы между ними нет. И нет ее главным образом потому, что говорят они на одном языке — языке зла. Этот язык, как и в коммунальной кухне или в очереди за мясным фаршем, легко побеждает все прочие языки, ибо он неуязвим для логики. Он уходит корнями в мифологическое сознание, дремучее, кромешное, гомогенное, нечленимое на иерархические уровни. Аргументами, причем убийственными, там служат дубовые манипуляции с именем и фамилией оппонента, с его этнической принадлежностью, с физическими недостатками его самого и его родственников. Язык зла хаотичен и нерелексивен. Зло никогда не бывает остроумным. А если бывает, то это уже не зло.

Не будем забывать, что чудище не только обло, огромно, озорно и стозевно, но еще — что, может быть, самое важное — оно “лаяй”. Эти, которые лаются в форумах, вовсе не составляют большин-



ство. Но они существенно заметнее, потому что их язык обладает способностью сводить любые дискуссионные усилия к нулю.

Язык зла следует знать, чтобы уметь нейтрализовать его с помощью языка же. Но другого. Среди прочих существует такой универсальный механизм выяснения отношений с реальностью, как искусство. Именно оно, распознавая, осваивая и даже, если угодно, присваивая язык зла, лишает зло своего языка, делает его беззащитным, беспомощным, мертвым. Это умел, например, Зоценко.

Но нельзя победить зло на его поле. Нельзя пытаться говорить с ним на его же языке, пусть даже и громко. Не получится. Оно все равно тебя переорет. Победить зло (в самом себе хотя бы — а это уже дорогого стоит) можно только при том условии, если его вообще лишить дара речи, вырвать грешный его язык.

Некоторое время назад из какой-то новостной ленты я вычитал удивительное сообщение. История, там описанная, настолько поразила меня богатством и прозрачностью библейски-эпических аллюзий, что я решил сохранить ее — вдруг при-

годится. Пригодилась. Вот она. Приведу ее полностью, она того заслуживает:

73-летний крестьянин Даниэль Мбуругу возделывал картошку и бобы в сельском районе недалеко от горы Кения, когда неожиданно из травы выскочил леопард и прыгнул на него.

У Мбуругу был в руке мачете, но он бросил его и запустил руку в пасть леопарду. Ему постепенно удалось вырвать язык хищника, и зверь остался умирать в агонии.

“Он испустил леденящий кровь рык, от которого замолкли птицы”, — поведал дедушка.

По его словам, леопард вцепился зубами в запястье и стал терзать его когтями. “Но голос, который, казалось, исходил от Бога, прошептал мне, чтобы я бросил мачете и сунул руку в его широко раскрытую пасть. И я послушался.

Послушаемся и мы.

## Дункаль

**М**не только что исполнилось шесть лет, когда однажды я услышал по радио душераздирающую музыку и скорбный голос Левитана. Потом я увидел плачущих маму, бабушку, соседок. Позже мама объясняла, что плакали они не столько от горя, сколько от ужаса. Что будет со страной, что будет с нами? Оторвалась та пуговица, на которую застегивались человеческие судьбы, судьбы страны, судьбы мира. Теперь начнется террор, теперь начнется война. Начнется хаос.

А до этого было счастье. Всеобщее напряженное, истерически взвинченное счастье при полном

отсутствию покоя и воли. Великая формула Пушкина работала тогда в обратном порядке.

Счастье это было такого накала, что его острые осколки успели окорять — к счастью, неглубоко — и мою нежную кожу. Когда я просыпался под звучащие из радио стихи о том, что “каждый день и каждый час Сталин думает о нас”, я был безмерно счастлив. Я был счастлив: моя судьба сложилась так, что я родился в самой великой и самой справедливой стране на свете, а ведь мог бы родиться и жить в какой-нибудь кошмарной Америке, сплошь покрытой хижинами дяди Тома.

Для поколения моих родителей пик счастья пришелся на середину — конец тридцатых. Мама много лет спустя рассказывала мне про это самое счастье. Еще бы не счастье, говорила она: кинофильм “Волга-Волга”, Чкалов, Лебедев-Кумач, “Дети капитана Гранта”, мороженое, фонтан “Дружба народов”, сама дружба народов. Они молоды и влюблены. Они живут в тесноте, но не в обиде. Они танцуют фокстрот и танго “Брызги шампанского”. Они ходят в Художествен-

ный театр. Они гуляют по новым гранитным набережным Москвы-реки. А главное, разумеется, это то, что “мы все все еще живы и все еще на свободе”. Моей семье действительно несказанно повезло: никто не сел и все вернулись с войны.

Известный филолог и писатель Александр Жолковский в одной из своих мемуарных “Виньеток” рассказывает, как в 1960-е годы он изучал язык сомали. Языком он занимался с сомалийскими студентами, больше тогда было не с кем. Одного из них звали Махмут Дункаль. “Наши занятия начались с того, — пишет Жолковский, — что он объяснил мне, что его имя, Дункаль, значит “ядовитое дерево”, а также “герой”. Я сказал, что не вижу этимологической связи. “Ну как же, — пояснил Дункаль, — убивает много”.

Впрочем, это про язык сомали, который, разумеется, к нам никакого отношения не имеет. А к нам имеет отношение тот непреложный факт, что Сталина любят до сих пор. Любят упорно и страстно. Любят сладостно и угрюмо. Яростно и нежно. Любят не сердцем или, не дай бог, мозгами, а чем-то куда более надежным — переломан-

ным хребтом, отбитой селезенкой и поротой задницей. Такая любовь крепче.

Нашим нынешним, которые ценят в Сталине “успешного менеджера”, вовсе незачем ни ребра крушить, ни почки отбивать. Ну разве что дать время от времени подразмяться затекшему ОМОНу. А так — зачем? Все и без того пуганые-перепуганые. Подсадить публику на иглу византийско-сырьевого величия, закодировать ее смертельным страхом “оранжевой чумы” — и публика твоя.

Публика твоя: успешный менеджер Дункаль еще давно проделал за них всю грязную и великую работу, с помощью лубянско-мичуринско-лысенковских селекционеров выведя превосходную породу единогласно голосующих верноподданных. Они недорого обходятся и очень практичны в эксплуатации, они прекрасно размножаются в неволе, их всегда много, они всегда под рукой, и они никогда не подведут.

Теперь говорить за Сталина или *против* него уже поздно. Этот спор имел какой-то смысл в шестидесятые, когда многие факты отечественной

истории лишь приоткрывались для обозрения и осознания. Теперь, когда все все знают, этот разговор не имеет ровно никакого смысла. Для одних Сталин навсегда будет “рябым чертом”, вылезшим на белый свет прямо из преисподней. Для других он останется уж если не “величайшим гением всех времен и народов”, то как минимум “успешным менеджером”, построившим в отдельно взятой одной шестой хорошо охраняемый ГУЛАГ, идейно обеспеченный радостными кинокомедиями и лучезарными речевками, выполненными советскими поэтами и положенными на счастливую — без дураков — музыку не менее советских композиторов. И этих, вторых, не исправит ничто — ни могила, ни мобила, ни интернет, ни загранпаспорт, ни “Архипелаг ГУЛАГ”, ни “Колымские рассказы”, ничего. Потому что Сталин — герой. В самом буквальном, сомалийском смысле этого слова.

Да и вообще, давно уже речь идет ни о каком не о Сталине, а всего лишь о “Сталине” — стилизованном герое телесериалов и товарной марке. Или о пыльном портрете дядьки с ржавыми усами, который время от времени в соответствии с той

или иной политконъюнктурой разное начальство вынимает из заглашника, чтобы подбодрить одних и шугануть других.

А человеческая тварь по имени Сталин закончила свои земные дни пятьдесят пять лет назад. Его скромная могила находится в самом центре великой столицы великой страны. Желаящий легко ее найдет — далеко ходить не надо.



## Тяжелые соты и нежные сети

**К**ак же мы жили-то без них, без этих маленьких штучек, поминутно дребезжащих у нас в карманах? Как дошли мы до такой жизни, когда человек, вышедший из дома без этой штучки, ощущает себя не лучше, чем человек, забывший вставить зубной протез или, пуще того, надеть штаны?

Как мы жили без них? Как же мы договаривались, встречались, находили и находились сами? До них органы наших чувств были напряжены и обострены, как у первобытного человека, привыкшего извлекать судьбоносную информацию из цвета

листвы, треска сухих веток и запаха лосиного помета. До их прихода мы определяли время суток по солнцу и звездам, узнавали о приближении поезда, прикладывая ухо к земле, и пристально вглядывались в небесную высь в ожидании самолета.

Оснастившись ими, нашими маленькими друзьями-врагами и слугами-поработителями, мы многое обрели, но многое и потеряли. Потеряли память, потеряли ориентацию во времени пространстве. “Мы на когда договорились? На семь или на восемь?” — кричит один. “У первого вагона или у последнего?” — надывается другой. Или такая вот довольно распространенная мизансцена.

ВЛАДИМИР *(в телефон, истерично)*. Марин, ну где ты, в конце-то концов?

МАРИНА *(в телефон, громко)*. Володь! Да здесь я! Че ты орешь-то! *(Хлопает Владимира по плечу. Оба хохочут каждый в свой телефон.)*

Обретя его, мы потеряли стыд.

И это возникло не тогда, когда мобильный телефон стал чем-то вроде зубной щетки, а гораздо

раньше. Это уже было в те теперь уже баснословные времена, когда встретить человека с мобильным телефоном на улице или в электричке было не только непривычно, но даже как-то и неуместно. Это выглядело бы как грубое нарушение чистоты стиля.

Именно в один из дней той удивительной эпохи я ехал в маршрутном такси. Я запомнил эту поездку, потому что на внутренней стороне дверцы была прилеплена бумажка со стихами. Стихи были чудесные, иначе я бы их не запомнил. Вот он, этот непревзойденный образец сугубо прикладной лирики с изысканнейшей сквозной рифмовкой:

Сначала кнопку найдите,  
Затем на нее надавите,  
Вперед и вправо потяните  
И дверь отворите.

Речь, впрочем, не о стихах, как бы хороши они ни были. Речь о другом. Напротив меня сидел кашемировый “браток” и разговаривал как бы сам с собой, а если приглядеться, то говорил он в ма-

ленькую трубку, утонувшую в его боксерском кулаке. “Серег, — говорил он, — я тут еду в лоховозке. В лоховозке, говорю, еду. Тачка у меня, блядь, полетела, что-то там с клапанами. Скоро буду, короче. Без меня не начинайте, понял? Ну, добро”. “Лохи” никак не реагировали. То ли не поняли, то ли смиренно соглашались со своим лошеским статусом.

Когда до тебя доносятся разные телефонные обрывки, ты вынужден сделать печальный вывод о том, что все кругом беспрерывно врут.

“Да я уже буквально подъезжаю”, — на голубом глазу говорит некто, спокойно сидящий за соседним столиком и неторопливо изучающий меню. “Слушай, я в страшной пробке стою”, — жалуется некто, покупающий сигареты в киоске. “Лежу с высокой температурой”, — констатирует некто, застуканный звуками Пятой симфонии Бетховена перед дверьми винного магазина. “Денег буквально ни копя”, — оправдывается некто, засовывающий карточку в банкомат.

Нет, врут не все. Бывают честные. Но бывает честность такого свойства, что уж лучше бы ввали. Вот заходит как-то мой приятель в аэропортовский

туалет, а там из-за двери одной из кабинок слышит: “Зай, я сейчас покакаю и сразу перезвоню, ладно? Целую тебя!”

Но в основном врут. И разумеется, прилюдно. И не только врут. Обсуждают медицинские проблемы. Договариваются об абортах. Заказывают конкурентов. Ссорятся и мирятся. Разглашают семейные и государственные тайны. Перетирают темы и решают вопросы. Посылают кого-то в самые разнообразные места и, посылаемые, идут туда сами.

Подслушивать нехорошо, но не слушать нельзя. Тем более что кроме вещей понятных существует множество вещей непонятных, таинственных, бесконечно интригующих. Когда до тебя доносится что-то вроде того, что “нагадил, сука, прямо в унитаз”, ты не можешь не задаться законным вопросом, а куда эта сука гадит обычно. А когда ты слышишь о том, что “они, когда еще оба были живы, никогда друг к другу на могилы не ходили”, то и вопросы страшно задавать.

Прекрасны разговоры девушек. Они вдохновляют нас с какой-то особенной силой. Вот

вы, допустим, слышали: “А эта такая вошла, как эта прям. И села, блин. И сидит, короче”. В общих чертах понятно и даже отчасти знакомо: “Она садится у окна”. Одна, блин. Буквально без спутников. Дыша, короче, духами и туманами. Но какой тут, на фиг, Блок со своей отстойной “Незнакомкой”, если прямо в нашем присутствии рождаются речевые конструкции, поражающие истинной безграничностью интерпретационного пространства. А метафора “как эта прям”, так та и вовсе работает на пределе, а то и за пределами всех представимых и непредставимых выразительных возможностей.

Нельзя не слушать то, что орут тебе прямо в ухо. Ты для них не существуешь, вроде тех самых пассажиров из той самой маршрутки. В твоём присутствии можно все, как в античном мире в присутствии рабов можно было не только говорить обо всем, но и безо всякого стеснения отправлять телесные потребности или предаваться любовным утехам. Люди, разговаривающие по телефону, выдергивают сами себя, как барон Мюнхгаузен из болота, из коммуникативного пространства

улицы, ресторана, офиса или городского транспорта, ощущая себя Робинзонами, перекрикивающимися с Пятницами через весь никем, кроме них, не обитаемый остров. Насколько же зыбка и мерцательна цивилизационная этикетная грань между интимным и публичным! Насколько же призрачна и условна эта граница! Как и все границы, впрочем.

## Скорее всего

**Е**сть такая старая английская шутка, как бы иллюстрирующая теорию вероятности: “Если в вашу дверь в девять часов утра кто-то позвонил, есть вероятность того, что вас неожиданно, без предварительной договоренности решила навестить ее величество королева. Такое, конечно же, возможно. Но *скорее всего*, это пришла молочница”.

Думаю, что мы все, кроме очень самоуверенных и очень неумных (что чаще всего совпадает), всегда убежденных в том, что они точно знают, как все *на самом деле*, в своих умозаклучениях



по поводу тех или иных явлений или событий истории и современной жизни исходим из этого принципа.

Мы все в большей или меньшей степени лишены стопроцентно достоверной информации, на основании которой мы могли бы делать абсолютно объективные выводы. Каждый исходя из той или иной аксиоматики знает, что бывает *скорее всего*.

Я, как и все, не знаю и не могу знать, как “на самом деле”. И я свято чту принцип презумпции невиновности. И я точно знаю, что любая истина кроме той, что открыта настоящему религиозному человеку, всегда относительна. Но я имею тот социальный, эстетический и экзистенциальный опыт проживания в советском и постсоветском космосе, какой я имею. И я имею ту социально-антропологическую интуицию, которую я имею и которая меня подводит не так уж часто.

Понятно, что любое “скорее всего” не может не опираться на аксиоматику, на набор базовых принципов, сформированных в свою очередь все тем же социальным опытом.

Для меня, например, давно и устойчиво непроверяемыми являются представления о том, что коммунистический СССР был и остается одним из двух самых бесчеловечных и кромешных режимов прошедшего века, отличающимся от немецкого нацизма не больше, чем чума отличается от черной оспы. Что человек важнее государства, роль которого в современном мире — это прежде всего роль защитника и гаранта свобод и личного достоинства граждан, и что государство, занятое исключительно своим величием и воспринимающее граждан как “вторую нефть”, — это говенное государство. Что всем известная карательная организация, постоянно, как это и положено матерому рецидивисту, меняющая кликухи, но не меняющая сути, есть самое подлое, самое лживое и самое бесчеловечное образование на теле мой страны. Что и советская, и нынешняя российская власть всегда врала и продолжает врать — даже в тех случаях, когда говорит о погоде.

Официальная пропаганда, надо сказать, весьма облегчает мне жизнь. Если и есть за что ее благодарить, то только за это. Для того чтобы хоть

как-то понять, что же все-таки происходит, не надо тратить особых усилий на добывание и сопоставление фактов. Достаточно просто знать, что *эти* точно врут. Ну ладно, будем политкорректными: не точно — *скорее всего*.

Советский агитпроп тоже был построен на тотальном вранье. Но по тогдашним правилам игры предполагалось, что так называемый советский народ принимает “Правду” за правду. Это было более или менее достижимо при условии абсолютной информационной закрытости и наличия кое-какой пусть дикой, но все же идеологии.

Более того, были баснословные теперь уже времена, когда и сами врущие верили в то, что говорят. Когда же в это вранье перестали верить и те, кто слушал, и те, кто врал, незыблемое и единственно верное учение практически в одночасье накрылось тем, чем оно накрылось.

Сейчас вроде бы разливанное море информации. Сейчас все издано и даже кое-что прочитано. Сейчас люди ездят по свету и видят все своими глазами. Но привитая годами советской власти привычка к тотальному вранью стала патологической

потребностью, своего рода наркотической зависимостью.

Нынешние врут бесконечно, сладострастно и вдохновенно. Врут без всяких нудных идеологий и институтов марксизма-ленинизма. Безо всяких “Капиталов” и “трех составных частей”. Без материалов исторических пленумов и моральных кодексов строителей коммунизма.

Врут в условиях относительной информационной открытости. Врут и не стесняются. И в этом их, что называется, ноу-хау. Они знают, что они врут. И мы знаем, что они врут. И они знают, что мы знаем, что они врут.

— Да, мы врем, — дают понять они. — И будем врать. Потому что:

- а кто не врет, все врут — это политика, чтоб вы знали;
- мы только это и умеем делать, потому что в той конторе, откуда родом наш славный нацлидер и на чьем крючке мы все висим, как готовые к кулинарным приключениям кроличьи тушки, другому не учат;

- нашему вранью охотно рукоплещет “наш избиратель”. А вы, умники, сидите и не вякайте — и радуйтесь, что вообще на свободе, а если будете сильно пылить, то и закончик для вас сочиним про изменников и шпионов.

Мои аксиомы, повторяю, основаны на социальном опыте. И для меня они неопровержимы: не произошло пока ничего такого, что бы заставило меня радикально изменить свои базовые убеждения. И для меня это все ясно как день.

Для меня. И для тех, кто думает примерно так же. Много их или мало, совершенно неважно. Важно, что они есть.

Но существует и совсем иная аксиоматика. И никто никому ничего доказать не может, потому что любое доказательство держится на общих для всех аксиомах. А их нет. Потому и хоть сколько-нибудь конструктивный общественный диалог практически невозможен.

Для носителей иной аксиоматики, очевидно, например, что *скорее всего* Ходорковский вор, что Саакашвили приказал стрелять в российских

миротворцев, что американцы засняли высадку астронавтов на Луну в голливудском павильоне, что Запад спит и видит, как бы известить Великую Россию, устраивая по ее периметру цветные революции, что либеральные идеи ведут страну в пропасть, что Путин со своей чекистской псарней — спасители России, что журналисты и правозащитники по заданию ЦРУ и с целью очернения и без того лучезарного образа России убивают сами себя, что движение “Наши” — наша славная смена, а Дима Билан — выдающийся артист мирового масштаба.

“Ну что ж, — скажу я исходя из собственной аксиоматики, — все это теоретически возможно. Но *скорее всего* “это пришла молочница”.

Диалог бессмыслен, но меня все равно бесконечно интригуют основания иной аксиоматики. Ведь мы же все отсюда. Ведь мы же учились в одних и тех же школах и дрались в одних и тех же дворах. Некоторые читали одни и те же книжки. Что это? Где эта роковая трещина, незарастающий шов?

Ведь дело даже не в том, что “на самом деле”. Интереснее другое.

Когда человек с пеной у рта утверждает, например, что преступлений сталинизма не было вовсе или их масштаб сильно преувеличен, даже и не так важно, на каких фактах или мифах построены его выводы. Важно и очень интересно другое: *почему* ему так хочется, чтобы дело обстояло именно так? Я говорю не о тех, для кого историко-патриотические манипуляции служат профессией. Это понятно — работа такая. Я говорю о бескорыстном и страстном нежелании признать чужие вроде бы грехи. Не говоря уже о том, чтобы вместе со всем цивилизованным человечеством их осудить. Какое там!

“Говоря о сталинском СССР, они метят в Россию — это же ежу понятно”. Ежу, может быть, и понятно. А мне вот совсем не понятно. Почему именно в Россию? А не, скажем, в Северную Корею, Иран или Кубу, где сохранились на сегодняшний день тоталитарные режимы? Мы же не тоталитарные вроде теперь? Или как?

Почему современным немцам не придет в голову, что осуждение преступлений гитлеризма ударяет по немецкому национальному самолюбию? Понятно почему. Потому что нынешняя Герма-

ния — это действительно *совсем* другая страна, где годы Третьего рейха практически единодушно воспринимаются как время национального позора.

Дело, разумеется, ни в какой не в исторической правде. И не в науке. А в социальной патологии.

Интересно, почему столь яростно, столь склочно и обидчиво российские власти в сопровождении хора местных патриотов реагируют на разговоры о Голодоморе, о пакте Молотова — Риббентропа, о Катыни, о выселении народов из Крыма и с Северного Кавказа. Ведь мы же вроде другая теперь страна, не правда ли? Или не совсем? Не Советский же мы теперь Союз? Или все-таки немножко советский? Почему так волнуются коммунисты из КПРФ — это понятно: они сознательные наследники КПСС. Но наши-то “юристы”? Они-то чего?

А вот чего. Получается так, что нынешняя Россия — это всего лишь переименованный и слегка ужатый СССР. Марксизм-ленинизм за ненадобностью убрали, плановое хозяйство похерили, насквозь проржавевший, весь в дырах железный занавес до поры до времени не опускают — самим



невыгодно. Но главные, данные нам в наших непосредственных ощущениях рычаги власти, такие как армия, милиция, спецслужбы и прочие таможни с санитарными врачами, остались именно советскими и никакими иными. Зря, что ли, они размахивают красными знаменами и величают друг друга “товарищами”? А еще дело в том, что, как давно известно, бывших чекистов не бывает. Скорее всего.

**О ТОМ,  
ЧЕГО НЕ БЫЛО**



## О том, чего не было

**О** 1950-х годах писать особенно нечего по той причине, что их не было. То есть они, разумеется, были, уже хотя бы потому, что это были годы моего детства. В 1950-е я пережил горячую любовь к вождю и острое чувство сиротства, когда его не стало. В 1950-е отменили отдельное школьное обучение и ввели школьную форму. Вот я и напялил ее, идя в первый класс в сентябре 1954 года. А в следующем году мой старший брат школу окончил. В 1950-е моего брата чуть не выгнали из комсомола за исполнение рок-н-ролла

на институтском вечере. В 1950-е были фестиваль и целина. Умерли обе мои бабушки. Брату вырезали аппендицит. Отец бросил курить. На орбиту вылетел первый спутник, а вслед за ним в космическое пространство ринулась незабвенная мученица Лайка. В 1950-е были стилиаги, пластинки “на костях”, певцы Бунчиков и Нечаев. Был патефон. Были Лолита Торрес и Радж Капур. Был трофейный “Тарзан”. Были трофейные фильмы, трофейные вещи, трофейный, все еще откровенно прифронтовой быт. Были безногие инвалиды в электричках — они пели. Было “дело врачей”. В 1950-е сажали и расстреливали. В 1950-е выпускали и реабилитировали. Много чего было в эти годы.

Но этих годов не было, потому что десятилетие расколосось пополам, как весенняя льдина. Причем первая половина отдрейфовала назад в 1940-е. Взрослые донашивали военную форму. Дети донашивали то, что оставалось от взрослых. Чердаки и сараи ломились от противогазных сумок, планшеток и полевых биноклей. Это ведь и были детские игрушки. Милитаризованный воздух тех

лет я не забыл до сих пор. Вторая же половина 1950-х ушла вперед, в 1960-е. Это было время прозрачного разреженного воздуха. Люди блаженно и глуповато заулыбались сами не зная чему. Отпустил многолетний страх, но многие еще этого не поняли. Эту льдину расколола надвое смерть Сталина. 1950-х не было, недаром слово “пятидесятники” ассоциируется скорее с религиозной сектой, чем с именем поколения.

Наше пространство и наше время характеризуются острым дефицитом визуальности. Принцип “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать” неприменим к эпохе. Эпоха говорила заголовками газет и голосами радиодикторов. Висящие на стенах картинки из “Огонька”, портреты маршалов и артистов, почтовые марки и нехитрый вид из окна не утоляли, а лишь усугубляли визуальный голод. Более того, они вводили в заблуждение, искажали пространство и время, делали и без того фрагментарный мир еще более дробным и невнятным. Визуальные объекты не в состоянии были составить образ эпохи. В лучшем случае они служили иллюстрациями. Из-за каждой картинке, из-за каждой

фотографии доносятся песни советских композиторов или бархатный голос Левитана.

Первые телевизоры, пытавшиеся расширить визуальный мир за пределы квартиры и двора — дальше булочной, дальше почты, дальше пожарной команды, — тоже появились в 1950-е. Но это был тот еще мир. Не мир, а слабо шевелящаяся открытка. Недаром и экран тогда был размером с почтовую открытку.

Было и кино. Но кино не свидетельствовало. Это было “искусство”, жившее по своим законам. Там улыбочивые парни вели трактора в светлое будущее, а смешливые, с черно-белым румянцем во всю щеку дивчины слаженно пели “Ой, цветет калина”, трясясь на колхозном грузовике. Там воевали, созидали и сыпали крылатыми фразами великие полководцы и прочие деятели науки и искусства. От кино никто и не требовал жизнеподобия, поэтому обвинять его в неправде было бы кощунственным нарушением общественного договора. Кино показывало другую жизнь, ту, которой нет и быть не может. Именно поэтому кино было столь прекрасным и столь желанным.

И были фотографии. Но разве можно полагать свидетельством эпохи снимок, сделанный в зоопарке моим двоюродным братом, которому только что подарили “Смену”? Там не видно ни клетки с павианом, ни меня — никого. И разве можно считать свидетельством эпохи фотки из “Огонька”, где все делятся лишь на тех, кто в фуражках, и тех, кто в шляпах?

Но были семейные фотоальбомы. Почти в каждом доме они были. Вот они, перед глазами, их не забудешь. Бархатные, коленкоровые — всякие. Вот, садитесь, пожалуйста, сюда — здесь удобно и не дует. Пока чайник закипит, посмотрите наш альбом, если интересно. Вот мои родители в Ялте. Какой год? Кажется, пятьдесят второй. Вот соседка Таня с котенком. А вот этого в тюбетейке, в сатиновых шароварах и линялой майке, не узнаете? Ну посмотрите же внимательно! Ну? Правильно, это я! Неужели сразу не догадались?

Инерция этого жанра столь сильна, что любой фотоальбом — в том числе и тот, что мы с вами держим в руках, — это альбом семейный. Поэтому кого бы мы ни увидели на этих снимках,



все они — наши родственники, друзья, знакомые, знакомые знакомых, друзья друзей и родственники родственников. Все лица, включая лица официальные, поселились в нашем доме, в нашем альбоме. Листание домашнего фотоальбома — своего ли, чужого — это занятие неизменно медитативное и умиротворяющее. Вот и предадимся ему, этому занятию. Вперед.

## О страхах

**В**се страшно. И в детстве, и потом. С возрастом страх не исчезает, а лишь опускается все глубже и глубже. Но в детстве страшно все: мама ушла за хлебом и все нет ее, нет. Страшно. Смотришь в окно, а за окном вдруг пройдет кто-то — не человек, не собака, не волк. Заглянет в окно и исчезнет, треща сухими зимними ветками. Не страшно разве? Не просто страшно — ужасно. А потом? В школе? А вдруг не решишь пример? А вдруг описаешься на физкультуре? А в пионеры не примут? Точно примут? А если нет? А если клятву забуду? Как жить после

этого? А если во дворе здоровый Витька Леонов обледенелой колючей варезкой по морде? Больно ведь. Обидно. Страшно.

Взрослые тоже чего-то боялись. Говорили шепотом за стеной. Или что-то говорили, забывшись, при мне. Тогда бабушка поднимала палец: “Штил. Киндер”. Это на идиш, чтобы я не понял. Я понимал. Я понимал, что и им что-то страшно.

Но был и еще один страх, государственный. Для меня не очень страшный, а скорее непонятный. Этот страх звонил в дверь и отзывался женским голосом: “Госстрах”.

Это теперь много всякой рекламы. А в моем детстве рекламы было мало. То есть много, ибо большие жестяные листы были развешаны на всех кирпичных брандмауэрах родного города. Но рекламируемых объектов было очень мало. Томатный — почему-то — сок. Зубной порошок, изготовленный на фабрике “Свобода”. “Пользуйтесь услугами “Аэрофлота”. “Такси все улицы близки”. Я уже тогда обращал внимание на неправильную рифму и говорил: “Надо писать “бликси”, тогда будет складно”. Конечно же, сберкасса (“Нако-

пил — машину купил”). Это накопительство рекламировалось также на последних обложках литературных журналов. Там были графически явлены вожделенные награды за умеренность и бережливость: дом с колоннами и кипарисами (это курорт, “всесоюзная здравница”), автомобиль “Победа”, ковер, жирный рулон сукна (отрез, как тогда говорили) — одним словом, добро. То самое, каким заканчивались сказки: стали жить-поживать да добра наживать.

Ну и Госстрах.

Моя мама всегда от чего-то страховалась. Это тоже был способ накопить немножко — на костюм, на ковер, на холодильник. К нам в дом приходили страховые агенты. Это были, как правило, интеллигентные дамы. Они говорили “ну что вы, право” и вообще отличались старосветскими манерами. Приходили, садились за круглый, накрытый красной плюшевой скатертью стол и начинали пугать на манер гоголевского Афанасия Ивановича, любившего подшутить над простодушной Пульхерией Ивановной: “А если бы и кухня сгорела?.. А если бы и кладовая сгорела?..”

Такого рода дамы попадались не только среди страховых агентов или библиотечарш в детских районных библиотеках. Их, бедолаг, заносило даже в магазины. Обычно в качестве кассиров. Но изредка и продавцов. Я помню одну такую — пожилую, в очках, продававшую яйца. “Что ж яйца, мамаш, такие мелкие?” — возмущался небезукоризненно трезвый работяга из очереди. “А что же вы хотели бы? — невозмутимо парировала дама. — Чтобы яйца за девяносто копеек были исполинские?” Сраженный затейливым словом, позаимствованным то ли из Жюль Верна, то ли из Конан Дойля, мужик затыкался.

Мама подолгу беседовала с агентессами. Они не только пугали и всячески агитировали. Они рассказывали про свою жизнь и умело расспрашивали про чужую. Я привык прислушиваться к их разговорам. Это было интересно. Иногда даже слишком. Ибо, увы, не все были одинаково уравновешенными, подобно тому как много лет спустя не все йогурты оказались одинаково полезными. Одна, помню, с увлечением рассказывала о своей любви к животным. Я слушал, слушал и за-

дремал. Сквозь сон я слышал: “У меня была птичка в клетке и собака. Потом я собаку отдала родственникам”. — “А что такое?” — “А потому что собака стала дразнить птицу”. — “Как это?” — “А так. Она подходила к клетке и читала стихи”. — “Стихи?” — “Стихи. Целыми днями. Прямо так вот сядет перед клеткой и читает: “Сижу за решеткой в темнице сырой”. А птичке же обидно. Она ведь ответить не может. Я и отдала. Правда, потом птицу кошка съела”. — “Так кошки же у вас вроде не было”. — “Не было. Но пришлось завести. Мыши. Совершенно замучили. Наглые такие. Я, представляете себе, открываю буфет, где варенье, а она стоит”. — “Кто?” — “Ну мыш. Нахально так, руки в боки. Как хозяйка. И смотрит. Наглая такая. Ну вот я кошку и завела”. И так далее. Что было на самом деле, а что приснилось, уже не важно. Но я при слове “Госстрах” именно эту тетку себе и представляю, а больше ничего.

Чем-то, очевидно, надо все это закончить, а вот чем — непонятно. Так что пусть все останется как есть. Ничего страшного.

## Сон Попова

**Н**адо же, вспомнил! День радио! Впрочем, вру, не вспомнил, прочитал в интернете. А в детстве я эти даты — дни печати, артиллериста, шахтера, авиации, радио — не забывал никогда. Еще бы: на кухне же висел отрывной календарь, изученный мною со всей доскональностью, на которую я был способен.

В День радио страничка календаря была украшена портретом благообразного и бородатого старорежимного дядьки. Это был инженер Попов, изобретатель радио. Все остальное,

по версии тех лет, кажется, изобрели Ползунов и Кулибин.

Чтобы понять роль радио в жизни человека, надо помнить себя пятилетнего в каком-нибудь 1953 году. Ты лежишь в очередной ангине. Глотать больно, а тонкую твою шею нещадно царапает пергаментная бумага от компресса. За окном бесконечный снег. Говорить тоже больно, да и не с кем. Мама пошла в аптеку за стрептоцидом, и ее все нет и нет. На этажерке, покрытой кружевной салфеткой, стоит, подмигивая изумрудным глазом, трофейный радиоприемник. В нем вся жизнь, в нем вся надежда, он один тебе утешитель. Ты слушаешь все — от гимна до гимна.

Утренняя гимнастика. Преподаватель Гордеев, пианист Родионов. “Ноги на ширине плеч! Колени повыше! Оч-чень хорошо! Раз! Два! Три! Раз! Два! Три! Переходите к водным процедурам”.

“Пионерская зорька”. Когда-то, уже в 1970-е годы, в одной компании меня познакомили с милостивой, но простенькой барышней. На вопрос о роде занятий она как-то небрежно бросила, что она “радиоактриса”. Это заинтриговало. Потом



выяснилось, что радиоактриса она в том смысле, что, когда ей было лет семь, она записалась на радио в роли “Здравствуйте, ребята! В эфире “Пионерская зорька”!”

“Писатель у микрофона”. “Я получаю много писем от своих читателей. Прочту одно из них”.

Певцы. Бунчиков поет “Летят перелетные птицы”, а Нечаев — “Влюбленного бригадира” (“Говорить не умею речисто я. И поэтому мо-олча люблю-у-у”). Вдвоем поют шуточную: “Вот они идут, все трое — он, она и проливно-о-ой (*пауза*) дождик, дождик, дождик, дождик”.

Детская радиопостановка. “Айюга-га-а-га-а-га-а”, — закликает голос Бабановой. Мальчишек-сорванцов играет Зинаида Бокарева. Всех остальных — Николай Литвинов. Особенно папу Карло и Буратино одновременно.

Передовая статья и краткий обзор газеты “Правда”. Понятно только одно: как же мне все-таки повезло, что я родился в СССР. А мог ведь в какой-нибудь Америке. Ужас!

Разучивание песни. “А теперь прослушайте этот куплет в исполнении детского хора”.

Футбол. Вадим Синявский. Знакомая всей стране скороговорка: “Внимание, внимание! Наши микрофоны установлены.. Нетто передает Симоняну, Симонян — обратно Нетто. Надо бить! Ай-яй-я-я-яй!”

“Угадайка, угадайка, интересная игра, та-та-та-та, та-та-та-та (*не помню*), слушать радио пора”.

Произведения советских композиторов.. В кругу музыкантов была такая шутка: “Мы передавали произведения советских композиторов. А теперь послушайте музыку”.

Так вот, одним мартовским днем, уже выздоравливая и потому пребывая в томном блаженстве, я услышал скорбный голос Левитана: “Дыхание Чейн-Стокса..”. Это была первая осознанная мною смерть. Умер тот, которого радио по сто раз в день называло моим отцом. Мой настоящий отец в тот день бросил курить. Хотя при чем тут это? Непонятно.

Чтобы понять роль радио в жизни человека, надо помнить себя, вращающего во все стороны рижскую “Спидолу” с погнутой антенной в тщетной попытке расслышать голос Анатолия Макси-

мовича Гольдберга. “Глядя из Лондона”. Би-би-си. Советские танки в Праге. Ни черта не слышно.

Одна знакомая довольно большая семья ежевечерне и в полном составе слушала “Голос Америки” — это было родом ритуала. Среди слушавших был и очень старый дедушка. Он, хотя и был глуховат, вел себя тихо, никого ни о чем не переспрашивал, внимал всем этим шорохам и трескам почтительно и дисциплинированно. Лишь после всего, когда радио выключалось, он всякий раз горестно констатировал: “А погоду опять не сказали”. Особая, несколько мистическая роль погодных прогнозов — тема особая. Впрочем, об этом сказано и понаписано много всего.

Чтобы понять роль радио в жизни человека, надо поднапрячься и вообразить себе, что были баснословные времена, когда не было телевизоров, не говоря уж об интернете. А потому всенародные герои тех лет — дикторы, ведущие, спортивные комментаторы, певцы и исполнители ролей в радиоспектаклях — были таинственными невидимками, необычайно интригующими и будоражащими народное воображение.

Радио жило по обыкновению на кухне. Связь между кухней и радио была односторонней. Радио вещало, учило, пело и проповедовало. Кухня резала лук, пила чай, разговаривала, ругалась, мыла посуду. Иногда вслушивалась, поднимая указательный палец.

Теперь радио слушают в автомобилях.

Чтобы понять роль радио в жизни человека в наши дни, необходимо иметь хотя бы приблизительное представление о таком важном социокультурном феномене, как автомобильная пробка. Когда тебе приходится ловить машину, ты всякий раз тянешь лотерейный билет. Ты всякий раз задаешься вопросом, какие именно звуки будут сопровождать твое Великое стояние в Пробке. Станет ли эфир струить зефир, врачующий твое раздраженное нетерпение, или, что скорее всего, эфир будет струить безысходный “Шансон”, лишь умножающий во сколько-то раз твои дорожные муки.

Согласно известному афоризму, радио есть, а счастья нет. Это, разумеется, так. Но это и не так, если все-таки вспомнить себя пятилетнего в каком-

нибудь 1953 году, медленно и блаженно выздоравливающего после очередной ангины под ангельские, обещающие непомерное счастье звуки: “Был поленом, стал мальчишкой, подружился с умной книжкой. Это очень хорошо, даже очень хорошо! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля!”

## Игрушечный попугай

**Б**ольшинству из нас свойственно с удовольствием пересказывать друг другу те или иные шедевры детского речетворчества. Это самое речетворчество, как и прочее детское творчество, во все времена рассматривалось в контексте существующего в данный исторический момент эстетического или общественного мейнстрима и оценивалось либо с точки зрения сходства с творчеством взрослых, либо наоборот. Концепции отношения менялись от “надо их учить” до “надо у них учиться”.

То, что дети говорят иногда удивительные вещи, никакая, мягко говоря, не новость. Что, впрочем, не мешает нам всякий раз заново поражаться и восхищаться. Больше всего потрясает их способность описывать взрослый мир — заоченелый и не замечаемый нами мир межличностных связей, социальных привычек и предрассудков, идеологических и эстетических кодов нашего повседневного поведения. Они как-то вдруг формулируют то, что должны были бы сформулировать мы сами, если бы умели. Такое бывает при соприкосновении с хорошим искусством: “Это же так просто! Почему не я это сказал?”

Эстетическая ценность детского высказывания, как и высказывания художественного, прямо пропорциональна той степени, с какой нарушаются общественные приличия и этикетные предписания. Творчество — это риск. И не только риск быть непонятым. Иногда как раз наоборот.

Вот едет, допустим, пятилетний мальчик Лева со своей мамой в трамвае по заснеженной столице. Время действия — зима 1953 года. Трамвай проезжает мимо одного из многочисленных портретов усатого

человека в военной форме. Тут мальчик Лева на весь вагон звонким своим голосом спрашивает: “Мама, а Сталин когда уже умрет?” Трамвай затихает. Внезапно позеленевшая мама, вместо того чтобы дать вразумительный ответ, на ближайшей же остановке грубовато выволакивает любознательного мальчика из трамвая. Примерно через месяц на этот невинный вопрос был дан исчерпывающий ответ.

А вот, например, тоже с мамой, но уже несколькими годами позже и не в трамвае, а в троллейбусе едет совсем другой мальчик мимо площади Дзержинского (ныне Лубянской). Проезжая мимо чугунного козлобородого истукана, стоящего на высоченном круглом постаменте, мальчик (опять же во весь голос) спрашивает: “Мама, а этот дядя, который вылез из трубы, он кто? Трубочист?” Финал тот же.

А вот, скажем, еще несколькими годами позже и уже другой мальчик — лет восьми — сидит с отцом в коридоре детской поликлиники. Долгая нудная очередь. Папаша читает книжку, мальчик мается и разглядывает стены. Вот плакат о профилактике гриппа. Тут вот велят мыть фрукты перед едой.



В другом месте настоятельно советуют закаляться как сталь. А вот чередой портретов каких-то дядек в пиджаках, галстуках и со скучными озабоченными лицами. “Пап! А кто эти дяденьки?” — спрашивает мальчик. Отцу лень объяснять, что означает слово “политбюро”. Поэтому он отвечает лаконично: “Это наши вожди”. — “Ну папа! — говорит сынок с нравоучительной интонацией. — Что ты говоришь? Какие вожди? Вожди же бывают только у диких племен!” Крыть отцу было особенно нечем, но, к счастью, подошла их очередь.

А вот еще, лет десять спустя, другой мальчик утром седьмого ноября 197<sup>2</sup> года расталкивает свою спящую маму. “Мама, — кричит он, стараясь перекричать включенный на полную громкость телевизор, — вставай, мама! Вон, уже прямо сейчас парад будет! Вот уже и правительство карабкается на Мавзолей”. Ну как можно было сказать точнее про специфическую пластику наших одышливых геронтократов?

А вот уже совсем недавно маленькая девочка лет трех с чем-то рассматривает яркий плакат на заборе строительной площадки. На плакате что-то напи-

сано, а в центре композиции — большая двухголовая птица, разукрашенная красным, белым и синим цветами. “А это какая птица?” — спрашивает девочка. (Только что они вместе с дедом, которого по странному стечению обстоятельств зовут так же, как мальчика в первой из череды наших историй, Львом, кормили уток в пруду.) “Это герб России”, — честно, но непонятно отвечает дед. “А почему такого цвета?” — “Это цвета российского флага”, — отвечает дед с той же неумолимой честностью. Интересно, что о нестандартном количестве голов вопроса не последовало. Девочка надолго замолкает — совершенно очевидно, что в голове ее происходит серьезный аналитический процесс. Через какое-то время она делится результатом своей напряженной умственной работы. “Это так иногда бывает, — говорит она, — что если попугай игрушечный, то у него бывает две головы”. Боже мой, изумляется дед, “игрушечный попугай”! Как придумаешь такое!

После прочтения и прослушивания всех этих бесспорных шедевров подмывает воскликнуть: “Будем как дети!”

Воскликнуть-то можно, никто не мешает. Да только не получится. В этом смысле — не получится. Свежий и непредвзятый взгляд на жизнь редко дается взрослому человеку, если он, конечно, не большой художник. Из блаженного детства за нами тянутся совсем другие хвосты: ужас перед социальной ответственностью, пренебрежение причинно-следственными связями, крикливая капризность, беззаветное доверие к сказке, смертельный страх потерять из поля зрения маму-папу, непреклонная уверенность в том, что не ты сам, а этот противный шкаф, лишь он один повинен в том, что ты с разбегу треснулся головой об его угол.

Так что нет, не надо — не будем как дети. Тем более что мы и без того как дети. Попробуем быть взрослыми наконец. Лучше поздно, чем никогда.

## Скелет писателя

**М**не очень хотелось стать писателем. Иногда хочется и теперь. А до этого, как более или менее все нормальные мальчики, я попеременно мечтал стать летчиком, постовым милиционером, знаменитым путешественником, эстрадным конферансье, билетным кассиром, директором подземного перехода. Какое-то время — врачом, как мой дядя Боря, который подарил-таки мне однажды настоящий шприц с набором иголок. Шприц этот я сразу же принялся яростно втыкать во все, во что он был способен воткнуться (ой,

только, пожалуйста, без Фрейда), пока у меня его не отняли.

До канонических космонавтских поползновений дело не дошло: век космонавтики стартовал в ту пору, когда мне было целых тринадцать лет, и я уже прочно воцелился писательского удела. В писательстве, естественно, меня привлекала прежде всего внешняя сторона дела. Меня завораживали выражения типа “в настоящее время я работаю над” или “я собираю материалы для”. Как же были заманчивы в своей таинственной бестелесности эти “материалы”. Меня неодолимо влекла ослепительная перспектива подолгу, подперев ладонью щеку, сидеть за письменным столом, где слева размещалась бы стопка бумаги формата А4, а справа — такая же, но исписанная и исчерканная моим — если бы вы видели каким — почерком. Можно в глубокой задумчивости грызть дужку очков, можно вставать время от времени из-за стола и рассеянно смотреть в окно, за которым “пушистый нежный снежок бесшумно ложился на хрустальные ветви деревьев”. (Запомнить.) Удостоверившись, что за окном все в порядке, что там,

как это и положено, “смеркалось”, можно было со вздохом вернуться за стол и снова думать в сидячем положении. А там и обедать позовут.

Есть, есть чем заняться писателю. А пуще всего манила неоспоримая индульгенция, выраженная магической формулой “не пишется мне сегодня что-то”. Это вам не контрольная по алгебре, где “что-то не решается мне сегодня” едва ли прокатит. Собственно же литература ограничивалась некоторым количеством первых фраз некоторого количества нерожденных произведений. Из этих мучительных фальстартов вспомнить, увы, решительно нечего. Это вовсе не то, что первая фраза тоже незавершенного, но безусловно выдающегося произведения одной вундеркиндской девочки, дочки старых знакомых. Когда девочке было лет девять, она ненадолго присела за исторический роман. Начинался — как, впрочем, и заканчивался — этот роман так: “Герцогиня N. сошла с ума после того, как узнала о том, что ее дочь незаконнорожденная”. Это, согласитесь, серьезно.

Некоторым детям и вовсе не обязательно примерять на себя писательство, ибо они сами явля-

ются воплощенной литературой. Существуют дети (хотя вообще-то не только дети), умеющие создавать вокруг себя мощное литературное поле, не прибегая к особым усилиям. Есть вот, например, один чудесный мальчик, родительские рассказы о котором прочно поселяются в моей благодарной памяти, и я только и жду повода, чтобы... Ну, в общем, понятно.

Ну вот хотя бы это. Мальчик в один прекрасный день спрашивает у своего отца: “Папа, а кто такой Серафимович?” “А тебе зачем?” — недоумевает отец. “Ну, моя же бабушка живет на улице Серафимовича? А я не знаю, кто это”. Суетливо пошелестев в памяти разрозненными листками школьной программы и не найдя там ничего путного, отец промямлил: “Ну, это такой писатель вроде. Написал он... Ну, что-то он написал. Романы какие-то. А! Вот! Вспомнил. “Железный поток”. О чем там речь, не помню, извини”. Мальчик невразумительным этим ответом вроде бы вполне удовлетворился. А примерно через полгода после этого разговора отец повел сына в палеонтологический музей. Это где разные доисторические

скелеты и бивни. Любознательный мальчик все внимательно рассматривал, делал какие-то замечания, а потом вдруг ни с того ни сего обратился к тетеньке, по роду службы сидящей на стуле в углу зала. “Скажите, пожалуйста, — спрашивает вежливый мальчик, — а скелеты людей в вашем музее есть?” — “Ну есть”, — отвечает несколько ошарашенная музейная работница. “Скажите, а скелеты писателей у вас есть?” — “Каких еще писателей?” Тетка совсем ошалела. “Ну, например, писателя Се-рафимовича”. Что она ему ответила и ответила ли она ему что-нибудь вообще, в данном случае совершенно неважно.

А важно то, что жизнь, вступая время от времени в схватку с литературой и неизменно ее побеждая, сама же литературой и становится. И в каждом шкафу, даже если это детский шкафчик с веселым грибочком на дверце, таится скелет — скелет писателя.



## Так само получилось

**Т**ектонические сдвиги последних десятилетий столь разительны и столь эпически масштабны, что мелочи иногда ускользают из нашего заинтересованного внимания. Но мы-то знаем: мелочей не бывает. Особенно таких мелочей, о которых мне хочется напомнить.

Короче говоря, заметили ли вы, что жители наших городов почти перестали плевать на улицах? Ну хорошо, не совсем, я же сказал “почти”. А что было раньше, помните? Не помните? Ваше счастье. Не плюются теперь даже подростки. Они, правда,

повадились выдувать из себя довольно омерзительные на вид резиновые пузыри, но зато не плюются. По крайней мере мне так кажется. Активно плюются теперь только футболисты на поле и все остальные в кресле стоматолога.

А вот мальчишки времен моего детства плевались непрерывно. Умение эффектно плеваться было делом чести, доблести и геройства. Мы плевались направо и налево. Вперед и назад. На дальность и на меткость. Друг на друга и на все остальное. Мы плевались лихо и азартно, бунтуя против нудных и репрессивных норм “приличного” поведения, против учителей и родителей, против Правил юных пионеров и таблицы умножения, против Васька Трубачева и его товарищей. С возрастом одни идиотские привычки, как правило, сменяются другими. Сначала, допустим, жуют вар. Потом пробуют курить за гаражом. Потом — глоток портвейна из горла. А вот обыкновение плеваться никуда не девается и ничем не сменяется. Оно служит постоянным монотонным аккомпанементом для всех прочих. Взрослые тоже плевались. И тоже довольно много. Но они плевались скучно и де-

ловито, не прерывая разговора, курения и игры в азартные игры.

В помещениях плевать не разрешалось, считалось признаком бескультурья. “Дома небось не плюетесь”, — укоризненно говорила нам уборщица тетя Нюра и была права. В конце 1950-х знакомый моих родителей побывал в командировке в каком-то советском захолустье. Вернувшись, он рассказывал о надписи, которую прочитал в салоне одного из рейсовых автобусов. Там было написано: “Сорить и плевать на пол воспрещается”. Тогда писали именно так — “воспрещается”. Увидев надпись, он возмутился вслух, апеллируя к пассажирской общественной зрелости. “Как же надо не уважать нас, пассажиров, чтобы вывешивать такие вещи, — возмущался столичный командировочный. — Как будто бы мы все только и делаем, что плюем на пол”. Общественность его митинговой страстью заразилась, прямо скажем, несильно. Лишь один представитель пассажирской массы, мужик средних лет, степенно возразил ему: “Те, что писали, поумнее нас-то с вами будут. Им уж видней, что писать, а что не писать”.

Тотальная заплеванность наших улиц долгое время не замечалась мною. Вернее, казалась нормой. Я стал замечать ее лишь тогда, когда вернулся домой из первой моей заграницы, случившейся лишь в конце 1980-х. Чистота лондонских улиц как раз не произвела на меня особого впечатления — слишком много было впечатлений других, куда более красочных. Но, вернувшись в Москву, я стал обращать внимание на обилие плевков и плевочков, покрывавших родной асфальт. И ни принимать их как должное, ни считать “эти плевочки жемчужинами” уже никак не получалось.

А еще я стал думать вот о чем. Почему, стал я думать, в нашем языке так много идиоматических конструкций, связанных с функцией слюнных желез? Почему бесшабашность, легкомысленность и равнодушие к тем или иным сторонам жизни должны называться именно наплевательством? Это теперь наплевательство стало именоваться пофигизмом или в крайнем случае — его более сильным, хотя и менее нормативным синонимом. Впрочем, как было сказано в начале, плевать в последние годы вроде бы перестали.

Коллективный разум народа предписывал “наплевать” на всякую ерунду, всякий вздор, всяких дураков, говорящих всякие глупости. На вредное начальство, на украденный кошелек, на двойку в третьей четверти. Но он же неукоснительно предостерегал от плевания в колодец. И не потому, что колодец — это вообще колодец. А потому что тебе же, дураку, пригодится воды напиться. А так — почему бы и нет.

Вот случай, давний случай, где в диалектическом единстве слились вечный российский мотив безбашенного наплевательства с табуированным колодцем. В общем, дело было так. 1950-е годы. Коммунальная кухня. Тетки-соседки хлопочут каждая над своим борщом. В какой-то момент в кухню влетает с выпученными глазами сынок одной из них, мальчишка лет примерно девяти. “Мама! — кричит он. — Сейчас сюда придет папа!” Это единственное, что он успевает произнести, потому что в тот же самый момент в кухню действительно вбегает папа и начинает гоняться за ним вокруг ничего не понимающей мамы с криками: “Убью, гадина!” После того как отец чуть-чуть остывает,

а сынок, хлюпяя носом, убегает в уборную, где запирается на полчаса, выясняется следующее. Папа прилег на диван с газетой да и задремал. Сынок, сидевший поблизости и решавший какие-то задачки по арифметике, повинуюсь чему-то столь же неведомому, сколь и непреодолимому, встал и подошел к спящему отцу. Сначала он долго вслушивался в равномерное похрапывание. Потом с все возрастающим интересом стал вглядываться в темноту разинутого папашиного рта. То, что последовало за этим, сам он описывал так: “Я не хотел, правда. Я просто думал: а что будет, если я плюну папе в рот? И все. Я не собирался, правда. Я просто думал: а что будет? Ну правда, я не хотел. Так само получилось”. В тот же самый миг, когда “так само получилось”, отец немедленно проснулся. Все остальное уже известно.

Вот и все. И попробуем хотя бы в этот раз избежать соблазна многозначительных обобщений. Ну разумеется, Эдип, как не понять. Ну, библейская история про Ноя и Хама — тоже не фокус. И про реализацию метафоры говорить незачем — слишком все очевидно.

А уж разговоры обо всяких там национальных особенностях и самобытных традициях — это уж вообще. Да и не верю я, честно говоря, ни в какие такие особенности. Это все либо для патриотов, либо для ксенофобов, что, в общем-то, одно и то же. Вот пусть они об этом и думают. И что бы они там все ни напридумали, мы-то знаем, что ничто ничем толком не объяснить. Почему мы плевались? Почему перестали? А почему “да наплюй ты на него, в самом-то деле”? А почему “а мне трижды наплевать, что ты кандидат наук”? А почему “плюнул на все и уехал отсюда куда глаза глядят”? А почему все остальное? Бог его знает почему. Видимо, уж “так само получилось”.

## Памяти Кулибина

**Б**ог знает что заставило меня вспомнить ни с того ни с сего об этом злополучном Кулибине. Видимо, июнь. В том смысле, что в школах заканчиваются выпускные экзамены и друзья веселые простятся уже вот-вот со школою, чтобы потом вспоминать о ней — кто-то с умилением, а кто-то — вроде меня — с тоскливым томлением. (Или с томительной тоской — как лучше?)

Но это относится к школе как учреждению, к школе как таковой. А вот многих своих учителей я вспоминаю со сложной смесью чувств, где



среди прочих преобладают благодарность и раскаяние. Раскаяние во всем том, что они претерпели от меня. И благодарность за то, что никто из них меня не только не убил, но даже ни разу и пальцем не тронул. Впрочем, одна математичка в шестом классе — ее звали Тамара Тимофеевна — говорила время от времени о том, что “Рубинштейна я иногда убить готова”. Слово “готова” она произносила почему-то с ударением на последнем слоге. Но ведь не только не убила, но и — как я теперь понимаю — даже и не особенно была к этому “готовА”. И вообще, кажется, совсем неплохо ко мне относилась.

В общем, едва ли надо объяснять, что ученичок я был еще тот. Нет, учился-то я как раз неплохо — не хуже многих. Но я (курсив мой) *вертелся*. Боже, как же я вертелся! Я и сейчас-то не чересчур долго могу усидеть на одном месте. Но в детстве...

Не вертелся, не болтал и никого не передразнивал я только в одном случае — когда читал на уроке, держа книжку на коленях. Вот тогда я не вертелся, а был, наоборот, тише воды. Особенно запойно мне читалось почему-то на физике. Вот сижу я, читаю что-то увлекательное и вдруг слышу: “Рубин-

штейн нам ответит на этот вопрос”. Чего? Какой еще вопрос? Встаю, вопросительно смотрю на соседа по парте Володьку Шухова, большого, надо сказать, остроумца. “Шестнадцать”, — произносит он громким театральным шепотом. Я и выпаливаю как можно бодрее и победоноснее: “Шестнадцать!” После секундного замешательства все начинают ржать как зарезанные, а громче всех — остроумец Володька. Не смеются двое — я и несчастная Эльвира Васильевна. Она спрашивает, вполне, впрочем, риторически: “Что шестнадцать? Что шестнадцать? Дай-ка дневник. Шестнадцать.. Горе мое”. А она ведь спросила наверняка про какое-нибудь очередное правило буравчика и никак не менее того. На шутника я не обижаюсь, ибо знаю: ответный выстрел остается за мной. Уж я что-нибудь придумаю, не извольте сомневаться — трепещи, поганец.

А при чем тут Кулибин, спросит кое-кто из нетерпеливых. Да, в общем-то, ни при чем. Просто самая первая из моих учительниц, Александра Федоровна, по абсолютно непонятной мне причине ставила всем нам в пример не Ульянова-гимназиста, не Николая, скажем, Островского и не Зою, допу-

стим, Космодемьянскую, а почему-то Кулибина. Да, Кулибина — мифического народного умельца, изобретателя всего на свете, кроме разве что вечного двигателя, да и это не вполне очевидно. Что Кулибин? Почему Кулибин? Какую такую роль в судьбе Александры Федоровны сыграл этот самопальный демиург, чьего имени я не помню и чьего изображения я не видел никогда? Почему именно он стал для нее, а заодно и для всех нас недостижимым образцом благодетельства? Этого я не узнаю уже никогда. Так же как я никогда не забуду слов Александры Федоровны, обращенных непосредственно ко мне и произнесенных ею с той силой убеждения, каковая продолжает воздействовать на меня спустя многие десятилетия. “А вот Кулибин, — с расстановкой сказала мне как-то учительница первая моя, — а вот Кулибин никогда не вертелся!” Кулибин никогда не вертелся. Я верчусь с утра до вечера. И тут до меня дошло: если ничего не изменится, нашим с Кулибиным путям не суждено пересечься нигде и никогда — ни в этой, ни в будущей жизни. И это подействовало на меня до такой степени, что я не вертелся аж целых два урока. Целых два.

## Прощайте, голуби

**К**уда-то они все подевались в последнее время. А ведь когда-то их было в изобилии. То есть не то чтобы в изобилии, но они как-то были хорошо заметны, ярко выделялись из монотонной толпы, очень разнообразили и даже, осмелюсь сказать, украшали нудное течение городской жизни. Я имею в виду тех, кого раньше называли городскими сумасшедшими.

Без них город не город, как не бывало прежде деревни без деревенского дурачка.

Первым в моей жизни был человек Женя. Он жил в нашем дворе. Сколько ему было лет тогда,

непонятно. Может быть, двадцать, может быть, сорок — кто его знает. Женя и Женя. Он целый день слонялся по двору в синих сатиновых шароварах и в вытянутой вязаной кофте, застегивавшейся на левую сторону. Бабушкина, видимо. Бабушкиной, судя по всему, была и клеенчатая кошелка, с которой он никогда не расставался. Он почти никогда не разговаривал, а лишь расхаживал по диагонали двора и одинаково ласково и приветливо улыбался всем и каждому.

Мальчишки его не дразнили — он был не только абсолютно безвреден, но и необычайно полезен. Любой из нас мог подойти к нему и сказать: “Женя, сделай мне голубя”. И он никому не отказывал. Из кошелки вынималась толстенная растрепанная книга без обложки. Из этой книги выдирался листок (судя по обилию чертежей и формул, это был какой-то технический учебник), и Женя с необычайной сноровкой и прямо-таки цирковой скоростью сооружал отличного бумажного голубя. Поразительно, что книга, из которой вырывались странички, не только никогда не заканчивалась, но даже и не становилась тоньше.

Иногда над двором витала целая стая Жениных голубей, перемешиваясь с живыми голубями, потому что голубятня в те годы была практически в каждом дворе. Если бы подобную сцену я увидел в кино, то на вполне законных основаниях счел бы ее пошловатой. Но у искусства свои законы, а у правды жизни свои.

Еще я помню пожилого, но очень крепкого еврея, в развевающейся онегинской крылатке и картонном маскарадном цилиндре регулярно мчавшегося на самодельном грохочущем самокате через Трубную площадь.

Еще я помню практически настоящую королеву, обитавшую в районе Пятницкой улицы. Она надевала на себя мантию из красной марли, украшенной клочками ваты (горностаи?), венчала непокорную главу короной из шоколадного “золотца”, густо румянилась и выходила на улицу, где медленно и величаво прогуливалась, милостиво кивая всем, кто обращал на нее взор. А таких, как легко себе представить, было немало.

Я помню тетку, расхаживавшую по улице и с равными промежутками времени выкликав-

шую праздничные лозунги. “Да здравствуют советские пионеры!” — орала она, до полусмерти пугая случившуюся поблизости хозяйку с авоськой. “Да здравствуют советские шахтеры!”. “Да здравствуют советские монтеры!” За монтерами следовали слесари, пекари и парикмахеры. Орала она так оглушительно, что публика, многозначительно переглядываясь, переходила на другую сторону улицы.

В день очередного всенародного голосования за нерушимый блок коммунистов и беспартийных я запомнил удивительного человека неопределенного возраста, нервно слонявшегося перед дверями избирательного участка. Он был одет в застегнутый до самого подбородка черный китайский плащ “Дружба”, сверху донизу украшенный непостижимым количеством различных значков, среди которых мне бросились в глаза значок Фестиваля молодежи и студентов в виде легкомысленной разноцветной ромашки, значок с изображением Юрия Гагарина и значок американской выставки в Сокольниках с горделивой аббревиатурой *USA*. В руках у него была выдавшая виды папка с тесемками, плотно набитая старыми,

свернутыми вчетверо газетами. Время от времени человек этот вставал в позу чуть ли не римского оратора и, размахивая руками, заводил страстную и не слишком членораздельную абракадабру, суть которой сводилась к тому, что лучшего кандидата в депутаты, чем он сам, нет и быть не может. Кстати, в контексте общественной и политической жизни тех, да и не только тех лет он, я полагаю, был абсолютно прав. Его, видимо, хорошо знали в этом районе, поэтому решительно никто, включая милиционера, но исключая меня, не обращал на него ни малейшего внимания.

Еще я помню пожилого дядьку, сидевшего напротив меня в автобусе. Лицо его было напряжено и выражало даже какую-то муку. В какой-то момент он сказал самому себе: “Так как же мне действовать, товарищ полковник?” Через несколько секунд он с четкой военной интонацией “ответил”: “Действовать строго по уставу!” “Есть действовать строго по уставу”, — мгновенно прореагировал он же, после чего лицо его разгладилось, глаза потеплели, он совсем успокоился и облегченно погружился в целительную дрему.



Много я помню таких чудесных людей. Куда, куда удалились они? Куда пропал этот тонкий, но столь яркий слой сограждан, самим фактом своего существования не только усыплявших нашу бдительность, укреплявших нас в наших иллюзиях относительно нашей нормальности, но и наглядно демонстрировавших какие-то совсем новые, невиданные ранее возможности не столько повседневного, сколько художественного поведения?

Ну допустим, кто-то из них обзавелся депутатской неприкосновенностью. Ну допустим, какие-то элементы этого удивительного мира канализировались в сознательную художественную практику. Или в журналистскую. Или в общественно-политическую.

Может быть, и так. А может быть, мы просто перестали замечать все это по той печальной причине, что наши представления о норме и патологии в последние бурные десятилетия претерпели серьезные изменения и то, что раньше воспринималось как патология, стало восприниматься как норма. Или общее количество безумия, покинув отдельные, избранные души, равномерно распре-

делилось по всему наличному народонаселению. Или на фоне тотальной социальной патологии, набирающей обороты в нашей общественной, политической, культурной жизни, они стали просто незаметны, слились, так сказать, с ландшафтом.

Так это или иначе, но без них плохо. Без них скучно. Без них и без того нетвердая убежденность в собственной нашей несокрушимой нормальности становится уже и вовсе зыбкой.

## Куда что деваается?

**Н**еужели не волнуют вас судьбы вещей и вещичек, пропавших, украденных, выкинутых за ненадобностью, но хотя бы однажды в жизни помахавших вам рукой? Меня — очень. И бесконечно манящий образ иголки в стоге сена всегда тревожил мое воображение. То, что нам едва ли удастся ее, эту иголку, отыскать, это, как говорится, наши проблемы. Но ей-то там каково? В детстве я обожал разные повести и рассказы о захватывающих приключениях, например, почтовой марки или, допустим, щепочки, пущенной по весеннему ручейку.

Боже, каким только испытаниям не подверглась эта сублильная, но доблестная щепочка, прежде чем завершить свое кругосветное путешествие. Ну закончилось кругосветное путешествие, думал я, а дальше-то что?

А дальше что? Где теперь наши детские игрушки, фантики, оторванные с мясом пуговики, исчерканные нашими каляками-маляками тетрадные листки, пустые одеколонные флаконы, изношенные башмаки? Мы почему-то не способны примириться с тем, что хоть что-то может исчезнуть бесследно. Вот и ищем следы. Бессознательно, но ищем.

Иногда они отыскиваются. Когда-то я служил в библиотеке. И меня неизменно поражало обилие и разнообразие вещей, обнаруженных между книжными страницами. Чемпионами в моем рейтинге оказались, помню, маникюрные ножницы, стекло от очков и молочный зуб. Свадебные фотокарточки, дореформенные купюры, квитанции из прачечной, одинокие спички, перчатки и свидетельства о браке были делом вполне рутинным. Иногда, кстати, по этим вещам-закладкам можно

было легко определить, где и при каких обстоятельствах читалась книга. Вот, например, трамвайный билетик, вот ресторанный счет, вот талончик на прием к стоматологу, а вот и обрывок туалетной бумаги. Все понятно.

Знакомая художница, поселившаяся с недавних пор в Амстердаме, рассказывала мне, что местные городские птицы, обитающие и кормящиеся около каналов, приноровились вить свои гнезда-инсталляции из подручных материалов — кусков проволоки, обрывков фольги, осколков бутылочного стекла, жвачки и использованных презервативов. Нет, бесследно ничто не исчезает, и это обнадеживает.

Но мы говорим о посторонних вещах, о вещах из заманчивой, но все же чужой жизни. А ведь бывают и свои, и не просто свои, а те, что стали однажды частью тебя самого. Не в метафорическом — в буквальном смысле.

Когда-то я внутренне съеживался всякий раз, когда слышал о том, что “автомат проглотил двушку”. Дело в том, что однажды, будучи вовсе не автоматом, а, напротив, живым мальчиком

пяти лет, я именно проглотил именно двушку — двухкопеечную монету. Как это случилось, я не успел понять — настолько я испугался. Немедленная и мучительная смерть показалась мне неминуемой. Мама тоже испугалась. Не так, как я, но все же. И тут же принялась втюхивать в меня ударные дозы чего-то такого, что, по ее представлениям, должно было возвратить поглощенный мною кусочек цветного металла в куда более естественный для него мир товарно-денежных отношений. Слабительное не подвело, подействовало безотказно, после чего несчастная мама принялась тщательно, но, увы, совершенно безрезультатно обследовать это дело на предмет обнаружения там инородного тела. Инородное тело ничем себя не выдало ни после второго, ни после третьего бодрящего сеанса.

На следующий день, усталые и недовольные, мы отправились на рентген. Рентген же заявил, причем категорично, что ничего постороннего во мне нет. Так я и жил некоторое время в странном, тревожном ощущении, что вроде бы во мне что-то есть, но в то же время и ничего нет. Вроде бы

ничего нет, но что-то и есть. Брат же и вовсе принялся шутить насчет того, что теперь я подорожал на целых две копейки. Очень смешно!

Поскольку я не умер тогда и, более того, не умер до сих пор, история эта постепенно превратилась в просто забавную историю. Но все равно я думал и думаю иногда по сей день: “Ну куда же она, эта злополучная двушка, все-таки подевалась? Где она? Что с ней стало? Все-таки выплыла же она когда-то на свет божий? Свершилось же однажды ее второе рождение? Не может же быть, что талант так и остался зарытым во мне самом? Нет, не может этого быть.

Ну допустим. А потом? Какой трудный и извилистый, полный падений и воспарений путь проделала, звеня и подпрыгивая, валяясь в пыли около магазинной кассы, таясь от нескромных взоров во внутреннем кармане старого плаща, эта маленькая монетка, пока не очутилась однажды на пустынном тротуаре? Кем был тот, кто радостно вскрикнул, разглядев ее посреди ночи под тусклым фонарем, когда не оставалось уже никакой надежды? Кому позвонил из телефона-

автомата этот нашедший? Как повлиял этот ночной разговор на его дальнейшую судьбу? Хочется думать, что хорошо повлиял, правильно. Потому что не зря же я, в конце-то концов... А что, собственно, не зря? Да все не зря.



## Велосипед

**Э**ту отчасти трогательную и безусловно поучительную историю рассказал мне однажды мой добрый друг писатель Х.

Это было в Доме кино на премьерном показе какого-то важного кинофильма. В зале сидела так называемая “вся Москва”, включая и моего друга, писателя Х. А после просмотра был, разумеется, и банкет — куда ж без банкета.

И вот сидит на этом банкете писатель Х в компании своих развеселых друзей, весело и обильно выпивает и закусывает, участвует в не-

торопливом обсуждении только что просмотренного кинофильма. Обсуждение носит исключительно дружественный характер, что и понятно, если учитывать, что и сам автор кинофильма сидит совсем неподалеку. Ну, в общем, все как всегда.

И видит писатель *X* своим боковым писательским зрением, что через два стола от него сидит прославленная эстрадная певица *Y*, любимица всего российского народа, живая легенда и все такое.

И говорит слегка подвыпивший, а потому настроенный на бесшабашный лад писатель *X* одному из своих приятелей: “Коля, ты ведь знаком, кажется, с *Y*. А не можешь ли ты и меня с ней познакомить?” “Могу, конечно, говно вопрос”, — отвечает отзывчивый Коля, берет писателя *X* за руку и подводит его к столику, где сидит певица. “Вот, познакомься, — говорит он ей, — мой друг, писатель *X*. Очень хочет с тобой познакомиться”. Ну, с ней, понятное дело, кто только не хочет познакомиться, поэтому ее лицо не выражает ничего, кроме прохладной вежливости.

“А вы, между прочим, должны помнить мою жену, — говорит *X*. — Вы в детстве жили на одной

даче. Ее зовут Светлана Z". "Ой, Светка! — оживляется певица. — Надо же!"

Будущая жена писателя X и будущая звезда отечественной эстрады Y действительно жили на одной даче и действительно дружили. Но их дружба не была безмятежной. Эту дружбу существенно омрачало одно роковое обстоятельство: у Z был велосипед, превосходный велосипед, привезенный ее родителями из-за границы, где они работали какое-то время. А вот у Y велосипеда не было. Никакого. Ее родители, хотя и не были особенно бедными, почему-то считали, что "незачем". И Y тяжело и мучительно завидовала Z. И не очень-то даже эту свою зависть скрывала. И всякий раз, когда находила для этого повод, говорила: "Ничего, Светочка, у меня тоже будет велосипед. Точно такой же". Но его все не было.

"Передать Светлане привет от вас?" — спросил писатель X. "Передайте, конечно, — горячо и искренне сказала певица. — И скажите ей вот что. Скажите ей, что у меня теперь тоже есть велосипед. Она поймет". Писатель X и сам понял про велоси-

пед. Но ему при этом показалось, что в ее голосе прозвучала некоторая неуверенность.

Нет, не было у нее велосипеда. Все было: слава, деньги, всенародное обожание. А велосипеда, того самого, что был у подруги ее детства, не было. И уже не будет. И это было очевидно.

Давно известно, что вечная погоня за несбывшимся есть мощный стимул для громких побед, впечатляющих свершений и великих открытий. А также для подлых предательств и масштабных преступлений. Давно известно, что энергия мучительной зависти, ревности, соперничества может быть преобразована в энергию созидательную, а может и в разрушительную. Все это известно. И что в биографической перспективе предпочтительнее, иметь в детстве “велосипед” или не иметь его, — не вполне понятно.

По-моему, все-таки лучше иметь. Я, например, по выражению глаз, по пластике, мимике и особенностям повседневного или публичного поведения разных людей тотчас распознаю тех (кем бы они ни были — артистами, президентами, продавщицами или курьерами — и каких бы социальных вы-

сот бы они ни достигали), кто так и не обрел того самого заветного “велосипеда”, а потому столь яростно, упорно и суетливо пытается изобрести другой. Иногда это удается, иногда нет.

У меня, кстати, был велосипед. Я его помню как сейчас. Вишневый с синими полосками на крыльях. Завернутый в промасленную пергаментную бумагу. Кожаная сумочка с инструментами. Серебристый насос. Аппетитный коктейль запахов: машинное масло, кожа, свежая резина. “Орленок”, одним словом.

Ну и что с того, что был он у меня не более полутора суток? И что с того, что на второй же день я горделиво отправился верхом на вновь обретенном красавце в булочную? И поставил его у дверей. И вертевшемуся тут же пацану моих примерно лет сказал: “Позырь, ладно? Я быстро”. “Ладно, — сказал пацан, — pozyрю”.

Ну и надо ли говорить, что в обратный путь я отправился пешком и в горячих слезах? Слезы потом высохли. И самое главное, что он же все-таки был у меня.

## История

**К**огда-то надо все-таки узнать уже и о далеких предках своих. Пора. У нас теперь история, в четвертом “Б” классе, первого сентября 1957 года. Александра Федоровна встала, празднично сверкнул золотой зуб.

“Наши далекие предки, ребята, были славяне. Гизатулин, спишь. Не выспался за каникулы? Манукян! Что я сейчас сказала? Повтори”.

Толстуха Манукян болтает с Йозинасом, ей не до предков-славян.

Снова: “Наши далекие предки были славяне. Рубинштейн, а тебя не касается? Извертелся весь! Славяне селились...”

# СЕМАНТИЧЕСКИЙ СДВИГ





## Ни слова о политике

**И**менно так было начертано на самодельном плакате, в течение нескольких лет повисевшем на стене в мастерской моего друга, художника. Это было в 1970-е годы. Друг мой не то чтобы особенно боялся. То есть, разумеется, чуть-чуть не без этого: человек он был общительный, и в мастерской его постоянно ошивалась всякая публика, иногда совершенно случайная. Но главное было в другом: политика и разговоры о ней казались ему невыносимо скучными и никчемными.

Надо ли говорить, что его призыв если и достигал какой-либо цели, то скорее обратной. И дело не только в том, что любой разговор рано или поздно обязательно сворачивал на что-нибудь “этакое”. Дело главным образом было в том, что манифестируемая моим товарищем аполитичность как раз и была самой что ни есть политикой. В те времена, когда каждая, казалось, молекула несла в себе мощный идеологический заряд, любой человеческий жест воспринимался как жест либо за, либо против. А слово “аполитичный” было чуть смягченным синонимом слова “антисоветский”. Фраза “аполитично рассуждаете, гражданин” звучала довольно-таки зловеще. Знакомый рассказывал, как однажды его вызвали в школу, где училась его дочь. Завуч среди прочего говорила: “Понимаете, не знаю даже, как сказать поточнее. Но вот у вашей Кати выражение лица часто бывает какое-то несоветское”. Сегодня объяснить, что значит “несоветское выражение лица”, практически невозможно. А тогда это было очень даже понятно.

Но мы политикой не интересовались, и это было сознательной позицией. Именно аполи-

тичность и была пусть и пассивным, но сопротивлением. Это четко осознавали мы, и это четко осознавали “они”, видя наши “несоветские выражения лиц”.

Впрочем, все это было давно. А теперь, как известно, другие времена. Совсем другие, уже хотя бы потому, что упомянутая мною ситуация с аполитичностью советских лет развернулась буквально на 180 градусов. “Ни слова о политике” — это главный лозунг теперешней государственной идеологии. А другого нет и быть не может. Ибо нынешняя власть испытывает огромный, зияющий дефицит идеологии. Похоже на то, что у нынешней власти никакой идеологии нету вообще, а потому ее риторика являет собою малосъедобную кашу из взаимоисключающих компонентов, от ультралиберальных и рыночных до державно-имперских. Поэтому именно аполитичность — это нынешний мейнстрим, сознательно и целенаправленно поощряемый и культивируемый кремлевским агитпропом. Аполитичность — это, если угодно, и есть сегодняшний конформизм.

В далекие советские времена высказывание Бертольта Брехта о том, что “для искусства беспартийность означает принадлежность к господствующей партии”, казалось мне верхом упертости и нелепости. Сегодня эта фраза звучит совсем по-другому. Нормально звучит. Во всяком случае, есть о чем подумать.

Да, я продолжаю полагать, что политика неинтересна, тупа и безрадостна. Особенно в периоды “стабильности”, когда она является нам в виде таких искрометных телезрелищ, как задушевные беседы главы государства с выпускниками военных академий. Но получается, что официальная, гламурная, лоснящаяся аполитичность еще тупее и куда позорнее.

Всегда были люди — есть они и теперь, — умевшие читать партийные газеты между строк. Умевшие с большой степенью вероятности предсказывать новые назначения или изгнания по тому, кто с кем рядом стоял на Мавзолее или в каком порядке перечислялись имена тех, кто “встречали высокого гостя”. Мой приятель, политический журналист с довольно сильным

филологическим бэкграундом, уверял, что драматургия кивков, шепотков и переглядываний в “коридорах власти” не менее захватывающая, чем Шекспир или Достоевский.

Не знаю, все может быть. Но я этим языком не владею, и мне он неинтересен.

Но бывает так, что ты вдруг зачем-то понадобишься политике, и она начинает говорить с тобой на твоём языке. Обычно это бывает раз в четыре года, когда тебя начинают кормить демьяновой ухой, когда назойливо зовут к столу, покрытому аккуратной скатеркой. Когда тебе вручают какую-то бумажку и показывают, в какую щелку ее совать. Ну вот, говорят тебе, спасибо за внимание. Извините, говорят, что побеспокоили. Завтра, говорят, у нас новая жизнь. “А у нас?” — тревожно интересуешься ты. Но тебя уже не слушают. Все, все, проходи, мешаешь, иди домой — мы там тебе сатиру-юмор-мультики включили. Будет надо — позовем.

А иногда политика начинает так заниматься лично тобой, что ты вскакиваешь и несешься к радиоприемнику, или ныряешь с головой в мут-

ную зыбь интернета, или, пуще того, выбегаешь на улицу, размахивая лоскутом мануфактуры соответствующего случаю размера и расцветки во вкусу и сезону.

Политикой я не интересуюсь. Но что считать политикой? Если политика — это когда участковый рвется в твою квартиру с целью “проверки паспортного режима”, то не интересоваться этим довольно затруднительно. Если политика — это захват заложников, взрывы домов, бомбардировки городов и зачистки сел, то не замечать это — безусловный признак социального аутизма.

А если политика — это отчетный доклад генерального секретаря на очередном съезде, то нормальный человек хотя бы из чувства умственной гигиены плотно закроет глаза и уши. И если политика — это совокупность и взаимодействие разного рода шкурных интересов разного рода лиц, называемых политиками, то вот это, уж извините, к нормальному человеку отношения иметь не может.

Впрочем, не только слово “политика” требует разъяснений. Что подразумевается под понятием “нормальный человек”, тоже не вполне понятно. Всегда хочется думать, что это ты и такие, как ты. Такое определение в силу предельной субъективности довольно зыбко. Но другого-то все равно нет.



## Суверенная логика

**П**ри полном отсутствии у нынешнего режима какой-никакой идеологии, каких-никаких видов на хотя бы ближайшее будущее — кроме, конечно же, “стабильности” — главным риторическим приемом служит оксюморон. И чем причудливее и непонятнее для тех, кто привык различать за словами их значения, тем лучше. Сначала появилась “суверенная демократия” — зверь столь же экзотический и неподвластный пытливому уму, как и, например, “суверенный закон всемирного тяготения”. Слово-паразит “суверенный” стало

тем не менее резво порождающей моделью для возникновения других оксюморонных монстров. Таких, например, как “суверенная судебная система”, “суверенные права человека”, “суверенная свобода слова, печати и собраний”.

Пропагандистская риторика коммунистов была не менее лживой и лицемерной, чем нынешняя. Но она находилась в плену (на чем и погорела) не сильно научной, но хотя бы наукообразной терминологии, пафосом и вектором которой было все-таки будущее. Пусть утопически-туманное, пусть постепенно ставшее объектом анекдотов и частушек, но все же будущее. Нынешние, не имея за душой никакой идеи, кроме абстрактной идеи власти и конкретной идеи бабла, свою риторику направили в прошлое — двусмысленное, слабо отрефлексированное, наспех подвергнутое недорогому евроремонту.

Если понимать, что именно он, оксюморон, служит риторическим краеугольным камнем новой российской государственности, то на фоне свежавыкрашенного и заново покрытого китайским кафелем “славного прошлого”, светлые идеалы ко-

того “мы все стремимся возродить”, разговоры о “модернизации” вовсе не кажутся такими уж нелепыми. Почему бы и нет? В пределах суверенной логики возможно еще и не такое.

Теперь на арене бурной и бестолковой общественной жизни появилось и крикливо заявило о себе “суверенное православие”, где базовые христианские ценности, как это происходит и в прочих “суверенных” институтах, простым механическим движением переворачиваются с ног на голову, вроде как в песочных часах. И так же, как и в песочных часах, но не в метафорически-наглядном, а в самом буквальном смысле время начинает течь назад, в обратную сторону. В данном случае — в сторону раннего средневековья. И это еще в лучшем случае.

Совсем недавно публика была не на шутку огорошена неким документом, возникшим в недрах патриаршей канцелярии. Текст этого документа предписывалось огласить во всех приходах. Там, разумеется, говорилось о целенаправленной травле, каковой в последнее время подверглась православная церковь, ее святыни и ее пастыри.

В полном соответствии с риторической модой последнего времени причудливые оксюмороны обнаруживаются и там. Многих необычайно развеселил пассаж о “ложных ценностях агрессивного либерализма”. Знакомый художник рассказал мне, что теперь, знакомясь с кем-нибудь, он рекомендует себя как носителя ложных ценностей агрессивного либерализма.

Ну да. Все как всегда. И кто-то, как всегда, твердо знает, какие ценности истинные, а какие ложные. И правильно — не либералы же какие-нибудь. Не агрессивные же.

Не обошелся текст и без простеньких, но со вкусом доносительских обертонов и неизбежной в таких случаях апелляции к городовому: “Особенно заметными атаки стали в предвыборный и поствыборный период, что свидетельствует об их политической подоплеке, в том числе антироссийской”.

Ну конечно же, подоплека “антироссийская”, какая же еще! Не антикитайская же! Понятно же, что “тот, кто против меня, тот против России”. Это, кстати, явление уж точно не новое.

Нечто подобное я наблюдал еще очень давно, в самом начале 1980-х. Была, помню, в Манеже выставка Ильи Глазунова. Туда стояла огромная, надо сказать, очередь любителей такого искусства. Ну, тут сказать нечего: и искусство бывает разное, и разными бывают его любители. Все нормально. Но из этой вполне молчаливой толпы выделялся — я сам видел — весьма возбужденный человек условно молодых лет с клочковатой бородой и волосами, повязанными то ли пенькой, то ли лыком, но в любом случае чем-то необычайно “суверенным”. В руке он держал кусок все же не бересты, а самого космополитического ватмана с накарябанной на нем грозной, хотя и несколько аграмматичной надписью: “Кто протев Глазунова, тот протев России”. В наши дни это бы, видимо, назвали одиночным пикетом.

Непременное стремление обобщить и расширить в собственном сознании любой объект собственного поклонения или любования (тем более если таковым объектом являешься ты сам) до размеров огромной территории, где, как известно, много лесов и полей, не говоря уже о реках, озерах,

водохранилищах и прочих водоемах, есть родовая черта любого профессионального патриота-государственника.

Слово “Россия”, и так в силу нечеловеческой географии и плохо переваренной истории своего денотата не имеющее сколь-нибудь консенсусного значения, в наши дни, когда Россию тащат “вперед” и “назад” одновременно, и вовсе теряет семантические очертания.

А еще в последнее время часто говорят о “святынях” и их поругании. Уж не знаю, кто там что поругал, но хорошо известно, что официально-пропагандистское понятие “святыня” неоднократно меняло свои базовые значения, причем радикально. Когда-то коммунистический агитпроп объявлял святыней всего, конечно же, народа все, что было связано с именем и иконографией Великого Вождя, то есть В.И. Ленина. “Не трожь Ленина — это святое”, неоднократно слышал я в те годы. Сегодня более или менее те же самые дружно впали в казарменное благочестие.

И весь их “праведный гнев” — никакой это не праведный гнев, а самая что ни на есть симу-

ляция, причем неумелая. Это не гнев, это, извините, типичная блатная истерика — “век свободы не видать”.

Оскорбляются, говорите, чувства верующих? Причем всех? Ну, во-первых, когда припадочные мракобесы верещат об “оскорблении всех православных”, они самым вульгарным образом врут. Потому что я точно знаю, что далеко не все верующие разделяют их агрессивный нахрап. Да я просто лично знаю довольно много верующих, воспринимающих эту истерику, мягко говоря, с недоумением.

Чувства у верующих бывают разные, точно так же, как у неверующих. А то, что для иерархов, из-под ряс которых явственно проступают погоны, является подлинными святынями, ясно любому сколько-нибудь трезвому и наблюдательному человеку. Не храмы-новоделы и даже не имя и образ Спасителя святы для них, а скорее чужие квартиры и место поближе к земным владыкам. И это видно даже невооруженным глазом.

Во-вторых, в светском, а не в теократическом государстве (а мы все, если верить нашей консти-

туции, живем именно в таком) права неверующих должны быть столь же защищены, как и права верующих. Или кому-то кажется, что верующие у нас — это вроде как инвалиды, которых “каждый может обидеть”? Я так не думаю.

В-третьих, вне пределов гражданской критики не может быть ни один из общественных институтов, в том числе и церковь. И важно это понимать и относиться к этому совершенно спокойно и нормально. И важно понимать, что критика бывает прежде всего полезна критикуемому. И важно понимать: все то, что для одних является святынями, для других на полном основании может восприниматься как золоченые погремушки, то, что для одних икона, для других хорошая или плохая живопись, то, что для одних храм, для других византийская дискотека. И в этом нет ровным счетом ничего ни для кого оскорбительного.

Что со всем этим делать? А ничего. Во-первых, не давать вовлекать себя в бред, даже если он и массовый. Во-вторых, всегда помнить о том, что оксюморон хоть и сильный стилистический прием, но такими поэтическими словосочетаниями, как



“горячий снег”, “слепящая тьма”, “крещенский зной”, “суверенная демократия” или “агрессивный либерализм”, можно восхищаться лишь в том случае, если ты при этом твердо знаешь, что в реальной жизни ни того, ни другого, ни третьего не бывает.

## Папа или Сталин?

**Ч**то мы празднуем в этот день? Что отмечаем? Это только кажется, что ответ очевиден. Он не очевиден, потому что он у каждого свой. У каждого поколения, у каждой семьи, у каждого человека, привыкшего задаваться хоть какими-нибудь вопросами и пытаться более или менее связно отвечать на них.

Что мы празднуем? Победу?

Это победа чего над чем и кого над кем? Кто кого победил?

Это была победа гуманистической цивилизации над мракобесной языческой контррево-

люцией, грозившей поглотить все человечество? Это была победа свободы над рабством? Или это просто один из двух главных упырей, то есть, простите, один из двух наиболее успешных менеджеров двадцатого столетия, оказался успешнее другого, закопав своего дружка-супостата под грудами окровавленных тел собственных солдат?

Каждая новая генерация более или менее успешных менеджеров с разной степенью успешности узурпирует эту дату и в соответствии с текущим моментом всякий раз перезагружает ее наиболее комфортными для себя кодами, смыслами и значениями. Все эти менеджеры в порядке общей очереди позируют в роли победителей и триумфаторов.

Ну и бог с ними, это их проблемы. И пусть они устраивают свои военные парады, демонстрируя непонятно что непонятно кому и непонятно с какой целью. И пусть они снабжают вверенную им публику полосатыми ленточками — малозатратным эрзацем исторической памяти. Пусть все те, кто испытывает проблемы с собственной памятью, повязывают узелки на самые заметные места.

Историю, в том числе и историю самой чудовищной войны, можно рассматривать как историю сражений и дипломатических хитросплетений, историю неслыханных массовых истреблений, историю коллективного жертвенного благородства и не менее коллективной низости.

Но любая история — это всегда совокупность частных человеческих судеб, а другая история никому не нужна, тем более что она все равно никого ничему не учит. А потому я рискну предположить, что в ночь на 22 июня 1941 года в каких-то запретельных, недоступных моему пониманию сферах было принято решение о моем появлении на свет. Ибо ничем другим нельзя объяснить ту череду везений и счастливых исходов, каковые сопровождали все эти четыре года моих отца и мать. Особенно же — в первые дни.

Отец был призван в армию еще до войны, сразу же после института. Он был военный инженер. В каком звании, не помню, но точно помню, что войну он закончил капитаном. В начале 1941 года он был командирован в только что присоединенную Литву, куда они и поехали на житель-

ство с моей мамой и моим трехлетним старшим братом. Уже советскую, но еще довоенную Литву мама всегда вспоминала как за границу. И еще она вспоминала, что город Каунас в их среде с небезопасной по тем временам шутливостью называли тогда “Пока у нас”. Жили они, впрочем, не в Каунасе, а в маленьком городке километрах в тридцати от германской границы.

Уже много лет ведутся споры о том, знало ли советское командование о намерении немцев нарушить пакт. Готовилось ли высшее руководство само нарушить этот пакт. Готовилась ли армия к отражению вражеской атаки. Но то, что все знала и понимала моя не слишком политически искушенная мама, как, впрочем, и все прочие жители этого приграничного местечка, это точно. Да и как было не знать и не понимать, если с того берега реки репродуктор кричал голосом картавого переводчика: “Ждите! Мы скоро придем! Всем евреям и комиссарам капут!” Мама плакала. Партийный отец говорил: “Ты что, не понимаешь, что это провокация? Лучше вот газету прочти. Тут все написано”. Мама читала газету и все равно плакала.

Особенно же горько она плакала, когда 19 июня отец отправился в командировку в Ригу. Мама плакала, папа сердился.

Той самой ночью мама проснулась от мощного грохота, от звона разбиваемых окон. Она сразу все поняла. И сразу же приготовилась к гибели.

Почему мимо дома проехал грузовик, в котором находился папин сослуживец? Почему грузовик остановился? Почему этот сослуживец не забыл в суматохе постучаться в мамино окно? Она успела схватить спящего сына в одеяле, сумочку с документами и почему-то зимнее пальто, которое впоследствии было выменяно на что-то съедобное. Мама на всю жизнь запомнила глаза провожавшей ее квартирной хозяйки, еврейки.

В машине ехали жены и дети военных. Куда ехали, сами не понимали. Главное, чтобы на восток. В Вильнюсе по ним стреляли из окон. Минск горел. Бомбили каждые полчаса. Когда начинались бомбежки, выпрыгивали из кузова и ныряли в придорожные канавы. Мама закрывала собою маленького сына, моего брата. Он утверждает, что помнит эти бомбежки. Доехали тем не менее до самой Москвы.

Как доехали? Сколько времени ехали? Бог его знает. Но доехали.

Первые несколько месяцев войны, пока не была налажена фронтовая почта, мама была уверена, что отца нет в живых.

А отец? В ту же самую ночь в Риге отца вместе с другими военными погрузили на какое-то судно, и судно отплыло в сторону Ленинграда. Судно разбомбили. Совсем немногие, и в их числе не умеющий плавать отец, каким-то образом спаслись. Потом Ленинградский фронт. Потом осколочное ранение. Потом умирание от дистрофии. Не умер.

В 1943 году отец прислал с фронта фотографию, где он был снят в кителе и в только что введенных в армии офицерских погонах. Пятилетний брат страшно гордился этой фотографией и однажды в самом неподходящем для этого месте, а именно в очереди за хлебом, спросил у мамы: “А кто главнее — папа или Сталин?” “Это для кого как”, — при каких-нибудь других пространственно-временных обстоятельствах ответила бы мама, а в данной ситуации — преувеличенно громко сказала, что, разумеется, Сталин и не надо задавать идиотских вопросов.

Отец прошел всю войну и летом 1945 года оказался в Берлине, где участвовал в восстановлении подземных коммуникаций — такова была его гражданская профессия.

А первые несколько месяцев войны отец был уверен, что жены и сына нет в живых.

Все они оказались живы. Все они прошли через все и встретились уже в конце 1945 года. И все это для того, чтобы через полтора года появился на свет тот, кто пишет эти строки. И вопрос о том, кто главнее, папа или Сталин, для меня не стоит за очевидностью ответа.

Так что, конечно же, это мой праздник. И это, конечно же, моя война. А в другом случае разве могла бы эта не пережитая мною война сниться мне всю жизнь с таким мучительным постоянством?



## Слово на слово

**К**акие идеологии? Какая борьба идей, если речь идет о чем-то более существенном и глубинном — о языковой несовместимости? Это только кажется, что мы все говорим на одном языке — это иллюзия, которой тешат нас Ожегов с Розенталем. Она, эта самая несовместимость, всегда становилась наиболее наглядной на сломах эпох. Вот и в наше время она становится все более и более заметной.

Не знаю, кто как, но я ощущаю это даже на уровне интонаций и синтаксиса. Недавно я проходил мимо какой-то церкви, на дверях кото-

рой красовался небольшой плакат. Мне стало любопытно. На плакате славянской вязью (что вполне естественно) было написано: “При входе в храм отключите свои телефоны”. Вроде бы все понятно. Но что-то в этой словесной конструкции меня ца-рапнуло — долго не мог понять, что именно. Потом понял: порядок слов. В этом контексте, разумеется, следовало бы написать “отключите телефоны свои”. А вполне нормативные в ином контексте “свои телефоны” выглядели здесь как вычурная, режущая ухо инверсия.

Впрочем, синтаксис, не говоря уж об интонации, — дело тонкое и чрезвычайно индивидуальное. Самым ярким и наглядным образом языковая несовместимость являет себя на уровне ключевых слов. Ключевые слова и понятия ударяются друг о друга с диким кляцаньем и высеканием искр. Этот звон и скрежет можно назвать как угодно, но только не диалогом.

Есть люди, у которых при произнесении таких слов, как “держава”, “империя”, “геополитические интересы” или “великие духовные традиции”, начинают фосфоресцировать глаза и учащается пульс.

А от таких слов, как “мировой опыт”, “современный мир” или, не дай бог, “права личности”, их челюсти сводит судорогой, а руки сами собой сжимаются в кулаки. Есть люди, для которых некоторые имена прилагательные, означающие нечто вполне нейтральное, например всего лишь национальную принадлежность того или иного субъекта или объекта, не могут употребляться внеоценочно. Вот “русский богатырь”, например, существовать имеет право, а “русский фашист” — нет, ибо это уже, извините, “русофобия”. (Вот, кстати, еще одно ключевое слово, означающее в контексте данной риторики недостаточно восторженное отношение к тем или иным аспектам отечественной истории или современной жизни.) А для того, чтобы с ходу определить, какое из слов в таком, допустим, словосочетании, как “грузинские воры в законе”, является ключевым, повышенной пронизательности не требуется.

Еще есть такая штука, как “патриотизм”, означающая, как правило, приблизительно то, что навозную кучу посреди родного огорода предписано любить на разрыв аорты, в то время как клумба с георгинами во дворе соседа ничего, кроме гадли-

вого омерзения, вызывать не должна. Тест на подобный патриотизм выдерживают далеко не все, и тогда они переходят в разряд “руссофобов” или, пуще того, во “врагов нации” и наймитов зловерного Сороса — грозы полей и огородов.

Язык власти — тема отдельная. В советские годы власть говорила на агитпроповском воляпюке, а язык протеста и инакомыслия опирался на грамматику и лексику правозащитного движения. Сейчас все чуть ли не наоборот. Власть теперь “ботает по юридическо-экономической фене”, да так бегло, что и разобрать ничего не возможно. Впрочем, феня для того и существует. Включая на полную катушку кафкианскую крюкотворческую машину, движущуюся пусть и медленно, но в четко заданном направлении, власть пытается усыпить нас, парализовать волю к сопротивлению, и ей это, надо сказать, иногда удается. Кафка в очередной раз становится былью.

Но в последнее время власть, ощутив, что она тут “у себя дома”, постепенно перестает стесняться и начинает изъясняться в куда более комфортных для нее категориях “геополитических интересов”

и “врагов нации”. А еще им не дает покоя всяческое “величие”. Да только стоит ли так много говорить о “великой стране”, если ты и правда так уж уверен в ее величии? В дни киевского майдана, выступая на одном из митингов, Ющенко сказал что-то вроде того, что “Украина станет модной страной”. Это было неожиданно, и это мне понравилось. Это вам не какое-нибудь там архаическое “величие”, уместное лишь в стенах Оружейной палаты или в опере “Жизнь за царя”.

И вот что еще. Когда журналист в телевизоре говорит мне что-то вроде того, что “наша политика в Закавказье должна” или “мы не можем допустить, чтобы”, мне хочется сказать ему: “Слушай, дорогой. Кто это “мы”? Это ты вкупе с президентом, его администрацией, с его армией и тайной полицией? Так и говори. А я тебе не “мы”. У меня, знаешь ли, свои “мы”, и ты, во всяком случае, в их число неходишь”.

Четкое и ясное деление на “мы” и “они” существовало в советские годы. С этим мы жили, с этим и выжили. С этим, увы, снова начинаем жить и теперь.

И с этим вполне можно жить и дальше, если только признать со всей определенностью, что все мы просто говорим на разных языках. Что все мы включены в совершенно разные языковые конвенции, внутри каждой из которых существуют свои понятийные приоритеты и смысловые иерархии. Ну что ж, значит, все есть так, как оно есть. Так, видимо, и будет.

## Довольно простоты

“Э то американское телевидение. Есть минутка у вас?” — без всякого “здрасьте” протараторила румяная барышня, по облику, складу, полному отсутствию какого бы то ни было нерусского акцента и манере держаться никак не производившая заморского впечатления. В ее руке был огромный шерстяной микрофон, а в моей — набитый хлебом насущным рамсторовский пакет. Я только что вышел из магазина, а они тут как тут, бойкая барышня и двое дядек — один с камерой, второй просто так. Думаю, что который “просто так” был как раз американец.

— И чего оно хочет, это телевидение? — спросил я.

— Оно интересуется, что простые люди думают о миллионерах.

— О миллионерах? — переспросил я.

— Ну да, о богатых людях, — уточнила барышня, вспомнившая, что имеет дело с простым все-таки человеком.

— За всех людей — хоть простых, хоть сложных — ответить никак не возьмусь, — сказал я, глядя в камеру. — Но от своего имени могу сказать, что лично мне миллионеры жить не мешают. Более того, я уверен, что чем их будет в стране больше, тем это будет лучше для страны, а стало быть, и для меня. Но, повторю, мое мнение едва ли репрезентативно.

Барышня торопливо сказала спасибо и, потеряв ко мне всяческий профессиональный интерес, не говоря уже о каком-либо еще, ринулась к следующему простому человеку. На этот раз простым человеком оказалась тетка со строгим лицом. Удаляясь от них в сторону дома, я успел расслышать только несколько выдернутых из контекста слов, из которых “паразиты”, “жулье” и “пересагать” показались мне наиболее телегеничными.



Я порадовался за американское телевидение, которому я, к счастью, не сумел испортить праздник творческого общения с “простыми людьми”. Они все-таки слышали то, на что рассчитывали. Меня с моими тривиальными речами, думаю, не покажут. А жаль — мне кажется, что в новой куртке и затейливо повязанном шарфе я выглядел неплохо.

Этот сам по себе малоинтересный эпизод заставил меня задуматься. Нет, не о миллионерах, а скорее о феномене “простоты”. Что эта телебарышня обратилась ко мне как к “простому человеку” вовсе не потому, что у меня такое несложное выражение лица, а потому лишь, что я шел пешком и имел в руке пакет с продуктами, — это как раз слишком понятно. Человек, влезающий с тремя такими же пакетами в черный “Мерседес”, вряд ли был бы для нее “простым”. Это все понятно и неинтересно.

Интересна другая “простота”. Та глубинная, нутряная простота, которую холит, лелеет и подкармливает всяческая власть, держа ее, эту простоту, на поводке — то длинном, то коротком в зависи-

мости от политического момента. А без повода никак — без повода эта простота способна смести все, что сложнее ее, включая саму власть.

У советской власти все было простым, кроме нее самой. И Ильич у них был “прост как правда”. И “простой советский человек” ходил у них и в субъектах, и в объектах истории. И “простая русская баба” в исполнении орденоносной Марецкой стояла на трибуне высокого собрания, являя собою яркий, но малодостижимый образец. К семидесятым годам понятийное пространство опростилось уже настолько, что наряду с простыми колхозниками и простыми рабочими появились некогда сложные, а ныне тоже вполне простые инженеры, простые врачи и простые — не путать с заслуженными — артисты.

Простота соблазнительна. Простота неуязвима. Ее слабость и ее сила в цельности, монолитности, нерасчленимости. Любая попытка внести в эту, так сказать, систему элемент анализа немедленно разрушает до основания всю систему. Но логика в этих случаях обнаруживает свое полное бессилие, ибо на вопрос “почему?” не может быть

другого ответа, кроме “а вот потому”. Карманный калькулятор, например, вещь более сложно устроенная, чем, скажем, кирпич. Но чтобы предсказать, какому из этих достижений человеческого разума обеспечена победа в случае их физического столкновения, особого провидческого дара не требуется.

Простота монохромна, простота монологична. Как человеку, живущему в цветном мире, разговаривать с тем, кто живет в черно-белом? На каком языке? В каких категориях?

Путь простоты — это путь в пустоту, в изначальное ничто. Вот и между богучаровскими мужиками из “Войны и мира” “всегда ходили какие-нибудь неясные толки — то о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят... то об имеющем через семь лет воцариться Петре Феодоровиче, при котором все будет вольно и так будет просто, что ничего не будет”.

Ничего не будет, пока простота в лице ее вечных носителей будет вслушиваться в пресловутый “голос крови” — самый дремучий из голосов, прячущихся в каждом из нас, хотя и на разной глубине залегания. В современном, то есть сложном, мире

кровь уже давно и, надеюсь, безвозвратно лишена права голоса, став исключительно медицинским фактором. Но “голос крови” соблазнителен, потому что прост. Не слушайте его, этот голос. Ничего хорошего он вам не нашепчет. Ничего он вам не подскажет, кроме обид, кухонной брани, поножовщины, депортаций, террористических актов, зачисток и спецопераций по поддержанию конституционного порядка с применением ковровых бомбардировок.

Не надо слушать “голос крови”. Ничего вы там не услышите, кроме властного призыва пролить чужую кровь. И свою, кстати, тоже.

Часто путают такие понятия, как “простота” и “ясность”. Точно так же, как путают сложность и запутанность, как путают многозначность и многозначительность.

О святой простоте тоскуют иногда вполне сложные натуры, риторически мечтающие “впасть, как в ересь, в неслыханную простоту”. Некоторым, увы, удается.

Простота не выносит сложности, как крот — дневного света. Сложность для нее — хаос и бес-

порядок. Помните, как ворчал чеховский Фирс: “Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего”.

Простота не выносит разнообразия, поэтому норовит решить все проклятые вопросы простым делением человечества на две категории. На своих и чужих. На китайцев и некитайцев. На автомобилистов и пешеходов. На пацанов и лохов. На штатских и военных...

Помню, как соседка Ольга Васильевна, угощая меня, восьмилетнего, чаем, укоризненно приговаривала: “Что ж ты хлюпаешь-то прямо как математик?” “А математики, что ли, хлюпают всегда?” — доверчиво спрашивал я. “Еще как! — убежденно говорила Ольга Васильевна. — Знала я одного”. И глаза ее туманились. Со временем и я познакомился с математиками. Сначала с одним, потом с другим, потом с третьим и четвертым. Один из них, кстати, действительно ужасно хлюпал чаем и супом.

Один остроумный человек сказал, что все люди делятся на две категории — на тех, кто делит людей на две категории, и тех, кто этого не делает. Хорошо, по-моему.

А еще, по мнению многих, русская действительность сводима к двум фундаментальным элементам, объединенным в диалектическое единство известной народной поговоркой про простоту и воровство. А потому вопрос о том, что из них хуже, есть вечный русский вопрос. Заметим: не что лучше, а что хуже. И потому, видимо, кому-то кажется столь важным и значительным отношение “простых людей” к миллионерам. И наоборот.

## Гордость с нагрузкой

“Сняла решительно пиджак наброшенный. Казаться гордою хватило сил”. Это было более или менее понятно: девичья гордость, не давай поцелуя без любви и вообще лирика. “С законной гордостью отрапортовал рабочий коллектив Захоперского снегоперерабатывающего комбината им. Внеочередного съезда о досрочном выполнении производственного плана за пятый квартал шестого года седьмой пятилетки”. Это было уже чуть менее понятно, но зато привычно, вроде как лицо диктора Кириллова или очередь за печальными фрагмен-

тами коровьего скелета. И в общем-то тоже своего рода лирика.

Когда человек гордится дочкой, занявшей первое место на конкурсе юных музыкантов, это совсем понятно: в этой победе обнаруживаются следы его собственных душевных инвестиций. Если человек говорит: “Я горжусь своей дружбой с *N.*”, это тоже понять можно: если такой достойнейший человек, как *N.*, дарит тебя своей дружбой, значит, в тебе что-то есть.

Но та гордость, объектами которой служат вещи, никаким образом не тронутые нашим личным усилием или хотя бы участием, в моем представлении входит в круг явлений безусловно иррациональных. Особенно в этом смысле причудливыми, хотя и самыми заметными на поверхности бурной общественной жизни, мне кажутся два типа гордости — гордость “государственная” и гордость “национальная”. Впрочем, это явления одного порядка. Странно это или не странно, но явления эти существуют, и не считаться с ними нельзя. Мало ли еще существует странных явлений в природе, а также в мире людей и вещей.



Можно, конечно, сказать, что чем, мол, ты гордишься — ты-то, мол, тут при чем! Смирись, мол, гордый человек. А что толку?

Так или иначе, но если непременно хочется гордиться, то для равновесия научись тогда и стыдиться. Лишь стыд может хоть как-то притормозить разрушительный потенциал безудержной гордости.

Хочешь гордиться Толстым и Достоевским, Менделеевым и Чайковским, победой над немецким фашизмом, Королевым и Гагариным? Гордись, если нейма. Но тогда изволь устыдиться разделов Польши, красного террора, Ленина-Сталина, раскулачивания, ГУЛАГа, пакта Молотова — Риббентропа, Катыни, Берлинской стены, подавления Пражской весны, зачисток чеченских сел, чекистского крюка и неиссякаемого потока вранья, которым тебя же неустанно кормит твое же родное государство.

А-а-а! Это все не ты, это другие? Ты к этому отношения не имеешь? А к “Войне и миру” ты имеешь отношение? А подо Ржевом ты был убит? А на околоземной орбите как тебе было, ничего? Скафандр не жал?

Если ты такой уж прямо, допустим, русский, что русее не бывает, и если тебе хоть убей приспичило изо всех сил гордиться дедами-победами да отцами-молодцами, то постыдись уж заодно и погромов, и мужика, своим бранным телом перегородившего выход из электрички, и гопника, на всех углах орущего: “Россия для русских”.

Если ты такой уж, допустим, еврей еврейч и тебя распирает от гордости за Альберта Эйнштейна, Кафку и Иегуди Менухина, то устыдись в таком случае железного наркома Лазаря Кагановича и зубного техника Зямы, приворовывающего казенное золотишко и презирающего “этих гоев”. Если тебе приспичило считать нобелевских лауреатов “из наших”, то считай уж до кучи и комиссаров в пыльных шлемах, пламенно руководивших доблестными продотрядами. Сам, сам считай, не доверяй это дело нацистам.

Не хочешь стыдиться того, к чему сам не был причастен? Понимаю. Так и не гордись тогда.

Знаю, что призывы мои тщетны. Знаю, что чем больше у человека потребность в метафизической гордости, тем меньше ему охота чего-то стыдиться.

А поэтому все время выходит так, что гордятся одни, а стыдятся другие.

Оно и понятно: для того чтобы уметь четко отделять объекты гордости от объектов стыда, требуется постоянная и очень напряженная работа ума, сердца, опыта, интуиции. Ибо это и есть работа по различению добра и зла.

Гордость и сама по себе относится к числу смертных грехов. Гордость, не уравновешенная стыдом, — грех двойной. Ибо в таком случае страсть эта приводит тебя к тому, что ты начинаешь гордиться как раз тем, чего следует стыдиться.

Да, существуют люди, которые без “чувства законной гордости” как без пряников. А поэтому чем меньше становится содержательно обеспеченных объектов гордости, тем более остервенелый характер носит охота за ними.

Догордиться таким образом можно и до мышей. Что, впрочем, повсеместно и происходит. Неугомонные, обуянные неутолимой страстью “гордецы” хватаются за все подряд — за шустрого попрыгунчика всея Руси Диму Билана, за без пяти минут финал футбольного чемпионата, за танко-

вый турпоход по холмам Грузии, за счастливую, будящую патриотические восторги возможность прикрутить газовый крантик надменному соседу, за нечаянную радость стать благоговейными зрителями великого таинства — священного распила олимпийских бюджетов.

Лет пять назад я побывал в Челябинске, где провел пару дней. В один из них мне устроили маленькую автомобильную экскурсию по окрестностям города. Была жутко снежная зима, поэтому природные красоты оказались не слишком доступными моему взору. Некоторую визуальную недостаточность как умел компенсировал любезный и словоохотливый водитель, увлеченно рассказывавший, сколько грибов, ягод и рыбы здесь будет летом. Он же поведал мне и про страшную техногенную катастрофу, случившуюся в этих краях сколько-то лет назад.

Когда же мы проезжали мимо какой-то ничем особенным не выделявшейся местности, его голос сделался вдруг заметно звонче, а в интонациях послышалась отчетливая региональная гордость. “Между прочим, — сказал он, — вот это место, ко-

торое мы сейчас проезжаем, по данным ООН считается самым загрязненным в мире”.

“Оу!” — на манер вежливого иностранца из советской кинокомедии произнес я и со всей деликатностью, на какую хватило моих способностей, попросил его прибавить скорость.

## Утерянный рай

**Д**важды в течение одного дня я оказался втянутым в историко-политические дискуссии. Тема была одна и та же, и формулируется она приблизительно так: “Какую страну развалили, суки!” Под страной подразумевался СССР. Под суками — не вполне понятно кто, хотя более или менее понятно.

Оба докладчика — водители-бомбилы. Первый был наружности, как принято теперь выражаться в милицейских сводках, вполне славянской. Лет он был сорока с чем-то. Из особенностей его коммуникативного поведения, где добродушие ор-

ганично сочеталось с хамоватостью, можно было предположить, что он, видимо, москвич. Он москвичом и оказался. Начал он с места в карьер: “Вот говорят: коммунисты то, коммунисты се. А чего коммунисты? Такую страну построили. А эти пидоры только все развалили да разворовали. Щас уже никто не помнит ничего, как жили. Вот языком и мелют. А я помню. Отлично жили. Дружно”. Я попытался вставить что-то вроде того, что я тоже, в общем-то, кое-что помню, хотя мои воспоминания и не совсем совпадают с его. “Да ничего ты не помнишь! — с внутренней готовностью он перешел на ты. — А я помню! Я знаешь как жил? Горя не знал. Все было. Два раза в год в Кисловодск ездил. Тесть мой, между прочим, овощной базой заведовал. Ты знаешь, что это такое было?” Я знал. “А у меня Валера еще был, учились вместе, так тот вообще мясником работал в “Смоленском”. Знаешь “Смоленский”? Не знаешь — не говори”.

Почему не знаю — знаю. И помню, хорошо помню и этот “Смоленский” гастроном, и этих самых валер-мясников. Их гладко оструганные хари, оскорбительные уже самим фактом своего

существования, до сих пор снятся мне иногда по ночам. И еще я помню, как одна интеллигентная дама, кандидат искусствоведения, в панике рассказывала своим друзьям, что вот, грядет юбилей ее мужа, а гостей кормить нечем. “Нету же ничего в магазинах”, — с отчаянием в голосе говорила она. Кто-то дал ей дельный совет: “А ты подойди к мяснику в гастрономе и поговори с ним доверительно, как ты умеешь. И вообще — ты же красавица. Просто подойди, улыбнись и скажи: “Сделайте мне кусок хорошей говядины”. Он и растает”. Делать нечего, надо попробовать. Отстояв некоторую очередь к прилавку, усеянному мертвыми костями, она (ой, только бы не забыть волшебного слова “сделайте”) обратилась к продавцу самым заветным своим полусшепотом. “Молодой человек, — томно сказала она, поправляя очки, — не сможете ли вы сделать мне кусок приличного мяса?” Мясник, вопреки прогнозам, вовсе не растаял. Напротив того, он громко, так, чтобы слышала вся очередь, отдельно и внятно произнес: “Лапуль! Сделать я могу тебе либо мальчика, либо девочку. А мясо все на прилавке. Ты же не слепая”.



Всего этого я водителю рассказывать не стал, и, думаю, правильно сделал. Память у каждого своя, и у каждого свой СССР.

Соскочив с темы потерянного рая, водитель стал бранить приезжих. Особенно, понятное дело, досталось кавказцам. Будучи человеком довольно нехитрого умственного устройства и, скажем так, немечтательного душевного склада, он не особенно скрывал чисто марксистских, то есть откровенно шкурных, мотивов как своей горячечной любви к порушенной державе, так и неприязни к южным пришельцам. Главные его претензии к кавказским переселенцам сводились к тому, что они тоже, как и он, активно занимаются извозом, но при этом, гады, сбивают цены. “Я тут, москвич, корячусь как бобик, а он тут с горы спустился — и вперед! Выслать всех на хер, как при Сталине”. Дискуссия прервалась — мы приехали.

В тот же день мне пришлось еще раз поймать машину. В этот раз водитель оказался как раз кавказцем. И, как нарочно, ничуть не меньшим обожателем бывшего советского космоса, чем его столичный коллега. По-русски он изъяснялся без

излишнего академизма. Судя по тому, с какой частотой в его не чересчур связной речи возникали те или иные вводные конструкции, русский язык он постигал не в классической гимназии, а скорее в Советской армии и на бесконечных трассах необъятной империи, кончину которой он оплакивал с истинно восточной страстью. Чаще всего, то есть буквально через слово, в его речах звучало то, что на интернет-жаргоне обрело емкую форму “нах”.

“Какая, нах, страна была, слушай! Все братья, нах, были”. “Слышал бы ты предыдущего оратора”, — думал я, а он продолжал: “Я дальнобойщик, нах, был. Весь, нах, Союз объехал. Везде друзья, нах. Мое, твое — неважно, понимаешь? Зачем, скажи! Что мешало! Э!” Под его кипучее чревоуверование я стал немножко задремывать и не уловил того момента, когда он перешел к другой теме — теме падения нравов. “А теперь, нах, разврат и бляди одни! Раньше разве было, э? Я, нах, в булочную пришел хлеб купить — кушать хотел. А там гондоны, нах, продают”. Внезапность, с которой слово-паразит вернуло себе безвозвратно, казалось бы, утерянную исконную и весомую се-

мантику, заставила меня вздрогнуть. Иллюзорная цельность мироздания, тоска по которой принимает иногда самые причудливые формы, например форму мучительной любви к нелепому и громоздкому государству, обрела вдруг кое-какие очертания в пространстве языка — единственном пространстве, реальность которого не подлежит сомнению. И что тут возразишь?

## Да, вольность

**К**огда я начинаю писать текст, я по привычке вижу перед собой лицо адресата. Для меня важно знать, кому именно я говорю то, что я говорю.

Сейчас я не очень знаю, к кому я обращаюсь. Во всяком случае, не к тем, кто думает примерно так же, как и я, хотя и говорит об этом другими словами.

И уж точно не к своре окончательно одичавших дворняжек, унаследовавших от своих предков — лагерных псов — всего один рефлекс: ки-

даться на любого, услышав лишь короткое слово “чужой”.

И уж конечно же, не к бесноватым и хитрожопым шаманам, отлично понимающим, что верховодить своим стадом они могут, лишь поддерживая в нем огонь перманентной злобы. Я говорю о том самом стаде, которое в двадцатые-тридцатые годы под предводительством других шаманов — “с Лениным в башке, с наганом в руке” — с гиканьем и уханьем срывало с церквей кресты, жгло в печках иконы и таскало священников за бороды.

Чуть позже это же стадо, обвязавшись красными повязками, прессовало людей в узких брюках, коротких юбках и с волосами до плеч, яростно борясь за “моральный облик советской молодежи” и оберегая ее от “тлетворного влияния”. Оно же в дни религиозных праздников устраивало около церквей свои кошачьи концерты, мешая верующим входить в храмы. Оно, это стадо, вечно и неистребимо, как бы ни меняло оно в соответствии с очередным текущим моментом свои погоняла.

Сейчас оно именуется себя “православной общественностью” и, что самое ужасное, говорит и дей-

ствуется от имени настоящих православных. Активность этого стада зависит лишь от того, сколько им дано воли. А воля им дается только сверху. Именно “сверху”, а не “свыше” — дьявольская, во всех смыслах этого слова, разница. Теперь их, судя по всему, надежно прикрывает и крышует один реальный пацан, которого, конечно же, поддержали они, а он — чисто по понятиям — своих не сдает.

И наверное, не к тем, увы, значительным процентам социологически опрошиваемых, кто на уровне рефлексов всегда согласен кого-нибудь засудить и засадить, столь удивительным образом облегчая и смягчая свои собственные невзгоды, неудачи и вечные унижения.

Я не знаю, для кого я сейчас приведу одну очень важную и точную цитату. Это из статьи замечательного поэта и литературоведа Льва Лосева, посвященной творчеству другого замечательного литератора — Юза Алешковского. Вот она: “Если правило веры не прочувствовано в живом опыте, а применяется априорно, оно есть суеверие. Значение любых, без исключения, слов контекстуально. В трогательной старинной легенде статуя

Богородицы улыбнулась бродячему клоуну, который по незнанию молитв от души пожонглировал перед Ней. Можно представить себе и продолжение легенды — набежали ханжи, завизжали: “Перед святыней какие-то палки кидать в воздух — на костер поганца!”

К этому исчерпывающему отрывку добавлю лишь, что сакральные тексты всегда многозначны и внутренне противоречивы. Потому они и живут столь долго, что служат объектами неуголимого толкования, комментирования и опровержения. Но получается всегда как-то так, что применение этих текстов на живой практике зависит от того, в каких чинах их интерпретаторы.

И не знаю, имеет ли смысл обращаться к томным эстетам, совершенно некстати затеявшим споры о том, хороша ли акция *Pussy Riot* с эстетической точки зрения. Ну понятно: “Певца Н. избили в метро? Нехорошо, конечно. Но певец он, прямо скажем, так себе”. “Журналиста П. убили в подъезде собственного дома? Как же, помню такого журналиста. Писал длинно, скучно и довольно глуповато”.

Спор о том, хороша или плоха акция, — очень интересный спор. Об эстетических и моральных аспектах этого события можно говорить много, разнообразно и заинтересованно. Я и сам с готовностью поучаствовал бы в этом разговоре, потому что и мне есть что сказать. Но разговор этот станет возможным лишь в одном случае — когда девочек выпустят на свободу. А пока можно констатировать лишь одно: получилось так, что им каким-то образом удалось ткнуть палкой даже не в муравейник — в осиное гнездо. Прямое попадание в болевые точки общественной жизни — одна из фундаментальных задач искусства. И с этой задачей девочки справились.

Главная и вечная проблема, постоянно возникающая между искусством и косной, то есть большей, частью общества, в неспособности понять, чем условность отличается от реальности, чем означающее отличается от означаемого и чем переносные значения слов, понятий и символов отличаются от прямых. Такая неспособность неизбежно порождает неконтролируемую агрессию. И это яв-



ление, мягко говоря, не новое. Важно лишь знать из исторического опыта, что искусство рано или поздно неизбежно побеждает.

## Бабушкины сказки

**Н**у да, согласен, все давно ясно и понятно. Давно ясно и понятно, что большинство социальных и экзистенциальных драм и трагедий так или иначе связаны с темным ужасом перед “другим”. Давно ясно, что мучительное преодоление этого ужаса, принимающего самые разнообразные обличья — от стремления спрятаться в глубокую нору до стремления убить и захватить, — это и есть человеческая история, история взросления человека и человечества. Ясно ведь, что ксе-

нофобия — “давно разоблаченная морока” для всех тех, кто принадлежит к современному миру не на уровне умения нажимать на клавиши компьютера, а на уровне способности устанавливать причинно-следственные связи между бытовыми, социальными, культурными и какими еще угодно явлениями.

Давно известно, что боязнь “чужого” свойственна в основном носителям архаического, традиционного, сельского сознания. В нашей стране городская культура сложилась по сравнению с Западом недавно, а потому многие российские горожане психологически остаются деревенскими жителями. Отсюда бесконечные ребячьи драки моего детства по территориальному принципу, отсюда же нынешняя неприязнь к восточным торговцам арбузами и хурмой. Такие проявления ксенофобии легко объяснимы, а потому преодолимы в исторической перспективе — все-таки город в его европейском понимании все равно рано или поздно победит деревню.

А есть еще род ксенофобии не просто крестьянского, а конкретно холопского происхо-

ждения — и с этим дело обстоит куда хуже. Это если и лечится, то с очень большим трудом. Особенно если у “лекарей” нет никакого желания никого ни от чего лечить. Более того, налицо вполне отчетливая тенденция считать эту болезнь здоровьем.

Неохолоп с равной непринужденностью готов и унижить, и быть униженным. Он презрительно относится ко всем, кто на него не похож, особенно если этот непохожий менее его социально защищен. Он любит бить лежачего. Он презирает свободу и людей, полагающих свободу базовой ценностью. Презирая цивилизованный мир за то, что он состоит “из одних лохов”, он не прочь попользоваться его плодами. Всяческую вежливость, готовность признать право другого на отличное от твоего мнение, готовность поблагодарить и извиниться он полагает признаком социальной подчиненности. А уважение у него может вызвать только “крутизна”.

Он готов рвать на себе рубаху, защищая право своего барина казнить и миловать, но никогда за своего барина не пойдет не только на смерть,

но даже на мордобой. По крайней мере в одиночку. Он — абсолютное порождение советского инкубатора, но любит считать нерусские фамилии в списке тех, кто этот самый инкубатор для него соорудил. Это тоже понятно: его духовные предки, так же как и он, предпочитали, чтобы их драл на конюшне не какой-нибудь басурман, не немец-управляющий, а свой, родной, местный — с государствообразующей фамилией и мягким славянским обликом.

Число “чужих” все множится. В наши дни “чужими” объявляются, как правило, все те, кто злостно и, разумеется, по наущению внешних врагов нашей нерушимой государственности норовит поставить зеркало перед властью и обществом.

Можно счесть, что ксенофобия во всех ее проявлениях есть неотъемлемое свойство исключительно дурных, тупых, недобрых или богом обиженных людей. Это соблазнительно, но это не всегда так. Все сложнее, а потому и печальнее. Все сложнее, а потому и не кажется безнадежным. И вообще, теории теориями, а истина, как известно, конкретна.

Вот напоследок два как бы симметричных сюжета, героинями которых являются соответственно обе моих бабушки.

Одна из них, мамина мама, весьма малообразованная, очень набожная, очень тихая и очень добрая женщина, была, представьте себе, русофобкой. Не в том смысле, в каком это слово принято употреблять в наши дни. В наши-то дни слово “русофобия” применяется в основном по отношению к тем, кто испытывает в той или иной степени неприязнь или недоверие к тем или иным властным учреждениям, например к тайной полиции, каковая — в представлении самих деятелей этого славного учреждения — есть соль, душа и мозг великого и многострадального русского народа.

Но бабушка моя была русофобкой в самом буквальном смысле этого слова — она боялась русских. Человек своего времени и своей местечковой среды, она не умела отличать русских от русских. “Русскими” в ее представлении были те, кто раза четыре на протяжении десяти лет врывался в ее дом и в дома ее соседей, выносил стулья, чашки и деньги и требовал благодарности за то,

что никого не убили. Тут не убили, там убили — всякое бывает. Погром — это вам таки погром, а не свадьба. Ничего не поделаешь.

Так что бабушка, будучи, повторяю, человеком редкой доброты, деликатности и отзывчивости, боялась русских. Боялась тайно, скрытно, ничего никогда и никому не говоря на эту тему. Но было понятно: она боится. Всех. Включая моих дворовых друзей и одноклассников, с утра до вечера болтавшихся в нашем доме. Включая соседей. Соседи были разные. Некоторых из них смело можно было бояться.

Среди соседей была немолодая бездетная пара. Помню их фамилию — Фомины. Сергей Александрович был отставной летчик. Он очень много возился со мной, учил отличать бомбардировщик от истребителя и заставлял по утрам обливаться холодной водой и обтираться мохнатым полотенцем. Он был весельчак и анекдотчик. Елена Илларионовна была просто очень хорошим человеком, умевшим к тому же изготавливать столь волшебных свойств “наполеон”, что вкус его я помню до сих пор.

С этим семейством у моей бабушки установился особый душевный контакт. Она любила их почти так же, как свою многочисленную “мишпуху”. Она делилась с Еленой Илларионовной заветным рецептом форшмака. А ведь и не каждому еврею бабушка поведала бы эту тайну.

И многие годы ее мучило сомнение: нет, не может быть, чтобы такие прекрасные люди были русскими. Поэтому время от времени она осторожно расспрашивала то его, то ее на предмет тайны их истинного происхождения. “Берта Борисовна, — смеялась всякий раз Елена Илларионовна, — ну честное слово, я не еврейка. Я бы не стала скрывать, я ведь ничего в этом дурного не вижу. Есть повсюду хорошие и плохие люди, вы согласны?” Бабушка вроде бы соглашалась, она говорила “ну конечно”, но при этом многозначительно вздыхала, что означало: “Ну хорошо, не хотите говорить — не надо”.

Вторая моя бабушка при эвакуации попала в небольшое село в Западной Сибири. Там она сняла угол в избе простой, работающей, но очень бедной семьи. Приняли ее вполне сердечно и вскоре стали



воспринимать ее — легкую, отзывчивую и хозяйственную — как члена семьи. По вечерам семейство усаживалось за бедный, но вкусный ужин. Хозяева принимали по паре стаканчиков самогона, и начинался неторопливый разговор. Про войну, про хозяйство, про паразитов-партийных, про колхоз, будь он неладен. Бабушку не опасались, считали своей.

Рано или поздно разговор сворачивал в сторону евреев, каковых в этом селе сроду никто не видел. “Еврейями” в этих разговорах были некие мифические существа, наделенные полным набором inferнальных свойств. Этот самый “еврей” запросто мог, на манер лешего, навсегда утащить тебя в лес, а мог, как русалка, и защекотать тебя до смерти. На многое был способен еврей. Не убежишь — беда.

Однажды бабушка, в основном молчавшая, решила встрять в разговор. Она сказала: “Нюра, вот вы тут все говорите про евреев. А ведь я, между прочим, тоже еврейка”. Судя по всему, лучшей шутки хозяева прежде не слышали никогда, поэтому от дружного хохота долго не могли про-

изнести ни слова, а только безвольно махали руками. Первой отсмеялась Нюра и, вытирая слезы, сказала: “Ой, не могу! Сама себя еврейкой назвала. Мосевна, ты что ж такое говоришь! Ты ж хороша баба, хоть и городска! Кака ж ты еврейка-то! Ну на-смешила! Я прям чуть не обоссалась!”

## Превратности любви

**Э**то история почти такая же старая, как история вообще. Согласно распространенному мнению, критически мыслящая интеллигенция возникла как следствие перепроизводства образованных людей. Люди, не вписавшиеся в институты власти, становились критиками этих институтов. Но от власти они не дистанцировались. Ненависть и любовь перетекали одна в другую, образуя какую-то ленту Мебиуса. Даже и наше все, даже Пушкин, декларативно отказывавшийся “зависеть от царя, зависеть от народа”,

не умел последовательно соответствовать собственному манифесту.

Существует миф о русском дворянстве как о носителе определенных ценностей, главной из которых является честь. Миф — он и есть миф. А реальность заключается в том, что существует особый род подлости, именно дворянской, придворной подлости. Все это описано русской литературой, и незачем повторяться. Близость к власти во что бы то ни стало требует нравственных жертв, и они приносятся, причем с чистопородной элегантностью. Близость к власти есть абсолютная самоцель, а формулой “власть отвратительна, как руки брадобрея” пусть утираются ущербные неудачники. Слово “порода” не всегда окрашено в безусловно позитивные тона. Мы ведь видим и сегодня эту “породу”, этих несомненно ярких и разнообразно одаренных отпрысков старинных родов, трепетно относящихся к своим родословным, с фатальной неизбежностью и с непоколебимой уверенностью в своих правах воспроизводящих подлость своих предков. Они, как и их предки, не мыслят своего существования вне близости

к власти. Однажды я слушал по радио интервью Михалкова-старшего. В числе прочего он говорил о том, что прожил счастливую жизнь, ибо никогда и ни при каких обстоятельствах не говорил того, чего не думал. И представьте себе, я ему поверил. Он именно всегда, всякий раз думал именно то, что говорил. Такие понятия, как беспринципность или, скажем, цинизм, просто из какого-то другого словаря. Они ничем не могут помочь в осмыслении этого причудливого феномена. Если скажешь, что, может быть, не очень красиво получается, когда один и тот же автор три раза переписывает слова государственного гимна, тебя просто не поймут, а если поймут, то поймут как завистника и неудачника. Их всех — старых гимнописцев, стареющих кинорежиссеров, одаренных злословных писательниц — объединяет одно: завещанное предками влечение к власти. Ибо успех и власть — это одно и то же.

Впрочем, “дворянский этап” постепенно сходит на нет. Скукоживается на глазах и “разночинский”, шестидесятнический этап. К власти жмутся новые ребята, не отягченные не только дворян-

скими, но и советскими комплексами. Страна совсем другая, они совсем другие. Власть тоже совсем другая, но она власть, и это главное.

Мы наблюдаем расцвет определенной моды, моды на лояльность. И дело вовсе не только в развеселой семейке спичрайтеров, политтехнологов да раскрутчиков всех мастей. Это работа такая. “Быть в оппозиции пошло” — вот что сказал мне недавно один знакомый газетный писатель в ответ на мое осторожное недоумение по поводу его, на мой взгляд, уж слишком безудержного рвения в оценках исторических свершений законно избранного президента. Я не нашел что ответить. Выходит, что это не проблема этики, а проблема эстетики. Проблема моды. Было вот модно критиковать и зубоскалить. Теперь модно лизать и подмахивать.

Впрочем, неправильным было бы стричь всех под одну гребенку.

Неправильным было бы успокоиться на том, что “от них, сук продажных, чего и ждать?”. Неправильно. Слишком просто и слишком самоуспокоительно. Я даже верю в возможность искренней страсти по отношению к государству. Я даже по-

нимаю, что “обаяние власти” — это не пустой звук, не прикрытие шкурных интересов. Я даже понимаю, что для кого-то это лишь азартная постмодернистская игра, игра в цинизм, игра в неразличение добра и зла, верха и низа, игра в нарушение границ и дистанций. Я даже понимаю, что в интеллигентской, особенно артистической и журналистской, среде весьма распространены трепетные, женственные натуры, влюбчивые до невозможности. Я, как и многие, не могу забыть, как один жесткий и бескомпромиссный телеведущий брал интервью у вновь избранного второго российского президента. Я помню его глаза, глаза влюбленной в учителя физкультуры девятиклассницы, не умеющей превозмочь своего горячего обожания. Я не мог не верить в искренность его чувств. Впрочем, последующая стремительная эволюция телеведущего заметно поколебала мою веру в чистую, целомудренную любовь.

Ну и мода опять же. Мода на политический и эстетический консерватизм, на просвещенную ксенофобию, на рассуждения о национальных интересах, на “позитивность”. Тут совпадение многих,

впрочем, связанных друг с другом обстоятельств. И невнятная генетическая тоска по “порушенным традиционным ценностям”. И неосознанная для одних и вполне даже осознанная для других ностальгия по советским культурным колхозам — творческим союзам, где многим, вроде как горьковскому ужу, было некогда “тепло и сыро”. И влияние общемировых неоконсервативных тенденций.

Из политической и общественной жизни ушло время артистов. Пришло время пыльной скуки, бумажного шелеста, коридорного шепотка, мимолетного переглядывания, многозначительного покашливания, молчаливого тыканья пальцем в потолок.

Время, рекрутировавшее тот тип искусства и тот тип журналистики, какие сложились к сегодняшнему дню, увы, подходит к концу. Пришло время бархатной реставрации, время бесшумной фундаментализации всех сфер общественной и культурной жизни. Сама идея культурного пространства, где сформировалась и бытует свободная, ироничная, непочтительная интонация, с точки зрения новых времен всего лишь затратный анахронизм.



Новое время — новые песни; о главном, разумеется. И новые ценности — разумеется, вечные.

Моды сменяют друг друга, чередуясь, как широкие и узкие штаны. Пусть так. Отрицать моду нецивилизованно. Но существует и такой принцип, который исповедуют многие, я в том числе. Этот принцип сводится к формуле “модно то, что я ношу”. И мне плевать на чужую моду.

И речь не о том, чтобы непременно пребывать в оппозиции. Натужная, крикливая, неопрятная оппозиция так же глупа и неприятна, как респектабельная, самодовольная, лоснящаяся любовь к начальству. Впрочем, нет, не так. Глупа так же. Неприятна так же. Но в гораздо меньшей степени опасна для душевного здоровья общества.

Нужна дистанция. Именно дистанция по отношению к власти, государству и даже обществу. Но на это не способна интеллигенция, склонная к крайностям. Одним из признаков цивилизованности того или иного государства можно считать наличие такой общественной функции, носителем которой является человек, обычно называемый интеллектуалом. Это не оппозиционер и не апологет

государства. Это его трезвый критик и ироничный комментатор. Это официально признанный носитель независимого взгляда. Это диагност. И никому не приходит в голову упрекнуть его в неблагодарности. Про таких людей никто не скажет, что сало они американское едят, а сами только гадят, издеваются да подначивают. Эти люди необходимы, и никому не приходит в голову в этом усомниться.

Но это другая традиция, которая ни к нашей стране, ни к нашей интеллигенции — “совести народа” — никакого отношения не имеет. А к ней имеют отношение судорожные метания от ненависти и презрения к горячей любви и беззаветной преданности.

Слово “интеллигенция” недаром женского рода. Она, то есть русская, потом советская, потом снова русская интеллигенция, — дама столь же влюбчивая, сколь и ветреная.

В начале советской власти интеллигенция не очень жаловала Ленина. Революцию, которая ей “дала все”, она беззаветно любила. Ленина — не очень. Поэма Маяковского — скорее социальный заказ уже сталинской эпохи, чем плод страсти.

Интеллигенция на ранних порах полюбила Сталина. Он завораживал и интриговал. Он мало говорил и очень пристально смотрел. Потом к этим вольным чувствам прибавилось ощущение ледяного ужаса, и интеллигенция на многие годы закончила в своей любви, вроде как спящая красавица, покуда к ее сахарным устам не проник Никита Сергеевич. Тогда интеллигенция прониклась священной ненавистью к тирану и полюбила как раз Ленина, полюбила настолько, что со всей решительностью, на какую оказалась способна, потребовала убрать его с денег. Впрочем, не особенно отказывалась и от денег с Лениным.

Я хорошо помню, как интеллигенция пыталась полюбить Андропова, сменившего совершенно нетоварного, смешного, нелепого, обсыпанного орденами и анекдотами Брежнева. Я помню, как мне всерьез говорили о том, что Андропов — человек интеллигентный и образованный. Что он не то, чем кажется вначале. Что он собирает абстрактные картины, слушает джаз, а по своему дачному участку ходит в — страшно сказать — джинсах. Я тогда спросил у одного своего прия-

теля: “Как ты думаешь, мы доживем до того, что члены Политбюро вдруг разом облачатся в джинсовые костюмы?” “Боюсь, что доживем”, — ответил приятель. Он, слава богу, ошибся. До такого великолепия мы не дожили, а дожили мы до того, что никакого политбюро нету и в помине. Политбюро нет и многого другого нет, а вот любовь и ее превратности никуда не делись, ибо ни природа, ни история не терпят пустоты.

## Некритические дни

**В** нашей стране критика во все времена воспринималась с большим подозрением, иногда чреватым серьезными последствиями для носителя критического сознания. Критика в разные времена называлась то очернительством, то лживыми измышлениями, порочащими наш общественный строй, то фальсификацией истории в ущерб интересам группы граждан, в дальнейшем именуемой “Россией”.

Впрочем, не будем очернять и фальсифицировать. Была и критика. Журнал “Крокодил” и бескомпромиссный михалковский “Фитиль”

продергивали с песочком и волокитчиков, и бюрократов, и летунов с несунами. Доставалось и тунеядцам. Мало не казалось и непутевым смежникам, время от времени срывавшим важное производство посредством недопоставок оборудования.

И еще была критика. Она была явлена в виде брошюр общества “Знание”. Брошюрки так прямо и назывались: “Критика буржуазных течений в современной западной философии” или “Критика модернистских тенденций в западном искусстве”. Я, кстати, не желая быть неблагодарной свиньей, не могу не сказать слов благодарности за эти самые брошюрки. Любознательное юношество моего поколения узнавало хоть что-нибудь о современном искусстве именно из этих “критик”.

Но важнейшим из всех искусств являлась и является апологетика, с разной степенью философской глубины и художественной выразительности разъясняющая населению, за что именно оно так любит родное государство. Любовь не должна корчиться безъязыкая, иначе она не любовь, а темный инстинкт.

Сегодня искусство апологетики переживает пору расцвета, разухабисто гуляя по информационным просторам нашей родины, как гулял по Уралу Чапаев-герой: с присвистом, с уханьем, с двумя притопами и тремя прихлопами. Без оглядки на всякие глупости вроде звездного неба над головой, нравственного закона внутри нас и уж тем более химеры совести.

Разнообразные апологеты нынешнего российского режима при всей пестроте оттенков делятся на два отчетливо различимых типа.

Первые, немногочисленные и довольно-таки трагичные в своей исторической обреченности, а уже потому вызывающие нечто вроде человеческого сочувствия, мыслят приблизительно так: “Да, в России демократии нет. И быть не может. И быть не должно. И это правильно. Потому что демократия — это разнообразие, а ничего вреднее для нашего здоровья, чем разнообразие, предполагающее необходимость выбора, разрушающую нашу традиционную цельность, нет и быть не может.

У нас свой путь, без всяких там разделений властей, прав человека и прочей хрени, придуманной

специально для того, чтобы окончательно запутать и закабалить и без того запутавшегося и закабаленного вредоносной городской цивилизацией нашего простого и доверчивого парня, который от ваших общечеловеческих ценностей и прочих гей-парадов совсем, глядишь, сбрендит и либо сарай с боеголовками подожжет, либо, не дай бог, кого-нибудь прирежет под осенний свист от испоганенной атлантической жидовней, но не до конца еще выветрившейся душевной широты.

И правильно все делают наши нацидеры, что шлют куда подальше незваных благодетелей. И не надо перед ними лебезить да заискивать. Не выйдет, господа! Вашим планам не сбыться! Без вас и без ваших так называемых общечеловеческих ценностей проживем. Жили мы и отцы наши, деды-прадеды без вашего плюрализма. И хорошо, кстати, жили. Дружба потому что была, порядок, соблюдение очереди на помывку коридора и перловка три раза в день по будням, не считая выходных, когда еще и колбаса за рупь девяносто кило”.

Вторые устроены чуть сложнее, а потому они и заметно противнее. То есть сложность их тоже,



прямо скажем, не слишком уж и сложна. Они просто, как хулиганы-подростки на дорогах, развернули знаки — плюсы на минусы, право на лево, верх на низ. Но все равно какое-никакое ноу-хау.

Они любят употреблять много наукообразных слов, соединяя их посредством какого попало синтаксиса. Среди прочих слов они особенно полюбили слово “смыслы”. Именно так — во множественном числе. Смыслы они не только любят, но и неустанно их “порождают” в многочисленных бюджетных институтах. Впрочем, смыслы не столько порождаются, сколько высекаются, причем самым простым, первобытным способом — способом трения их неутомимых языков о филейные части текущей власти. А потому и смыслы этих смыслов вполне адекватны способу их порождения.

Демократия у нас есть, говорят они. А для пущей убедительности добавляют, что у нас-то она как раз и есть, а вот там, на Западе, ее как раз нет. Потому что там, на Западе то есть, диктатура и вполне себе фашизм. А у нас свобода — вот вы не в тюрьме же пока. Хотя и следовало бы, если честно. Но если

наша свобода станет еще свободнее, то и ваши проблемы решатся сами собой в нужном направлении. А у нас свобода была давно, еще при Иване Грозном, когда в Европе вашей распрекрасной за косою взгляд на кол сажали. Да там и теперь все еще сажают, просто вам не говорят. А другим еще указывают. И президентов там назначают как хотят, не то что у нас, всенародно и единогласно, — вот какая у нас свобода. Куда уж еще-то свободы, если у нас на выборах поболее ста процентов бывает.

Все проблемы страны они экспортируют во вне — чаще всего в Америку. Туда же, где от греха подальше размещает свои трудовые гроши их любименное руководство.

Интонация наших апологетов всегда взвинченна и слегка истерична. Видимо, им передается нервозность их клиентов, чья неуверенность в собственной легитимности бросается в глаза. Они так и не могут решить, что делать с Россией — встроить ее в контекст современного мира или изолировать от мира. Они разрываются от необходимости определить, такие же мы, как все, или не такие. Или, может, другие не такие, а мы как раз такие.

У моего товарища был когда-то сосед по квартире — человек малограмотный и при этом невероятно скандальный. Он все время с кем-нибудь судился. Свои многочисленные заявления и жалобы он приносил моему приятелю на предмет исправления ошибок. Какие-то особенно выдающиеся пассажи приятель выписывал и дарил мне, зная мою приверженность к подобного рода речевым мутантам. Мне, в частности, запомнилась фраза, выдающаяся по степени своей глубинной мотивированности. И запомнилась она мне именно так, как и была написана, то есть без знаков препинания и с той орфографией, с какой была. А выглядела она так: “Я между прочем такой же как и вы человек в отличии от вас”.

А вы говорите — смыслы.

## О самобытности

**Д**авно замечено, что, когда наши руководящие господа-товарищи затевают те или иные пакости, их резко пробивает на всемирную отзывчивость и они чуть что норовят кивнуть на мировой опыт. Вот в Европе, говорят они, за такие дела вам такой бы штрафчик выписали, что ого-го. А в вашей, говорят, любимой Америке таких, как вы, так по судам бы затаскали, что не дай вам бог. А если кто-нибудь из наиболее бестактных начнет вякать что-нибудь в том духе, что мировой опыт вовсе не ограничивается карательными функциями и что есть еще на свете

всякие такие штуки, как, например, права личности или еще какие-нибудь подобные глупости, то тут же выясняется, что у нас особый путь и нечего нас учить — на себя бы лучше посмотрели, товарищи волки.

У нас особый путь, и спорить с этим бессмысленно. Мы самобытны и оригинальны до изумления. А остальные — нет. Посмотрите сами: ну все же на одно лицо — что финны, что японцы, что итальянцы, что поляки, что грузины. Не отличишь. Поэтому нам все завидуют. Ну и недолюбливают, ясное дело. И мечтают погубить — кто явно, кто тайно. Когда было такое, чтобы глобализованная посредственность и унифицированная серость не ополчались бы на все яркое, самобытное и особенное? Никогда такого не было.

Вот и приходится веками держать круговую оборону против агрессивного напора мировой истории и огрызаться время от времени на манер самобытной советской официантки: “Вас много, я одна”. “Одна ты на свете! Одна ты такая”, — в унисон упомянутой официантке сообщает своей родине самобытнейший поэт Сергей Михалков

в одном из своих вдохновенных гимнов, последнем на данный исторический отрезок.

Все у нас особенное. И даже патриотизм, принимающий подчас форму иррациональной любви к географической карте, тоже какой-то особенный. Вот прямо на днях я обнаружил на мусорном контейнере огромную, выполненную масляной краской надпись. Надпись была такая: “Курилы наши”. Главное тут, разумеется, не само проявление бурного патриотического восторга, а с безукоризненной точностью выбранное пространство его репрезентации.

И вера особенная. Об этом лучше всего — у Лескова.

“Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим”.

“Евангелие, — отвечает Левша, — действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще и вера у нас полнее”.

И вот еще о самобытности. Пару лет тому назад перед входом в аптеку я увидел сидевшего на маленькой скамейке мужичка. В ногах у му-

жичка валялась потрепанная бесформенная кошелка, из которой торчали какие-то трубки и железяки. На шее мужичка висел кусок картона. На куске была бесконечно интригующая надпись: “Изличаю все болезни и гимарой срочно”. Публика, впрочем, обидно игнорируя безусловную самобытность и вселенскую универсальность этого культурного героя, шла все же в заурядную и вовсе не самобытную аптеку.

## Комплексные обиды

**Э**то сейчас у нас бизнес-ланчи. А в прежние времена примерно то же самое называлось куда более обыденно, но зато и более патриотично — комплексными обедами, а на жаргоне работников общепита — просто комплексами. “На комплекс — салат витаминный, рассольник, бестроганы с гречкой и компот из сухофруктов. Будете кушать?” — глядя куда-то мимо и неумело скрывая профессиональную ненависть к вечно жующему человечеству, тараторила на одной ноте усталая официантка. А в одном заведении, куда я забрел однажды, прямо



напротив входа висел огромный плакат с лаконичным самодиагнозом: “У нас комплексы”. Я, помню, довольно долго приводил туда разнообразных друзей и знакомых, чтобы и они разделили мою филологическую радость.

Это, впрочем, присказка. Речь вообще-то о том, что многие годы мы жили в как бы перевернутом мире, где “все не как у людей”. У людей, знали мы, бананы — это очень дешевая, продающаяся на каждом шагу еда для бездомных, зажигалка стоит дешевле пачки сигарет, в “Макдоналдс” может запросто зайти каждый безработный, арбуз и малину можно купить среди зимы, ужин в ресторане и приличная рубашка стоят примерно одинаково, в магазине спокойненько лежат двадцать восемь сортов кефира и при всем при этом ни за чем нет очереди. “Ну ладно, так-таки и нет?” — “Ну нет же, тебе говорят!”

Ну вот и у нас теперь вроде бы “все как у людей”. Так и радоваться бы!

Но нет — вместо вожделенного умиротворения пришла тяжкая депрессия. Еще бы: бананы — дешевка для бомжей, сигареты еще дороже, чем

зажигалка, “Макдоналдс” — вообще полное говно (суки америкосы мало того что сами жрут всякую гадость, так и нам еще подсовывают), малину выращивают где-то в Голландии — никакого вкуса, кефир — сплошная химия. Очереди нет, это правда, — но так ее, кстати, и раньше не было, ее демократы выдумали.

Любовно лелеемый миф стал рутинной реальностью, а потому в некотором роде лишил существование смысла, лишил мечты. А кто виноват — вечнозеленый русский вопрос. Ну как это кто? Непонятно, что ли? Запад, конечно, кто же еще.

Стихийное народное западничество последних лет советской власти и первых лет после нее было, если угодно, мейнстримом общественного сознания. У них вот — да. У нас — нет. Они могут. Мы — не очень. Власти очень хорошо уловили нерв общественного настроения и, затеяв те или иные пакости, взяли за правило ссылаться на “мировую практику”. Кстати, это по инерции происходит и теперь. Когда же им пытаются робко намекнуть на то, что мировая практика вовсе не исчерпывается репрессивно-запретительными мероприя-

тиями, то тут же выясняется, что нечего нас учить, что у нас свои традиции и что на себя бы лучше посмотрели, у вас у самих проблем хоть завались. Это правда: проблем у Запада много, может быть, не меньше, чем у нас. Разница одна, но очень существенная. Западное общество свои проблемы воспринимает именно как проблемы. В нашем же обществе, где все большее право голоса обретают вечные второгодники, проблемы трактуются как объекты национальной гордости, как признаки самобытности и как этапы особого пути. Когда не очень получается стать нормальными, приходится становиться великими, тем более что это куда проще — как сказали, так и будет. А великим все завидуют, разве не так?

Антизападническая риторика стала в последние годы таким же правилом хорошего тона, каким лет десять тому назад была риторика безоглядно прозападническая. Градус этой риторики по странному совпадению повышается прямо пропорционально росту цен на энергоносители.

Вальяжная презрительность по отношению к “пресловутым” западным ценностям и глянце-

вый — как бы понарошку — изоляционизм стали своеобразной интеллектуальной модой. Чувствительная к веяниям времени гламурно-офисная публика между двумя глотками кампари-оранжа в ожидании бизнес-ланча цедит сквозь зубы что-то про “тупых америкосов”, про нашу отстойную “демшизу” и про то, что “Россия еще всем вставит”. С модой глупо спорить — ей можно либо следовать, либо нет. У любой моды есть как минимум одно важное достоинство — она проходит.

А уж о легковозбудимых журналистах, в чьей кристальной неподкупности может усомниться лишь самый неисправимый скептик, или о доблестных генералах, чьи компетентность и всемирная отзывчивость не подлежат обсуждению, даже и говорить неинтересно. Их мотивы прозрачны и недвусмысленны, с ними все понятно. Понятно все и с духовными потомками “слободских и посадских” — с их семечками, гармошками и врожденной злобой по отношению как к “деревенским”, так и к “городским”, как к “восточным”, так и к “западным”. Вот и певица Жанна Бичевская, бывшая советская Джоан Баэз, а ныне золотой го-

лос героического движения ПНИ, колебля вещи струны своей гитары, несет нам благую весть о том, что “русские плюют на власть америк и европ”.

Да и как тут не плюнуть с досады, если Запад так подло нас обманул.

Когда начиная с конца 1980-х наши люди стали выезжать в “америки и европы”, они с не привычки поражались и восхищались всем подряд. Но при ближайшем рассмотрении стали замечать что-то неладное. Люди там, оказывается, не летают по воздуху, а ходят, как и мы, по земле. Там, оказывается, существуют человеческие страдания, преступность, чиновничья глупость, врачебные ошибки, терроризм и несчастная любовь. И машины бьются. И поезда сходят с рельсов. Запад не оказался раем. Он оказался всего лишь другим кругом ада. Западу не прощается несовершенство. Это похоже на чувства подростка, увидавшего вдруг героиню своих романтических грез выходящей из уборной.

Запад нагло и цинично нас надул. Поматросил и бросил. А ведь какие слова говорил! Какую гуманитарную помощь дарил!

Нынешние песни “о главном”, то есть о маниакальном стремлении зловредного и завистливого Запада во что бы то ни стало замучить “великую державу”, ту самую, которая, покряхтывая и потрескивая суставами, встает с колен, слово в слово повторяют те же песни, что с давних советских лет и по сей день свербят в моих ушах. Ничего нового тут не придумаешь, да и зачем: старый конь борозды не портит. Только вместо СССР — Великая Россия. А вместо “советского строя” и “коммунистического мировоззрения” — “славные традиции предков” и прелея, надышанная поколениями “духовность”. Помню из тех давних лет какого-то лектора, певшего что-то в таком примерно духе: “Ни сил, ни средств не жалеют зарубежные враги нашего государства на подрыв... Чуждая нам идеология... Борьба идей... Музыка и танцы... Одежда... Разрушительная работа ведется во всех направлениях... Но прежде всего она направлена на молодежь и (внимание! — *Прим. Л. Р.*) на мыслящую часть нашей интеллигенции”. Здорово сказано — никакого Фрейда не нужно.

Никакого Фрейда не нужно, ибо какими бы “бизнес-ланчами” нас ни потчевали, сквозь них все равно просвечивают все те же старинные “комплексы”. И нету особой нужды напоминать об этих самых комплексах посредством жирного плакатного шрифта — и без того все понятно.

## Песня оленине

**Е**ду в метро с чемоданом. Встречаю знакомого. “Далеко собрался?” — спрашивает он. “В Домодедово еду”, — отвечаю я. “А куда летишь? Небось в Норильск?” — “А как ты догадался?” — “Да сейчас все в Норильск летят”. Ну, “все” — это, разумеется, фигура речи. Вроде как “вся Москва”, состоящая, как правило, человек из пятнадцати.

Все, не все, но что посещение Норильска в последние несколько лет стало почти что ритуальным для изрядного количества литераторов, художников, музыкантов и артистов — это точно.



В этот раз на фестиваль с несколько оксюморонным названием “Таймырский кактус” я полетел в милой моему сердцу компании, включавшей писателя Владимира Сорокина, художников Андрея Бильжо и Марию Чуйкову, композитора Сергея Загния, телеведущую Светлану Конеген и театрального критика Дину Годер.

Небольшая, но представительная книжная ярмарка в городской библиотеке, в ней же встречи с писателями, “Музейная ночь” в местном музее. Музыкальные концерты на нескольких площадках. Что значат эти фестивали для жителей Норильска, лучше спросить у них самих. Я же могу констатировать, что во все дни фестиваля во всех местах, где что-то происходило, было не протолкнуться.

Я был в Норильске уже в третий раз, а большинство моих товарищей — в первый. Поэтому, когда мы ехали автобусом из аэропорта в город, я не смотрел по сторонам, а занял позицию наблюдающего за наблюдающими. За лицами моих товарищей, глядящих в окно, следить было никак не менее увлекательно, чем за тем, что видели они.

Дорога из аэропорта сразу же, без каких бы то ни было умиротворяющих предисловий, окунает тебя в, так сказать, местную проблематику. Черные — в середине мая — сугробы, покосившиеся изгороди, до сердцевины прокопченные кирпичи бесформенных промышленных строений, выползающие из многочисленных труб разноцветные дымы, заброшенные пятиэтажки с мертвыми окнами. Безобразные, вразнобой торчащие из мерзлого, густо покрытого шлаком грунта знаки и следы человеческого присутствия лишь усиливают ясное и трагическое понимание: это место не для людей. Это вообще не Земля. Это другая планета. Может быть, Марс.

Когда едешь по этой дороге, в голове все время вертится строчка из песни про Ванинский порт: “Машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь, олени”. Это вроде бы про Колыму, где я никогда не был. Но могу предположить, что Колыма и Норильск в этом самом смысле вполне сопоставимы.

Когда едешь по этой дороге, возникает макабрическое ощущение, что из-под земли торчат че-

ловеческие кости, а некрасовская строка “а по бокам-то все косточки русские” воспринимается с какой-то безысходной наглядностью. Именно она и читалась на лицах моих товарищей. “Мой дед сгинул как раз здесь”, — сказал один из них и отвернулся от окна.

По этой дороге я с утра и до вечера возил бы туда и обратно нынешних сказителей, поющих про нашу славную историю и призывающих божью и полицейскую кару на головы ее очернителей, льющих воду на понятно чью мельницу. Впрочем, ерунда, проку от этого не будет. Они лишь пожмут плечами и скажут, что не все, конечно, было гладко. А еще они скажут, что без этого было никак нельзя. А еще они скажут, что зря не сажали.

В последний день нам устроили небольшую экскурсию по городу и его окрестностям. В том числе нас свозили на вершину горы, где не так давно был установлен мемориал с выразительным названием “Голгофа”. Там стоят памятники — с православными крестами, с католическими крестами, с полумесяцем, со звездой Давида. Памятники

сгинувшим в норильских лагерях полякам, французам, японцам. На памятнике литовцам короткая надпись на двух языках: “Литва никогда не забудет ваших страданий”. Без проклятий, без надрывной патетики — достойно и трагедийно.

Норильск — город в высшей степени необычный. И ощущение от него вовсе не исчерпывается мрачными видами и не менее мрачными историческими ассоциациями. Ибо и то и другое компенсируется так называемым человеческим фактором. Люди работают, рожают детей, веселятся, читают, пишут, играют в театре, учат детей музыке и танцам. Живут, одним словом. Живут и не унывают.

В городе я заметил трогательную местную моду: очень многие девушки ходят настолько загорелыми, будто все они буквально только что вернулись из Египта. “Нет, — объяснили мне, — они в массовом порядке ходят в солярий”. Таким образом они как-то преодолевают свою неизбывную северность. Тяга к югу и вообще хорошо заметна в городе: названия кафе и ресторанов — это почти всегда “Дели”, “Майами” или на худой конец “Сочи”.

Жители Норильска — большие патриоты. “Как вам наш город?” — слышал я по многу раз за день. “Ну...” — стараясь не обидеть ничьих чувств, мямлил я. “Да мы к этому привыкли, мы этого даже не замечаем, — выручали меня норильчане. — А вот как вкусно у нас. Вы пробовали строганину? А копченого муксуна вы ели? А пельмени с олениной? У вас такого нет, это точно”.

Это точно — у нас такого нет. Острая визуальная недостаточность городского пейзажа действительно возмещается сильнейшими гастрономическими впечатлениями. Когда мы попробовали карпаччо из оленины под брусничным соусом, кто-то сказал: “Я бы сочинил оду этому волшебному блюду. Я пропел бы ему хвалебную песнь”. “И назвал бы ее “Песня оленине”, — подхватил я, имея при этом в виду, что местные жители часто произносят слово “оленина” с ударением на втором слого.

В Норильск в последнее время ездят “все” — и правильно делают. Жители этого вроде бы непригодного для жилья места заслуживают, чтобы для них играли оркестры, ставили спектакли и чи-

тали стихи. Для меня же, помимо всего прочего, главным уроком Норильска является то, что сам невероятный факт существования этого города и его обитателей на сакраментальный вопрос “есть ли жизнь на Марсе?” дает однозначно положительный ответ.

## Вечная мерзлота

**К**огда я был в Норильске, в трагическом и по-своему удивительном городе, на века пропитанном неистребимым гулаговским духом, меня ни на минуту не оставляло тягостное чувство, что я все время наступаю на чьи-то кости. Что я буквально по ним хожу. Я поделился этим ощущением со знакомым норильчанином, сотрудником местного музея. Он сказал: “Дело в том, что фактически так и есть. Из-за вечной мерзлоты умерших и погибших закапывали совсем неглубоко. А весной, когда почва чуть-чуть подтаивает, на поверхности

иногда обнаруживаются фрагменты человеческих скелетов”.

Мистическое мало меня привлекает. Не верю я в сверхъестественное. Но в смыслопорождающую способность исторических метафор я верю.

“Жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом”, — написал однажды Даниил Хармс. Но это об искусстве. В истории все, увы, не столь оптимистично.

Недозахороненность — извечная причина наших бед, директивно назначаемых победами. Недозахороненность солдат Великой Отечественной войны. Недозахороненность жертв и их палачей. Недозахороненность вождей, их дел, их идей.

Мокротные души различных менеджеров среднего и высшего звеньев, плотно растворенные в выхлопных газах истории, время от времени властно напоминают о себе специфическим запахом. И дух этот особенно заметен в странах с плохой экологией. Впрочем, некоторым этот дух кажется духом времени, дуновением жизни. Ну бывает, принялись — за столько-то лет.



Что уж тут говорить, если Самый Главный Труп бывшего социалистического отечества лежит себе в самом центре великого города и в ус не дует. Однажды, когда мне было лет девять, мы с мамой пошли в Мавзолей. По моей, надо сказать, настоятельной просьбе. Мне, можно сказать, повезло. Я успел еще застать там сразу двоих. Когда мы шли обратно через Красную площадь, я спросил у мамы, почему здесь так много ворон, прямо как на кладбище, где похоронена бабушка. Рефлекторно покосившись на Мавзолей, она сказала, что не знает.

Мертвяческой фразеологией была насквозь прошита еще и раннебольшевистская риторика. Это и понятно: во власть пришли провинциальные гимназисты-недоучки, успевшие в пубертатную, то есть самую чувствительную свою пору заглянуть одним глазком в декадентские брюсовско-бальмонтовские “бездны”. “И как один умрем в борьбе за это” — звучит ободряюще, не правда ли? Для человека с нормальными рефлексам и тогда уже был очевиден смертеутверждающий пафос этой риторики. А многим — и тогда и теперь — он кажется

вполне себе жизнеутверждающим. А мертвое кажется живым.

Вот граждане и умирали “за это” — оптом и в розницу. И жизнь им устраивали такую, чтобы “за это” ее не жалко было и отдать. Такой был анекдот в середине семидесятых годов: “Рядовой Петров, а ты готов за Родину жизнь отдать?” — “Так точно, товарищ майор, готов!” — “А расскажи, рядовой Петров, почему ты готов за Родину жизнь отдать?” — “А на хера такая жизнь нужна, товарищ майор!”

Не оттуда ли, не от потаенной ли воли к смерти поразившая значительную часть сограждан социальная патология, проявляемая в том, например, что можно с легкостью пройти мимо умирающего на улице, но вспылать священным гневом по поводу того или иного высказывания Бжезинского. В том, что человек, считающий себя христианином, с первобытным ликованием может разнести художественную выставку, задевающую его “чувства”. При этом его христианнейшие чувства ничуть не бывают задетыми по поводу того, что менты на его глазах избивают бомжа. Или его

самого. В том, что человека ничуть не оскорбляет, когда его не считают человеком, заставляя часами стоять в пробке, потому что “к нам приехал наш любимый”. Но зато он страшно возбуждается, когда Евросоюз придает законный статус давно уже для всего цивилизованного мира очевидному представлению о тождественности двух самых людоедских режимов XX века.

Не потому ли тем, кто мертвое принимает за живое, невозможно втолковать, что цена человека, его жизни, свободы и личного достоинства несоизмеримо выше всяких фетишей вроде флагов, гербов, гимнов, портретов, памятников на привокзальных площадях и прочих державных цацек?

Отсюда же и символические ритуально-календарные закапывания-выкапывания сталинского трупа, того самого, что принял страну с сохой, а оставил ее с перебитым хребтом, отшибленной памятью, вывихнутыми мозгами и заветным, запрятым за высоким зубчатым забором ядерным ларцом, в котором, видимо, и таится смерть Кощея.

Мертвое от живого отличишь не всегда. Есть, впрочем, надежный способ. Живое бывает смеш-

ным. Мертвое — никогда. Смешное — верный признак живого.

Господи, как же резвились и до сих резвятся члены Общества ревнителей кремлевско-лубянской эстетики по поводу саакашвилевского галстука. Попутно заметим, что если кроме жевания галстука человеку предъявить нечего, то не так уж плохи его дела. Но речь не об этом. Жевать галстук, конечно, смешно. А живой человек и бывает смешным. И чем он живее, тем меньше он боится казаться смешным. Плох Саакашвили или хорош, глуп он или умен — в данном случае неважно. Мне он, честно говоря, не нравится. Но он живой. И с этим не поспоришь.

А кремлевские пацаны галстуков не жуют. Они совсем не смешные, мягко говоря. Они “сурьезные” ребята с непроницаемым взором цвета “металлик” и натруженными желваками. Но они не живые, увы. Они кто угодно — машины, функции, — но только не люди. Мертвецы они, вот в чем дело.

Мы живем в краю незарытых тел и незакрытых дел. В краю бродячих трупов и безысходных “висяков”.

Мы живем в вечном царстве Кощея. А он потому и “бессмертный”, что мертвый. Мертвого нельзя убить — его можно и нужно закопать. А убить его нельзя, как нельзя взорвать болото. Скалу — можно. Болото — нельзя. Болото можно осушить. Но на это требуется время, терпение и воля. А где их взять?

В одной из записных книжек Андрея Платонова есть удивительная в своей библейской простоте и потаенной мудрости фраза: “Для жизни нужны живые”. Будем считать, что это эпитафия.

## Семантический сдвиг

**К**ак непривычно, как заманчиво и интригующе звучало на наших просторах слово “президент” еще совсем недавно, когда, занесенное к нам западными ветрами, оно не прошло стороной, как многие подобного рода вещи, а кое-как осело на нашей почве и начало вроде бы даже плодоносить. Да только недолго. Дух политической состязательности, положенный в основу всего того, что принято называть демократией, как-то очень быстро утомил и без того задерганное общество. Ибо дух этот так и не стал восприниматься как что-то такое, что всерьез и надолго. Ибо

он как представлялся всегда, так и представляется теперь всего лишь детской игрой. Возможно, даже и полезной, и в своем роде увлекательной, но игрой. А в детские игры нельзя же играть вечно. Игра рано или поздно превращается в бардак и кучу-малу.

Все, хватит, поиграли, марш домой уроки учить. Вам все игрушки, а нам тут убирай за вами — вон как натоптали да насорили. А шуму-то, шуму-то сколько! Оглохнешь с вами тут. Зла прямо не хватает, ей богу. Все. Сели по местам. По местам, сказано. А вам что, особое приглашение требуется? Сюда надо смотреть. Отсюда слушать. Ничего не трогать, пока не будет все готово. Вас позовут. Вам сообщат. Покажут и разъяснят. А пока позырьте лучше телик — там братки, пародисты, мир кожи и меха в Сокольниках, другие всякие миры. Так. А теперь внимание! Сейчас вам раздадут бумажки — бюллетени называются, да только вам это зачем, все равно ведь с первого раза не произнесете, — их сюда вот надо совать. Понятно? Что значит — зачем? Вы что, забыли, что ли? Выборы же у нас тут с вами. Президента, между прочим. Всенародные, кстати.

В моем детстве была такая игра, вернее, тест, хотя тогда такого слова еще не было. Произносилось некое слово, и требовалось наполнить его, как сказали бы теперь, “конкретикой”. Вам говорили, допустим, слово “фрукт”. Потом — “поэт”. Потом — “часть лица”. Подавляющее число “респондентов” отвечали соответственно “яблоко”, “Пушкин”, “нос”. На уровне языка это вполне естественно. Но и на уровне сознания (тем более — подсознания) большинство наших сограждан убеждены, что в идеале всего должно быть по одному. Одна колбаса. Один хлеб. Одна песня. Один народ. Одна родина. Один вождь. Хорошо еще, что не произносилось в этом контексте слово “генералиссимус”...

Вот и слово “президент” постепенно, но неуклонно теряет в нашем общественном сознании свою семантическую самостоятельность. Это уже не так вообще “президент”, а это “российский президент” — заметьте разницу. А разница между тем и этим почти такая же, как разница между секретарем и генеральным секретарем.

Российского президента принято еще называть “президентом Путиным”, можно — ПП. И вот мы



наблюдаем, какие серьезные семантические сдвиги происходят в столь маловыразительном на первый взгляд словосочетании. Наричательное имя “президент”, обретая все более отчетливые антропоморфные черты, становится именем собственным. В то время как имя собственное Путин на глазах становится нарицательным, вроде того как имя Цезарь превратилось в последствии в кесаря, кайзера и царя. А поэтому остается лишь гадать: “А кто же у нас будет путиним на следующий срок? Неужели опять Президент?”

## Осторожно: август

**В** конце лета лучше никуда не ездить. Лучше сидеть дома и по возможности спокойно ждать каких-нибудь очередных августовских пакостей. Готовиться к ним. Запасаться бакалеей, чувством юмора и седативными средствами. Издали эти самые пакости раз в десять пакостнее, чем вблизи. Еще не выветрились из памяти многочисленные рассказы тех, кто об августовском путче 1991 года узнал издалека. Боже, как же им, бедным, было страшно. Один знакомый рассказывал мне, как в эти самые дни он гостил у родственников в Америке, в каком-то ма-

леньком городке. В тот день хозяйка дома сказала ему за завтраком: “Есть две новости. Одна местная, другая московская. С какой лучше начать?” — “Начни с местной”, — говорит знакомый. “Местная новость такая, что у нас тут через полтора часа будет ураган. Придется спустаться в подвал и там сидеть какое-то время”. — “Ужас-то какой, — говорит знакомый. — Ну а в Москве-то что?” — “А в Москве, чтоб ты знал, государственный переворот. Вот такие дела. Уж не хотела тебе говорить, но ты бы все равно узнал”. Так вот и просидели они полдня в подвале за телевизором, показывавшим московские дела, в то время как над крышей их дома безмятежно кружились вековые деревья и телеграфные столбы. “Представь себе, как было весело”, — завершил он свой рассказ. Я честно попытался представить, но так и не представил.

Мы проводим жизнь в ожиданиях. Зимой — в безнадежном ожидании лета. Летом — в обреченном ожидании августа. И август, надо сказать, редко нас подводит, обязательно готовит для нас какую-нибудь более или менее изощренную подлянку. Если не общественно-политическую, то хотя бы

природно-климатическую. Если уж так получилось, что ничего не взорвалось, никого не сместили с поста и не рухнул всей своей нечеловеческой тяжестью рубль, то запасайтесь водой: непременно что-нибудь загорится. А если не загорится, то утонет. А если не утонет, то провалится под землю. А если не провалится под землю, то упадет с крыши. Путчи, лесные пожары, взрывы в переходах, гексоген, подлодки, телебашни, дефолт — казалось бы, все уже, хватит. Но нет, ждем-с. И ведь дело не в том, что в другие месяцы царит сплошное благорастворение воздуха. Вовсе даже оно не царит. Но в августе, именно в августе, все это как-то особенно знаменательно, симптоматично, семантически насыщено и высокотрагедийно.

Современный городской человек, пришпиленный к телевизору, приклеенный к газете и редко вынырывающий из интернета, чахнет без сенсаций. Вот они и возникают. В полном несоответствии с классической логикой, продолжающей упорствовать в своем заблуждении относительно односторонней связи между причинами и следствиями, можно сказать, что события происходят

лишь потому, что мы их ждем. Сны разума рождают чудовищ. Информационный вакуум, достигший того уровня, когда главной новостью считается гроза под Нарофоминском или сошедший с рельсов трамвай в Малоярославце, чреват мелкими и крупными неприятностями. Я помню, как в один из летних месяцев не помню какого года одна из радиостанций вполне серьезным голосом ведущего поведала душераздирающую историю про чабана, скончавшегося от инфаркта прямо на рабочем месте. Инфаркт же случился оттого, что одна из овец внезапно заблеяла в ухо задремавшего чабана. Сама ли овца призналась в совершенном ею непредумышленном убийстве или на нее стукнула какая-нибудь другая овца, радио не разъяснило.

Социальный человек живет в предвкушении кризиса. И кризис случается.

В моменты кризисов коммуникативное поле заряжается невероятной энергией. Всем есть о чем поговорить друг с другом. Восприятие обостряется. Все, что не страшно, то смешно. Страшное тоже смешно, пока оно еще не такое страшное. Вечная формула “слово и дело” теряет равнове-

сие. Понятно, что когда дело плохо, то слово берет слово. Некоторое раздвоение личности, и без того свойственное пишущему человеку, обостряется необычайно. Ему как никогда и как никому и больно, и смешно. Ему столь же страшно, сколь и интересно.

В искусстве разговоры о кризисе велись всегда и всегда были обоснованны. Кризис, в общем-то, правильная вещь, ибо стимулирует возникновение новых идей. Но жизнь живет не по художественным законам, а когда живет по ним, получается известно что.

Впрочем, куда это нас занесло? Начали-то мы с того, что в конце лета лучше сидеть дома. Этим и закончим. И попытаемся научиться жить без потрясений. Попытаемся научиться тому, что скучно жить не так уж и скучно.

## Всемирная отзывчивость

**П**рочитал я где-то о том, как, поощряя расслабившихся за послесоветские годы сограждан к повышенной бдительности, и в частности к энтузиастическому доносительству, глава отечественной тайной полиции апеллировал не к местной традиции, что было бы куда естественнее, а почему-то к протестантской этике.

Недавно я рассказал о протестантских инициативах нашего руководства своему немецкому другу. Это его развеселило, но он сказал: “А вообще-то в протестантском поведении действительно

много неприятного и даже абсурдного”. — “Например?” — “Например, ригоризм, иногда принимающий самые странные формы. Вот, пожалуйста...” И он рассказал мне о том, как сколько-то лет тому назад, будучи студентом Гамбургского университета, он возвращался откуда-то по пустынной ночной улице. Он был не очень трезв. И он не знал, который час. Навстречу попался случайный прохожий, господин средних лет. “Простите, не скажете ли, который час?” — спросил мой друг, на что получил такой ответ: “В ваши годы, молодой человек, уже пора иметь свои часы”. И пошел дальше, на прямой вопрос так и не ответив. “Так что же тут такого протестантского? — спросил я. — По-моему, обычное хамство”. “Нет, так мог сказать только протестант”, — ответил мой друг, который, к слову сказать, происходит из католической семьи. И тут в моей памяти ярко вспыхнула забытая картинка. “При чем тут протестантизм! — сказал я. — Со мной буквально такая же история произошла в Москве”. И действительно, со мной в Москве произошла буквально такая же история, хотя и с некоторой поправкой на различие национальных



особенностей наших великих народов. Я тоже шел по ночной улице. Я тоже был в меру трезв. Я тоже не знал, который час. Я тоже обратился к одинокому прохожему ровно с тем же вопросом. И он, этот одинокий прохожий, мне сказал: “Слушай, мужик, как же ты меня заебал!” Мне, честно говоря, не пришло в тот момент в голову, что я имею дело с проявлением именно протестантской этики. Но жизнь, как говорится, вносит свои коррективы. Она их все вносит и вносит. Вносит и вносит.

## Словарный запас

**К**ак давно и хорошо известно, люди, обладающие языковым чутьем и вкусом, по возможности избегают слов, так или иначе присвоенных официальной риторикой, а потому смертельно зараженных. Но беда в том, что, как только какие-нибудь слова начинают восприниматься культурным сообществом как зараженные и на этом основании исключаются из риторического обихода, тут же появляются другие.

В наши дни в товарных количествах и с довольно тревожным постоянством стали возникать идеологически-языковые убления наподобие “су-

веренной демократии” или, наоборот, “либерального фашизма”. Но даже у ублюдков имеются предки.

Я помню, как в позднесоветские времена мутировали значения некоторых слов. В официальной риторике для обозначения каких-то несуществующих в природе явлений стали возникать такие оксюмороны, как, например, “борьба за мир” или “социалистическая законность”.

В неофициальном же обиходе абсолютно нейтральное и даже скорее позитивное слово “идейность”, призванное обозначать всего лишь приверженность того или иного субъекта той или иной идее, приобрело отчетливо негативные коннотации. Про кого-то говорили: “Да ну его, он какой-то идейный”. Это означало нечто вроде того, что в присутствии этого “идейного” рекомендуется говорить только о погоде. По всему получалось, что “идейный” — это такой беспринципный гад, который ради достижения собственной цели не остановится ни перед чем.

В середине 1970-х — не вспомню уже, каким образом — меня занесло на собрание баптистской

общины. Там сидели на скамеечках люди разных возрастов и полов и пели, держа в руках аккуратные бумажки. Пели, как и полагается, хором, и пели они нечто на мотив популярных советских песен. Стихи же были самопальными и, понятное дело, исключительно духовного содержания. Что-то вроде: “Как люблю я Господа родного. Он дает мне то, что может дать. Он мне шепчет ласковое слово, бережет, как ласковая мать”. Прекрасные, высокие слова, ничего не скажешь. Особенно красиво говорил проповедник. Он говорил хорошие и, в общем-то, вполне бесспорные вещи. Он говорил, что честно жить хорошо, а нечестно — плохо. Ругаться плохо. Мириться хорошо. Особенно он напирал на то, что людей надо любить, потому что Бог — он как раз и есть любовь. “Любить надо людей, — строго наставлял публику проповедник, — любить надо”. Его южнорусский акцент вносил в проповедь элемент слегка пародийный. Его агрессивнотидактические интонации то ли школьного завуча, то ли прапорщика вгоняли в нечеловеческую тоску. Перекрывая все реально им произносимое, в проповеди слышалось: “А кто к завтраму людей не по-

любит, как я учил, тот пусть пеняет на себя. Людей любить надо, поняли? Эй, в третьем ряду, я к кому обращаюсь? А ну повтори!”

С “идейностью” разобрались уже давно. С “гуманизмом”, в общем, тоже. Не так давно разделились с “духовностью”. Похоже, что навсегда. Про истину-добро-красоту забыть придется лет на пятьдесят. Сегодня у нас на повестке дня “нравственность”. За “нравственность” нынче всерьез принялись Госдума, комитеты, подкомитеты, суды, прокуратура, милиция и прочие общественные палаты с народными соборами.

Но кое-что еще есть. Есть, например, такое слово, как “свобода”. Сегодня те, которые все больше хлопочут по части “нравственности”, слово “свобода”, как, впрочем, и все оттенки его смысла, ненавидят, презирают и всячески вышучивают. И это прекрасно! И слава богу! Потому что это слово все еще принадлежит нам. Как и сама свобода.

А то ведь не ровен час почуют и они вкус к “свободе” да и нас еще возьмутся учить “свободу любить”. Тогда — все. Тогда “век свободы не ви-

дать". И без того уже нормальных, человеческих слов становится все меньше и меньше. И недалек уже тот час, когда в нормальном человеческом общении что-либо конкретное смогут означать лишь те слова и выражения, которые на сегодняшний день входят, увы, в решительное, чреватое судебными издержками противоречие с нравственностью, духовностью, истиной, добром, красотой и всеми прочими прекрасными и ужасными словами.

## Чем прозрачнее, тем прочнее

**В**от читаем мы, допустим, такое: “В Германии разгорается скандал вокруг высказывания архиепископа Кельна кардинала Иоахима Майзнера. Как сообщает Би-би-си, в своей речи на открытии церковной выставочной галереи Майзнер назвал “дегенеративным” современное искусство, которое удаляется от Бога”.

Скандал этот, понятное дело, прежде всего связан с термином “дегенеративное искусство”. Почему современные немцы так чувствительны ко всему, что ассоциируется в их сознании с мрач-

ными страницами их истории? Некоторые полагают, что со страху — перед Америкой, перед Израилем, перед сионскими мудрецами и прочей мировой закулисой. Соблазнительно — но неправильно судить обо всех исключительно по себе.

Дело в том, я думаю, что германское общество, пережившее то, что оно пережило, оказалось способным понять ясную вещь: проблема ксенофобии — это прежде всего проблема ксенофобов, проблема антисемитизма и расизма — это прежде всего проблема антисемитов и расистов. Повзрослевшее общество поняло, что от ненависти страдают в первую очередь ненавидящие, а ненавидимые — лишь во вторую очередь. Они это поняли — честь им и хвала. И у них есть будущее. Да и настоящее, кстати, тоже есть.

Выступил один “приближенный к Богу” неудачно, а общество, наделенное здоровым инстинктом, нежно, но показательно отодрало его за уши.

И поделом: в приличном обществе полагается знать, где бог, а где порог. Вот даже их большой культурный чиновник высказался в том духе, что это, мол, возмутительно и что надо бы, прежде чем



чушь пороть, разобраться в предмете. Вовсе не факт, что чиновник этот так уж и сам разбирается в современном искусстве, но он хотя бы усвоил, что о том, в чем ничего не понимаешь, лучше не судить. Это понимание, между прочим, дороже стоит, чем понимание тонкостей современного искусства. Это понимание называется гражданской ответственностью.

В развитой общественной системе для каждого вида человеческой деятельности “отгорожены” свои территории. Тут искусство, тут наука, тут политика, тут церковь, тут шоу-бизнес и т. д. И никто никому не мешает, и никто ни к кому не суется, и общество спокойно и взаимоуважительно делится “по интересам”. И никто никого не контролирует на предмет “удаления от Бога”. И многие усвоили, что от имени Бога судить не следует даже епископу, ибо, по словам Борхеса, литературные вкусы Бога никому не известны.

У нас, где традиционно все свалено в одну кучу, вовсе не так. У нас запросто могут, громко топая сапогами и размахивая крестами и палками, ввалиться хоть в музей, хоть в галерею, хоть куда наиду-

ховнейшие граждане и погромить божьим именем, но без божьей санкции все то, что, с их просвещенной точки зрения, плохо лежит, стоит или висит.

Подмывает спросить: где же вы все, богомольные вы наши дяденьки и тетеньки, были, когда в моей школе году этак в 1962-м состоялся антирелигиозный вечер, где один мальчик из восьмого “А” довольно топорно изображал толстопузого попа, дурачащего смешливую толстую одноклассницу, наряженную собственной бабушкой, а другой, из седьмого “В”, декламировал не слишком запоминающиеся стишки про опиум для народа. Что-то я вас не видел там, таких неистовых богозащитников с крестами да хоругвями. Что-то не слишком громко возвышали вы свой гневный голос супротив богохульников и святотатцев. А впрочем, вы же там были. Ну ладно, не вы — вас тогда и в помине не было. Но зато ваши духовные предки точно там были. И сидели они там в самом первом ряду. И ржали они громче всех. И хлопали они в ладоши до полного изнеможения.

И сегодняшнее ваше погромное благочестие имеет отношение к христианству ничуть не боль-

шее, чем советская идеология — к марксизму. Вам ведь, главное, дай только что-нибудь поносить да погромить: хоть церковь, хоть выставку, хоть что.

“Дегенеративное искусство” широко известно на Западе. Но и нам тоже есть чем похвастаться в этой области. У нас есть свой сталинский “сумбур вместо музыки”, свои хрущевские “пидарасы” и свое “искусство принадлежит народу”.

Когда художника третируют по эстетическим мотивам, каковые невежественной властью (или невежественным обществом) воспринимаются как этические, это очень неприятно для художника-человека, но очень лестно для художника-художника. Это как раз и есть признание. После первого ареста и последовавшей после него высылки Мандельштам не без гордости сказал своей жене, что вот, мол, как в нашей стране уважают поэтов — за стихи убивают.

Всяческие давления и гонения для развития искусства чрезвычайно полезны. Гонители и даватели оказывают искусству большую услугу, хотя вовсе не ту, каковая входит в их намерения.

В 1970-е на фоне партийно-гебешной давилки возникали и реализовывались самые головокружительные художественные идеи. И если бы я был только художником, а не еще и “физическим” лицом со всеми присущими физическому лицу человеческими потребностями, то я бы уверенно заявил, что не было времен счастливее, чем те годы.

Известно, что в советские годы в искусстве разбирались все. Потом на какой-то короткий срок искусство оставили в покое. Было не до него. Главным вопросом было выживание в новых условиях.

Теперь, чуть отъездившись, снова все стали разбираться в искусстве. Особенно в современном. А разобравшись в нем, невозможно справиться с искушением и “разобраться” с ним. А также с художником, галеристом, театральным режиссером, литератором.

Большинство людей живут себе безо всякого современного искусства и в ус не дуют. Но если кого-то это искусство задевает, то надо все же постараться разобраться в его истории и основаниях. Иначе человек ставит сам себя в глупое положение — положение профана, к тому же и агрессивного.

Или в лучшем случае напоминает одну маленькую девочку, которой разрешили однажды посидеть за взрослым столом с условием, что она не будет вступать в разговоры взрослых. Долгое время она мужественно молчала. Но, когда кто-то произнес в каком-то контексте слово “Достоевский”, девочка по-взрослому вскинула брови и светским голосом произнесла: “Достоевский? В первый раз слышу”.

Это смешно и мило, но только лишь потому, что девочке было пять лет и она не была ни епископом, ни секретарем Патриархии по связям с общественностью, ни, на худой конец, министром культуры.

Даже в самых радикальных своих проявлениях общественно опасным искусство не может быть по определению. В противном случае оно уже не искусство, а что-то другое. Войны, погромы и теракты устраивают не художники. Их устраивают, как правило, те, кто ненавидит и презирает свободу вообще и свободное искусство в частности. Искусство, представьте себе, никого никуда не ведет и ничему никого не учит. Его единственный, но чрезвычайно важный урок — это урок свободы.

Искусство не может быть разрушительным, на то оно и искусство. По-настоящему страшными могут быть только сказки и только в раннем детском возрасте. Искусство не может испугать взрослого человека. Оно испытывает общество на вшивость, гражданина на взрослость, а границы (в том числе и границы, отделяющие жизнь от искусства) — на прочность. А границы — это проверено нашим общим историческим опытом — чем прозрачнее, тем прочнее.

## Семиотический прорыв

*Женщина.* Он раб моды. Вот, например, когда в моде было загорать, он загорел до того, что стал черен, как негр. А тут загар вдруг вышел из моды. И он решился на операцию. Кожу из-под трусов — это было единственное белое место на его теле — врачи пересадили ему на лицо.

*Ученый.* Надеюсь, это не повредило ему?

*Женщина.* Нет. Он только стал чрезвычайно бесстыден, и пощечину он теперь называет просто — шлепок.

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ. “Тень”

**К**орни того, что происходит в нашей жизни в последние годы, мы склонны искать то в советских временах, то в эпохе Третьего рейха. Эти аналогии стали общим местом. Но что же делать, если

они непрошено возникают снова и снова. Аналогии эти и вправду очевидны и соблазнительны. Иногда хочется убедить себя в том, что они ничего не объясняют, ибо то, что они объясняют, слишком печально.

Можно сколько угодно цитировать незабвенного доктора Геббельса, и все покажется мучительно знакомым. Ну хотя бы вот это: “Никому нельзя признаваться, что у тебя дрожат коленки, ибо тогда возникает опасность, что тебя возьмут на буксир”.

А еще лучше процитировать немецкого филолога Виктора Клемперера, который все годы правления Гитлера вел дневник, где фиксировал и пытался анализировать мутации, происходящие в языке. Там есть и такая запись: “Ни пафосные речи, ни даже действия нацистов не имели такой силы воздействия, как *язык*: нацизм въедался в плоть и кровь людей через отдельные словечки, обороты речи, конструкции предложений”.

Впрочем, и Геббельс, и весь Третий рейх были давно и далеко. А у нас есть и свое, родное. С одной стороны, может показаться, что рито-



рика советского агитпропа возвращается на наши нефтегазовые просторы во всей своей красе. Она действительно возвращается, но лишь на уровне отдельных словечек и речевых конструкций. Так, наверное, варвары строили свои капища из обломков античных храмов.

Я вот все думал: откуда в небогатых головах совсем молодых “государственников” завелась эта, казалось бы, давно протухшая советская байда? Потом понял. Дело, я думаю, в том, что это самое варево в свое время не удосужились вылить на помойку. Такое бывает со скуповатыми хозяйками. Откроет крышку кастрюли с четырехдневным супом, понюхает, поморщится, а потом возьмет да и поставит обратно в холодильник — а вдруг пригодится, жалко же выбрасывать, ведь старалась же, варила...

Пригодилось, как видим.

Впрочем, это лишь внешние сходства.

Глубинной сутью советской пропагандистской риторики являлось тотальное лицемерие, каковое часто вводило в заблуждение — иногда роковое — западных интеллектуалов гуманисти-

ческой направленности. Лицемерие это стало особенно невыносимым в позднесоветские годы, когда все все начали понимать и когда вся эта риторика стала не более чем навязчивым и бессмысленным этикетом. Но этикетом, за беспрекословным соблюдением которого зорко надзирали многочисленные инстанции. Там, пожалуй, какой-нибудь декан попробовал бы публично брякнуть что-нибудь насчет того, что никакие всеобщие выборы нам не нужны. Посмотрел бы я на такого декана. То есть все знали о том, что никаких выборов нет и быть не может. Но чтобы вслух об этом сказать!

А теперь можно. Нынешние пропагандисты публично изъясняются так, как гебешный следователь изъяснялся с подследственным с глазу на глаз: “Законы здесь не для тебя, сученыш. Законы для меня! Ты у меня тут кровью ссать будешь, понял?”

Фундаментальное отличие советской риторики от нынешней в том, что если в основе первой лежало тотальное лицемерие, то в основе теперешней — столь же тотальное бесстыдство. Это, если угодно, семиотический прорыв.

Надо сказать, что риторика самой власти — особенно в экспортном варианте — отличается от риторики тех, кто доносит до населения ее тайные послания. Сама власть ничего такого не говорит. Она лишь подает сигналы — проговорками про “сортиры” и “соплеживание”, игрой лицевых мышц, интонациями, идущими вразрез с квазицивилизованными лексикой и фразеологией. Власть подает “кому надо” неслышные профану знаки, примерно так же, как это делает цирковой дрессировщик: с помощью невидимого и неслышимого миру свисточка он отдает команду четвероногому артисту. И четвероногие артисты оттягиваются по полной программе.

Они не стесняются. И это их главное и в общем-то единственное ноу-хау. Они не стесняются на голубом глазу и без интонационных хотя бы кавычек употреблять такие категории, как “враги”, “агенты влияния” и прочие пятые-десятые колонны.

Нет, они лично во все это ничуть не верят. Я, как мне кажется, умею вычитывать в текстах не только то, что сказано в них битым словом. Они не верят, это точно. Это просто элемент их пуб-

личного речевого этикета, их, с позволения сказать, дискурса. Это, как они думают, круто и прикольно. Они, как им кажется, таким образом щекочут и без того расшатанные нервы “отстойной демшизы”. Им, видите ли, запаadlo говорить на одном языке с “беспонтовыми папиками”, талдычащими о каких-то, блин, свободах.

“Какие свободы, а! У меня за полгода непыльного офисного сидения образовалась такая тачка, на которую вам, мудачье, не накопить за четыре ваших никчемных жизни. Много вы нажили со своей свободой, лохи и маргиналы? То-то же! Сидите и помалкивайте, пока вас либеральнейший гарант зачем-то еще терпит. Какие, на хер, свободы, вы че! Я в нормальный кабаk телку могу привести? Могу. В ночном клубе оттянуться могу? Могу. Чего вы тут трындите ваще! Картину только портите”.

Я убежден, что те, кто говорит о своих оппонентах как о “врагах отечества” или о “наймитах иностранных спецслужб”, ни на одну секунду в это не верят. И я думаю, что большинство из них люди вовсе не кровожадные. Никому из “врагов” они во-

все не желают реальных неприятностей. Это у них такой полемический прием. Приемчик, я бы сказал.

Помнят ли они о том, что такое уже было, и не раз? В двадцатые годы, когда одни писатели и художники в идейно-эстетической полемике клеймили своих противников как “контрреволюционеров от искусства”, они ничего такого, что началось несколько лет спустя, не имели в виду ни на секунду. А когда все это началось и партия-правительство разобрались наконец-то с “контрреволюционерами”, да и с “революционерами” заодно, было уже поздно.

И знаменитую выставку в Манеже разогнал, в сущности, не Хрущев — руками Хрущева это сделали художники-академики, видевшие в новом искусстве угрозу не искусству вообще, а именно *их* искусству. Власть по части всяческих репрессий не слишком-то инициативна. Она, как это и записано во всех величавых документах, лишь выполняет волю общества в лице его отдельных, особенно рьяных представителей. Так что какие претензии. Народ и партия едины. Это, увы, чистая правда.

Как это ни странно, но поражающее многих публичное, вполне отрефлексированное и сладострастное “постмодернистско-достоевское” бесстыдство нынешних пропагандистов генетически восходит к тем же самым девяностым, каковые в соответствии с нынешней общественной модой третируются как “лихие”. Именно тогда в головах, речах и писаниях разных утонченных натур возникла плодотворная идея о “стратегиях успеха”, где “успех” понимался как абсолютная ценностная категория. Но тогда это не мозолило глаза и не резало слух, потому что в таком взгляде был некоторый резон. Это была интеллектуальная реакция на лицемерный по сути разговор о “непреходящих ценностях”. К тому же в тех дискуссиях речь шла все-таки о стратегиях по преимуществу художественных, а “успеху” еще позволялось быть категорией относительной.

Кстати, и широко распространенное ныне словечко “демшиза” появилось именно в те же годы, причем возникло оно в либеральной среде для обозначения чего-то чрезмерного, оголтелого и безвкусного в пределах самой либеральной риторики.

Но идеи, как известно, обнаруживают способность овладевать массами. И тогда известно что бывает.

Так это что, мода, что ли?

Конечно же мода. Людей, имеющих ясные и глубоко отрефлексированные убеждения, вообще-то крайне мало. Социологическую статистику делает мода.

В поздние советские годы реальных диссидентов были единицы. А вот осторожно издеваться над убогим “совком”, в обстановке непринужденного застолья пародировать специфическую артикуляцию генсека, уважать Америку, ассоциировавшуюся главным образом с “Ливайсом” и “Мальборо”, на выходе с собрания прятать в карман комсомольский значок, ненавидеть советскую эстраду, почитать самиздат, презирать стукачей и комсомольских секретарей было модой, причем вполне массовой.

В шестидесятые годы было модным знать наизусть стихи и слушать джаз. А чуть позже, уже в семидесятые, стихи из моды вышли, а в моду вошли рок-н-ролл, полуподпольные или вовсе под-

польные выставки нонконформистов и всяческая, как правило довольно поверхностная, религиозность.

И именно эта позднесоветская мода на тотальное отрицание всего советского, именно она повлекла тысячи молодых людей к Белому дому в августе 1991-го. Именно эта мода сокрушила коммунистический режим.

А теперь вот *такая* мода. Такая, какая есть. И с этим нельзя не считаться.

Так же как нельзя не считаться с тем, что моды приходят и уходят.

Моды приходят и уходят, но некоторые из них чреватые необратимыми последствиями. Вроде как в том очень старом анекдоте:

— Кать, слышала, говорят, теперь в моде девственность.

— Ой, Люсь, за модой разве ж угонишься!





# **АПОЛОГИЯ ОДНОГО МЕСТА**



## Коммунальное чтение

**Е**сть такая легенда. Когда первое советское правительство перебралось в Первопрестольную, а следом за ним в нее же поперла немереная толпа всякого народа, резко встал так называемый жилищный вопрос. Кто-то из совнаркомовских затейников придумал замечательную идею уплотнения, да и предложил ее на рассмотрение Старикю. Старик задумался, но ненадолго. Потом со своим знаменитым щукинским прищуром сказал “раздумчиво”: “Вы знаете, батенька, сам я человек скорее старых привычек. Я бы не смог, пожалуй, жить в одной

квартире с другими семьями. А товарищи? Что ж, пусть попробуют”. Вот товарищи и попробовали. И пробуют до сих пор.

Коммунальная квартира — не только пространство обитания реального (или полуреального, как это начинает казаться в исторической перспективе) обитания реальных людей, но и постоянно действующая модель чего-нибудь.

На модель деревни коммуналка не тянет, ибо духом пресловутой “общины” она даже и не пахнет. Пахнет она много чем, но никак не общиной.

На деревню больше похожи блочные пятиэтажки, возникшие в тех местах, где еще буквально пять минут тому назад находились настоящие деревни. Да и достопамятная “новая общность людей”, вещь трудноописуемая, но всем понятная, думается, окончательно сформировалась именно там.

Бытовая, образовательная, этническая и даже, если угодно, сословная многоукладность коммунальной квартиры скорее роднила ее со средневековым городом.

Та же теснота.

Та же регламентированность быта.

Там тоже есть рыночная площадь — кухня, где осуществляется товарный и информационный обмен: одалживается луковица до завтра и тройка до аванса. Или: “Вера Сергеевна, что вы добавляете в борщ, что он у вас такой наваристый?”

Соборная площадь — тоже кухня. Роль собора выполняет неумолкаемый репродуктор, через который осуществляется присоединение граждан к абсолютной истине и вечной благодати.

Вечно испорченный водопроводный кран служит по совместительству городским фонтаном. У фонтана разыгрываются сцены, достойные пера.

Есть главная улица — коридор. Поперек него так же протянуты веревки с носками и кальсонами.

Добрососедский мордобой на кухне вполне сопоставим с рыцарским турниром.

Роль тенистой, слегка бутафорской роши, куда в минуты отчаяния убегал обычно плакать и мечтать герой романтической литературы, играет двор. Мечтать и плакать (особенно если ты чувствительный подросток в стадии полового созревания)

можно между сараем и ржавым гаражом, где чахнет трофейный мотоцикл с коляской, принадлежащий инвалиду дяде Коле, баянисту. Баянист дядя Коля мотоциклом не пользуется не только по причине неполного комплекта конечностей, но и в силу отсутствия давно пропитого мотора.

Между сараем и ржавым гаражом всегда свеженакаканно. Еще там показывают глупости. Но и наш романтический герой найдет там достойное своей меланхолии пристанище. Впрочем, это уже *двор* — другой мир, другие проблемы.

Коммунальное бытие определило коммунальное сознание. Коммунальное сознание породило коммунальный миф. Миф со временем стал травестироваться в фольклор, в анекдот, в общее место, в беллетристику, в чтиво. В коммунальное чтиво.

Коммуналка была так же непонятна иностранцу, как и, например, прописка. Иностранцы либо просто не верили в существование того и другого, либо чрезмерно то и другое демонизировали. Один американец в начале семидесятых спрашивал, правда ли, что рабочих и интеллектуалов поселяют вместе для того, чтобы одни других образовывали,

а другие одних воспитывали в духе коллективизма. Он же интересовался, правда ли, что человек, прописанный в Ленинграде, может поехать в Москву лишь с разрешения милиции.

Одного датчанина, которому дал мой телефон другой датчанин, я, не зная, что с ним делать, повел в гости к своему другу. Друг жил в коммуналке. Когда мы шли через завешанный лыжами и детскими корытами коридор, датчанин озирался так, как будто его в бессознательном состоянии завезли в экваториальные джунгли.

Пока мы сидели в комнате друга и пили принесенный датчанином виски, в комнату безо всякого стука два раза заглядывал сосед Николай Николаевич, одетый в женский халат, из-под которого довольно убедительно выглядывали селедочного цвета кальсоны. “Александр Маркович, — спросил он в первый заход, — нет ли у вас случайно клизмы? Ой, у вас гости...” Во второй раз он зашел посоветоваться: “Александр Маркович, как вы думаете, что делать с котятами — утопить или лучше задушить?” Столь экзотические вопросы возникали, очевидно, потому, что друг мой был врач.



В какой-то момент датчанин вышел в туалет, но попал на кухню. Открывшееся его взору количество как рожденных ползать, так и рожденных летать насекомых могло бы вызвать ассоциации с западным изобилием или даже капиталистическим товарным перепроизводством, но, боюсь, вызвало более непосредственные чувства.

До уборной он все же добрался и, если бы умел читать по-русски, имел бы возможность насладиться двумя висящими на стене и написанными крупным детским почерком объявлениями. Первое было выдержано в стилистике первомайских призывов: “Товарищи! Сливайте после себя мочу!” Второе было полакони́чней, но и поэзотеричней: “Больших кусков не бросать!”

Вообще всевозможные надписи в коммунальных сортирах — предмет, изученный куда меньше, чем родственный им фольклор сортиров общественных. А зря. Когда-то я помнил их во множестве, потом стал забывать. Помню, что в чьем-то клозете висела исполненная отчаянья надпись, причудливый акцент которой сообщал ей удвоенную выразительность: “Несци напл”. Я даже не сразу

догадался, что это по-русски. Не память ли о коммунальном детстве продиктовала моему другу поэту Виктору Ковалю его судьбоносное *mot*: “Отправляясь на тот свет, не забудьте выключить этот”?

Всю обратную дорогу до метро датчанин оглушенно молчал. Потом вдруг сделал неожиданный вывод: “Это хорошо, что врач не отдаляется от людей. Люди всегда могут иметь от него помощь. Это прогрессивно”. В том смысле, что врач — человек хоть и богатый, а вот выбрал же не очень-то удобный, но, несомненно, благородный образ жизни. Я потом долго называл своего друга Альбертом Швейцером. А датчанин был, естественно, страшным леваком и очень кручинился по поводу разобщенности и экзистенциального одиночества западных людей.

Население коммунальной квартиры являло собою жесткое демографическое единство, хоть и нарушаемое в частных случаях, но в общем незыблемое.

Кто там жил, вернее, *проживал*? И так..

Обязательно — Клавдия Николаевна, одинокая старушка “из бывших”, потомок первоначаль-

ных квартировладельцев. Занимает одну, но очень привлекательную для детей комнату. Комната напихана старинными вещами и фотографиями усатых мужчин в инженерских или военных мундирах. Есть и расстроенное пианино с бюстиком глухого Бетховена, который почему-то кажется еще и слепым.

Обязательно — учительница, старая дева, страшным образом гнобящая Люську — девушку прямо противоположного типа сексуального поведения.

Обязательно — еврейская семья. Бабушка, уроженка города Гомеля, говорит с сильным акцентом. Папа, инженер-путеец, говорит с легким акцентом. Мама. Яркий халат. Плохие отношения как со строгой учительницей, так и с блядовитой Люськой. Но снисходительно относится к тихому алкоголику Жене — человеку без возраста, любителю стихов поэта Есенина и, в редкие минуты трезвости, мастеру на все руки. Дети. Мальчик Веня играет на скрипке, но мечтает о подвигах. “Подвиги-шмодвиги, — говорит бабушка, — ты хочешь вырасти бандит? Так

так и скажи. Подвиги! Азохнвэй! Твой дедушка не имьел никакие подвиги, а все с ним советовались, как и что”. Девочка Ира учит математику, а мечтает о театре. Хотя какой там еще театр с ее-то задницей?

Обязательно — семья отставного летчика с Украины. Веселые, шумные родственники, сплошной чередой прибывающие “с Запорижья” и живущие месяцами. Два сына — умный и дурак. Умный ходит в библиотеку и все время куда-нибудь готовится. Дурак — голубятник и курит между сараем и ржавым гаражом. (См. выше.)

Обязательно — рабочий-метростровец. Его никто никогда не видит, так как он работает по ночам, а днем спит. Впрочем, однажды его видели едящим. Поверх огромной эмалированной миски с гречневой кашей были кружочком наложены шесть или даже семь котлет. Все это великолепие было неторопливо и в полном молчании съедено. Жена — крашенная лахудра с невероятно противным голосом. Дочь — сопливая ябеда с крысиными глазками. Потом, говорят, стала депутатом районного совета.

Обязательно — вдовый Розенцвейг, бывший юрисконсульт и тенор-любитель. Теперь — комический старик с “Вечеркой” в руках и вечно растегнутой ширинкой. Забывает выключить чайник. Чайник выкипает. Скандал: “Яков Аронич, вы же тут всех нас сожжете, к херам собачьим!” Видно, что бывший ходок и вообще “пожил”. Ведет долгие телефонные разговоры с сестрой Фирой. Тон слегка раздраженный: “Фирочка, давай договоримся — воспитывать ты меня будешь в следующий раз!” Выразительно-беспомощный взгляд в сторону проходящего мимо милиционера Толи.

Обязательно — милиционер Толя. “Сам с Алтая”. Жена — тоже “с чего-нибудь” — держит его в ежовых рукавицах — типа ревнует. Очевидно, поводы есть. Бреясь на кухне перед замасленным зеркальцем, он приговаривает: “Ну, если я не парень, то девки зажрались”. А так вполне даже добродушный человек. Детей либо нет, либо есть, но какие-то незаметные.

Обязательно — Нюрка. Работает посудомойкой в пельменной. К ней приходят “миленки”. Некоторые из них даже не доходят до Нюркиной

комнаты и засыпают прямо посреди коридора. Яков Аронич, имеющий обыкновение выходить ночью пописать, вечно спотыкается о какое-нибудь молчаливое тело. С Нюркой в какой-то момент приключается белая горячка. Начинается все с того, что она долго и с умилением наблюдает на никелированной поверхности Клавдиноклавниного кофейника трех танцующих генералов. Нюрку кладут *подлечиться*, и Розенцвейг временно не спотыкается.

Обязательно — бывший энкавэдэшник с какой-нибудь прибалтийской фамилией. Одинок, молчалив, сед, подтянут, загадочен. Его, естественно, побаиваются. Он долго чистит ботинки, потом идет играть в шахматы на бульвар.

Обязательно — разбитной студент Алик. Родители в какой-то перманентной командировке. Допустим, в Китае — все тогда были в Китае. Из-за дверей комнаты доносится какая-то нескончаемая бесамемуча. Занимает тридцатку (старыми) у доброй Люськи. Донимает учительницу Окуджавой. Где учится, неизвестно. Скорее всего — нигде.

Обязательно — две сестры: Татьяна Дмитриевна и Ольга Дмитриевна (понятное дело, “Евгений Онегин”). Они очень тихие. Тихие они по вполне объяснимой причине: обе глухонемые. Но это днем они тихие. По ночам же они затевают плановые уборки мест общего пользования, страшным образом грохоча тазами и ведрами. Объяснить им, что шум может мешать и вообще что такое шум, невозможно. К ним, впрочем, относятся снисходительно. Во-первых, все-таки как бы инвалиды. Во-вторых, они портнихи, и к тому же добрые. Каждый жилец ко дню рождения что-нибудь получает — сатиновые шаровары, фартучек с эмблемой Московского фестиваля молодежи и студентов. Игривая фестивальная ромашка вызывает паразитические ассоциации, ибо расположена на том же месте, какому обычно присущ фиговый листок.

Обязательно — женщина Саида. Работает уборщицей в нашей школе. Сын Ринат учится в училище Большого театра. Он — законная гордость квартиры: его два раза показывали по телевизору в правительственном концерте. Вечером

Саида выпивает два стакана “Трех семерок”, после чего неверными шагами входит в кухню и кричит: “Ринатик, стул позови!” Положительный Ринатик зовет стул, Саида водружается на него и долго рассказывает что-то, постепенно переходя на татарский. По татарским праздникам — очень вкусные беляши. Или, может быть, это теперь так кажется, что очень вкусные. И вообще все кажется и вспоминается не вполне так, как было на самом деле. Беллетризация памяти? Защитная реакция? Пятна времени?

Ну и обязательно — все остальные, за исключением всех прочих.

Коммунальная кухня являет собой самодостаточное коммуникативное пространство. Там на фоне несмолкаемой радиоточки идет столь же несмолкаемый разговор, обладающий широчайшим диапазоном тематических и стилевых характеристик. Разговор обо всем. Большой Разговор, нередко чреватый спонтанными действиями его участников.

Этот Разговор лег в основу нескольких работ художника Ильи Кабакова. Одна из них —



работа, называемая *“Ольга Георгиевна, у вас кипит”*, — представляет собою бесконечную череду совершенно разрозненных и абсолютных по аутентичности речевых жестов, производимых коммунальным телом коммунальной кухни. Например: *“Вера Яковлевна, не лейте в помойное ведро ничего, от этого и запах, и зараза всякая. Ой, я сказала — в помойное? Совсем сбилась с толку — мусорное! А в помойное, конечно, лейте, оно для того и поставлено, а очистки и бумаги — в мусорное...”*

Что его инспирировало, понятно. Поднимаясь по лестнице в его мастерскую на седьмой этаж знаменитого дома акционерного общества “Россия” на Сретенском бульваре, можно было послушаться из-за дверей чего угодно. “Это ты адвокат? — услышал я однажды. — Мудила ты, а не адвокат! Понял?”

Коммуналка и искусство — вообще тема отдельная и практически неисчерпаемая. Коммунальные квартиры, появившись в жизни, сразу же появились и в литературе. Зощенко, Булгаков, Хармс, Ильф и Петров, исходя из разных, иногда

принципиально разных, эстетических позиций и преследуя разные художественные цели, явили-таки нам “яркие образцы”.

Наиболее чуткие из писателей поняли, что коммунальная квартира — это и есть новая общественность, а стало быть, и новый язык. Такие новорожденные лексические ублюдки, как “управдом”, “ответственный съемщик”, “жировка”, “жакт” или “мы поставим вопрос о выселении”, уверенно вперлись в литературный язык, “уплотнили” его, заняли в нем “жилплощадь”. Коммунальная квартира еще до колхоза и ГУЛАГа явила собою универсальный знак того, как утопия стремительно мутирует в антиутопию.

Потом — кино. В кино сталинского времени коммуналки как-то не замечалось. Герои проживали либо в скромных, но опрятных рабочих поселках, либо в добротных деревенских избах, либо в необъятных профессорских квартирах со стеклянными дверьми и видом на Спасскую башню. Коммуналки с комическими чудаками учеными, оставляющими свои очки в самых неподходящих местах, сердечными простонародными бабушками

с бездонной тарелкой новоиспеченных пирожков и вредными, вечно подслушивающими под дверь тетками в бигудях появились уже в шестидесятые, а появившись, никак не могли исчезнуть.

И не могут исчезнуть до сих пор. Из искусства, из памяти, из жизни.

## Да не оскудеет, или Четыре в самый раз

**П**росить надо уметь. Это, между прочим, искусство, а не что-нибудь еще. Хочешь получить подаяние или грант на проведение конференции по червякам — старайся.

А то войдет какая-нибудь в вагон метро и изнурительно заблажит: “Извините, что мы к вам обращаемся... ночуем на вокзале восемь человек”. Это плохо и малоперспективно. Надо как-то побогаче интонировать, что ли. Нельзя принижать роль интонации. Это недальновидно. Нельзя так ужасно ныть на одной ноте. Это раздражает. И во-

обще, надо вносить в свою работу элементы индивидуальности. Живинка нужна. Человечинка. А то какой-то получается типовой проект. Блочная пятиэтажка. Отказать.

Типовые проекты в этой области человеческой деятельности были и раньше. Есть они и теперь. В моем детстве, например, ходили по вагонам электричек и пели. Пели, как правило, очень неприятно. Я, пока не привык, все время плакал, причем не от жалости. Теперь в электричках предлагают кроссворды и зажигалки для газовой плиты, а вымогают в метро. Слава богу, не поют. Зато все беженцы или на худой конец погорельцы.

Бывают исключения. Когда в вагон входит пожилая дама, держа в вытянутой руке табличку, где написано: “Горе. Спасите” — и при этом молчит, тут не до анализа мотивов и не до жанровых классификаций. Надо давать и не рассуждать.

Еще, помню, в семидесятые на улице подходили с приятными выражениями лиц молодые люди и, симулируя “прибалтийский” акцент, рассказывали, как их обокрали и как у них нет денег на проезд “до Таллин”. Вы ему дайте, “пожалуйста,

теньги на билет”, а он вам сразу же пришлет почтой. Кто на это покупался, непонятно. Я нет, как минимум потому, что был хорошо знаком с эстонским акцентом. Играли они плохо. И если их перформансы проваливались, то поделом.

Особый род уличных соискателей — это алкаши. Они были всегда и всегда на разные лады канючили. У меня как у спонсора честные всегда котировались гораздо выше, чем вруны, просящие на учебник для сына. Эти папы карлы были жалки, жалкими были и их неталантливые легенды.

Но и среди честных бывают разные. Есть грубые и необоснованно требовательные. Один недавно подвалил и просто сказал: “Давай пятерку”. Ага. Ща прям. Деревня маленькая, а нищих много, как любит говорить один мой знакомый. Другой был полюбезнее, но все равно обидел. Он сказал: “Отец, выручи!” Вот, думаю, сынок отыскался. Радость-то какая! А я уж и не чаял тебя встретить, сыночка ты моя родная! Жаль, что ты выглядишь раза в четыре старше меня, а то бы я конечно. Я бы мигом. А так нет. Ищи другого папашу. Я пошел.

То ли дело веселый, доброжелательный алкаш, который подошел ко мне и, видимо итожа какую-то напряженную внутреннюю калькуляцию, сказал деловито: “Четыре рубля будет в самый раз”. И тут же получил пять. Потому что молодец. Потому что надо быть оптимистом и смотреть на мир широко открытыми глазами.

Впрочем, это я только делаю вид, что такой бывалый и такой тонкий психолог. Нагревают меня время от времени, и, по-видимому, правильно делают. Я вот недавно улетал куда-то из Шереметьева. А там около очереди в таможенный контроль ходит тетка с настоящими мхатовскими слезами на глазах и, размахивая какой-то справкой с печатью, говорит, что убили у нее позавчера мужа и что не на что уехать домой. Помогите, мол, кто чем может. Реагируют в очереди кто как. Я, например, даю ей рублей пятьдесят, после чего некоторое время вплоть до общения с таможенником чувствую себя человеком. Но так получилось, что буквально через пару недель после этого я опять лечу куда-то из Шереметьева, а там опять та же тетка, та же телеграмма и тот же муж. И главное, то же самое позавчера.

Что же это, думаю, такое? Так ведь не напасешься ни денег, ни мужей. И вообще противно, когда из тебя делают идиота. Впрочем, потом, уже в самолете, чуть поостыв, я подумал: “А что, если бы убили на самом деле, мне бы лучше было? Или как?” Вопросы я так и не решил, а решил почитать, для чего раскрыл на каком-то месте записные книжки своей любимой Лидии Яковлевны Гинзбург. А там сразу же и прочел: “Мы подаем нищему две копейки и говорим при этом: кажется, он вовсе не слепой, он симулирует. Человек хочет, чтобы за его деньги нищий был действительно слеп и безрук. Между тем стоять на улице и просить подаяние, симулируя слепоту, приятнее, чем быть на самом деле слепым, но ненамного. Это тоже стоит двух копеек и нашей никчемной жалости”.

Если бы я смог написать так же, то этим бы и закончил.



## Танцы от печки

**О**т печки, как известно, танцуют. Как в прямом, так и в переносном смысле. Печка — это центр и суть русского жилища. Ею не только обогреваются. В ней не только варят щи и кашу. Печка — вожденное прибежище романтических мечтателей и творческих натур, в просторечии грубо именуемых лодырями и лежебоками. Главный фольклорный воин, причисленный впоследствии к лику святых, провел на печке лучшие годы своей жизни и, если бы не будильник системы “Соловей-разбойник”, валялся бы там до сих пор. Главный

фольклорный Емеля — предтеча всех кулибиных и ползуновых вместе взятых, умело воспользовавшись плодами своих ихтиологических экспериментов, научил печку передвигаться в пространстве. Это был прорыв.

Укорененный в наших широтах глубинный утопизм как общественного, так и индивидуального сознания не только в том, чтобы в мечтах своих использовать печь не как роскошь, а как средство передвижения. Специфика его еще и в том, что мы все никак не можем с последней прямо-той признать тот проверенный веками факт, что в России вообще-то, как правило, нежарко. В том смысле, что иногда бывает холодно. То есть практически всегда. Ну ладно, не всегда. Ну хорошо, часто.

Не потому ли наступление холодов всегда воспринимается как сногшибательная сенсация, что-то вроде снегопада в Джакарте или наводнения в Сахаре?

Есть два сезонных бедствия, падающих на наши непокрытые головы, как метеориты. Эти бедствия — урожай и зима. Какой урожай? От-

куда? А мы что, что-нибудь сеяли, что ли? И начинается кровавая “битва за урожай”. Зима? Как, опять? Жили себе спокойно, понимаешь. Зима, видите ли. Топить? Так уже в прошлом году топили. Ничего себе — топить... Ну ладно... Колян, вставай. Тут пришли, говорят, топить надо, зима там у них какая-то...

В общем, граждане в отношении неизбежной, казалось бы, смены сезонов, как правило, легкомысленны, как таитяне. Но есть, слава богу, каста жрецов, призванных отслеживать процесс, готовить сани летом, ждать зимы с открытым забралом. Эта каста раньше называлась, допустим, партхозактивом, а теперь зовется какой-нибудь там управой. Раньше партийные газеты писали гневные заметки под названиями “Зима строго спросит с бесхозяйственников”, а безрассудный бунтарь Сергей Михалков в своем бескомпромиссном “Фитиле” едко прохватывал тех же самых незадачливых бесхозяйственников, смущенно и невнятно бубнящих что-то про то, что “смежники не завезли трубы”. “Мы обратились к смежникам”, — не унимался ехидный “Фитиль”. “Трубы были доставлены еще

в прошлый месяц”, — кося в сторону, клялся смежник. “Иван кивает на Петра, — эпически резюмировал довольный собою “Фитиль”, — Петр — на Ивана. А воз, как говорится...”

С тех пор изменились в основном лишь лексика и фразеология фельетонистов, что в условиях нашей литературоцентристской цивилизации уже немало.

Мы же продолжаем танцевать. Иногда от веселья. Чаще — от холода. И всегда от печки.

## На железной дороге

**Р**усская дорога грустна — это мы хорошо усвоили из нашей классики. С тех пор — по крайней мере в этом смысле — изменилось немного. Особенно же печальна дорога железная: то ли потому что “по бокам-то все косточки русские”, то ли еще почему. Железная дорога — это ландшафтный разрыв, разрез по живому. Вдоль железной дороги проходит так называемая полоса отчуждения — хорошую вещь так не назовут. Бесприютность этой самой полосы особенно наглядна на фоне всяческой природы — лесочков да ручейков. Глядя из окна того или иного

вагона, задаешься вопросом: ну почему они, эти несурзные люди с пластиковыми стаканами в натруженных руках, расположились именно здесь, на запыленном пригорке рядом с грохочущими поездами? Вон же рядом шелестит относительно свежей листвой роща с парой-тройкой местных соловьев. Но нет, распивающая на пленэре публика рефлекторно ищет места самые нежилые — желательно на юру, желательно на пыльном солнцепеке и желательно в непосредственной близости от мусорного контейнера или на худой конец трансформаторной будки.

Мне кажется, что это каким-то неявным образом связано с вечной проблематикой греха и добродетели. Это, видимо, проистекает от бессознательной убежденности в том, что ты в данный момент занят делом несправедным, небогоугодным, а потому не достоин ни уюта, ни покоя. Это, если угодно, аскеза.

В дороге грустно. Но всего грустнее бывает в дороге, когда оказывается, что совсем нечего почитать, кроме тянущихся за окнами заборов. Но этот род словесности слишком традиционен

и чересчур монотонен для наших с вами возросших за последние годы интеллектуальных потребностей. А читать приходится, ибо мы с вами безнадежные логоцентристы и читаем, коль случается, даже обрывки прошлогодних газет, наколотые на гвоздь в пристанционном клозете.

Так. И что же пишут? Да все то же. Бетонные заборы вдоль железнодорожного полотна, как это уже давно и хорошо известно, традиционно служат носителями либо “народно-патриотического”, либо леворадикального типа общественного сознания.

Ладно, поехали. “АКМ” — понятно. “НБП” еще понятнее. “РНЕ. Пора”. (Пора, не пора, я иду со двора.) “Жириновский — наша надежда”. Отлично. Отлично, что мы все еще не дожили до той жизни, когда этот лозунг стал бы восприниматься всерьез. В общем, отдел политики торопливо пробежали, пошел отдел экономики. Там мы читаем: “Возьми кредит — стань рабом”. Слегка пожившись, едем дальше. А дальше видим: “Менеджеры — слуги дьявола”. Так, мистический элемент нарастает. Дальше.

А дальше нас подстерегает надпись, на которую ушло, кажется, никак не меньше полутора ведер сурика. Выделяется она среди прочих не только своими грандиозными размерами и не только стилистическими характеристиками. Очевидно, что за всем этим стоит ненадуманная человеческая драма, одна из тех, что столь характерны для переживаемого нами периода дикого капитализма и грабительской приватизации. Короче говоря, надпись такая: “РИЭЛТОР КУЗНЕЦОВ — МЕРЗАВЕЦ”.

Казалось бы, вот он апофеоз. Но нет — это всего лишь ложная, хотя и эффектная концовка. Да и не может закончиться все это на столь очевидной ноте, потому что метафизика, эзотерика и мистика русской дороги должны же что-то выдать нам напоследок.

Они и выдают. На свежевыкрашенной (что существенно) стене какого-то гаража начертано: “Маляры — суки”. Недовольный заказчик? Как-то вряд ли. Нет, тут явно потрудился откинувшийся с зоны бывший ницшеанец Родион Раскольников, нераскаявшийся и озлобленный на весь



белый свет. Я был бы в этом полностью уверен, если бы через несколько метров обнаружил бы что-то вроде того, что “Порфирий — козел” или, допустим, “Сонька — блядь”. А поскольку ничего этого я не обнаружил, то гипотеза осталась гипотезой. Если и дальше разворачивать нашу и без того развернутую “газетную” метафору, то это вроде бы отдел культуры.

Впрочем, проехали. Заборы и гаражи иссякли, и, как писали старые писатели, потянулись перелески. А на их фоне поближе к полотну железной дороги притулились уже упоминавшиеся граждане со стаканами в руках. Это, видимо, отдел досуга. Не спорта же. Дальше пошла погода, вследствие чего окна залепило густым дождем и всякая видимость исчезла. Хотелось бы закончить чем-нибудь более или менее оптимистичным. Например, тем, что если дорогу уметь читать, то она не так уже и грустна. Да нет, что-то не получается — грустна дорога.

## Воздушная тревога

**С**кажу честно, хотя стыдиться особенно нечего: я очень боюсь летать на самолетах, несмотря на то что делаю это довольно часто. Ну не научился я не бояться, не получилось до сих пор. Боюсь всякий раз. Боюсь и летаю. Летаю и боюсь.

Но все это мое поднебесное малодушие можно считать безрассудной отвагой по сравнению с чувствами, испытываемыми во время полетов одним моим добрым знакомым.

Как-то раз мы летели вместе. На протяжении всего полета он сидел в кресле, глядя перед со-

бой ничего не видящим взглядом и не откликаясь ни на какие попытки завести хоть какой-то разговор. Молился? Не знаю. Может, молился, а может, и нет, но в любом случае был крайне некоммуникабелен. Поняв, что непринужденной дорожной беседы не будет, я воткнул в уши наушники и стал слушать музыку.

В какой-то момент спутник, не оборачиваясь в мою сторону и продолжая вглядываться во что-то видимое ему лишь одному, спросил:

— Ты что слушаешь?

— Моцарт. “Реквием”, — с преступной, как выяснилось, беспечностью ответил я.

— Выключи немедленно! Ты что вообще! — заорал он на весь самолет.

Я выключил и завел другое. Через какое-то время он снова поинтересовался:

— А теперь что?

— Утесов, — говорю. — Это можно?

— Это можно. Дай мне тоже послушать.

Я услужливо воткнул в его ухо одну из пупочек своего наушника, и в ту же минуту мы оба услышали: “Мы летим, ковыляя во мгле. Мы летим

на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле”.

— Смерти ты моей хочешь, что ли?! — завопил мой попутчик, да так, что полсамолета обернулось в нашу сторону.

Впрочем, уже хотя бы потому, что я пишу эти строки, а вы их читаете, можно заключить, что мы все же долетели.

Этот мой знакомый, конечно, особый случай, но и я не из последних в этом смысле. Впрочем, едва ли не пуще самих полетов, взлетов и посадок я боюсь всяких сопутствующих обстоятельств — боюсь опоздать в аэропорт или забыть дома билет, боюсь перепутать время или не туда приехать, боюсь влезть не в тот самолет и улететь не в ту сторону. Это называется транспортный невроз, я знаю.

Относительно недавно, в конце прошлого года, мне от души потрепала нервы доблестная авиакомпания *Finnair*, с которой я связал свои надежды попасть в установленный срок в город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.

Лететь пришлось двумя рейсами — из Москвы до Хельсинки, а оттуда уже собственно

в Нью-Йорк. До Хельсинки я долетел, что называется, мухой, даже не заметил как. Прилетел, побегал по аэропорту, нашел следующий самолет, сел в него. Сажу, жду, смотрю на часы. Время трогаться. Не трогается. Пять минут не трогается, десять, двадцать. Тронулся наконец.

Тронувшись, он мучительно долго, в полном соответствии с фольклорными представлениями о взрывном финском темпераменте, ползал по взлетному полю. Если бы я не был уверен в том, что для того, чтобы достичь Нью-Йорка, требуется пересечь океан, я бы решил, что пилот из соображений экономии горючего собрался доехать до аэропорта Кеннеди по земле. Причем со скоростью неторопливого пешехода.

Но нет, не собрался, потому что, поездив-поездив по разнообразным дорожкам с издевательски подмигивающими лампочками по бокам, самолет встал как вкопанный. Тут голосом пилота заговорила радиотрансляция. Сначала было сказано что-то по-английски. Я и без того с английским языком нахожусь не в самых, мягко говоря, близких отношениях, но жуткий акцент

говорившего похоронил мои последние надежды на осознание текущего момента. “Мне кажется, что, если бы он сказал что-нибудь по-фински, мне было бы понятнее”, — успел подумать я, и в этот же момент он действительно заговорил по-фински. И мне действительно стало кое-что понятно. Хотя то, что стало мне понятно, никаким образом не объясняло, почему же мы все-таки никуда не летим.

Начал он примерно так: “Пайка сайки на кой-коместо. Тесто из какки и коитус в кой-то веки”. “Ну при чем тут это? — думал я, внимая интересной, но крайне бесполезной в данном случае информации. — А взлетать-то кто будет, Пушкин?”

В какой-то момент в неспешном речевом потоке пилота возникло слово “тэкника”, и я как-то сразу понял, что сейчас начнут что-нибудь чинить. При слове “тэкника” все прочие пассажиры почему-то окончательно успокоились и даже заулыбались, достали свои финские газеты и принялись синхронно ими шелестеть. А по гулким наружным звукам, напоминавшим удары кувалды, я окончательно понял, что да — “тэкника”.

Покуда снаружи кто-то яростно дубасил по самолету, внутри стали разносить еду. “Ага, — смекнул я, — вот вам и пайка сайки. Тесто из какки”. Съел я не без объяснимой нервозности свою пайку, запил минералкой, а самолет все стоял и стоял, а пассажиры с просветленными лицами все шуршали и шуршали своими газетами.

В какой-то момент “тэкнику” с помощью кувалды все-таки устранили. Я это понял по тому, что самолет нервно вздрогнул, слабо зашевелился, а голос в репродукторе вновь сообщил что-то про “коитус”, но уже существенно бодрее.

Потом самолет снова неторопливо — видимо, чтобы не терять лица, — поездил туда-сюда по бескрайним просторам международного аэропорта Вантаа и “в кой-то векки” все же поднялся в воздух.

Всю дорогу меня не покидали тревожные мысли о “тэкнике”: вдруг она как-нибудь проявит себя и в воздухе. Но нет, обошлось, мы прилетели. Часа на три позже, но кто считает. Ура, как говорится.

## Уроки литературы

**Р**аньше считалось, что Россия — страна литературоцентричная. Так оно и было. Литература действительно во все времена служила единственным клеем, с помощью которого осуществлялась зыбкая связь времен. Она занимала то место, где у других бывает история. История тоже существовала в России, но она всегда была в большей степени литературой, чем наукой.

Оживленный обмен цитатами из классики внутри культурного сообщества был не только символическим капиталом: цитаты и аллюзии служили



паролями-отзывами, допускавшими людей в это самое сообщество. Существовала еще такая штука, как “воспитательная роль литературы”. Школьная литература сильно напоминала кладбище, где по правую руку располагались могилы положительных героев, а по левую — отрицательных. В отдельном ряду нашли вечное упокоение лишние люди. На одной могиле было написано, допустим, что-то вроде того, что “Здесь покоится прах Татьяны — яркой выразительницы русского национального характера”. На другой — “Здесь лежит Эмма Бовари — жертва лицемерной буржуазной морали”. На третьей — коротко: “Кн. Л. Н. Мышкин, идиот”.

На образцах русской и мировой литературы, на примерах литературных героев, их мыслей, чувств и поступков усиленно воспитывали юношей, обдумывавших житье.

Смотрите, дети, какие смешные гоголевские чиновники. Не будьте такими. И такими безвольными рохлями, как Обломов, не будьте. И такими скупердяями, как Плюшкин, не будьте. И топорики под пиджачком, как Раскольников, не прячьте.

И не хвастайтесь, как Хлестаков. И не разговаривайте так же смешно и коряво, как герои Зощенко.

А будьте как Дубровский, как Павлик Корчагин или на худой конец как Андрей Болконский. Как Данко с сердечной мышцей в руке. Как Ниловна в растрепанном платке. Как Ихтиандр с тресковыми жабрами. Как Штирлиц в ладно пошитом эсэсовском мундире. А если вы и заснете невзначай на уроке литературы, то пусть вам приснится четвертый сон Веры Павловны. Проснетесь как ошпаренные и впредь не заснете.

Одна моя приятельница рассказывала, как ее мама, школьная учительница, чуть что говорила: “А Наташа Ростова бы так ни за что не поступила!” А когда в доме дочери стали появляться те или иные молодые люди, мама говорила: “Конечно, не Андрей Болконский, но милый мальчик, воспитанный”. Благо что и девушка была Наташей. А потом, кстати, и замуж вышла за Петра. Ненадолго, впрочем.

Так или иначе, но за неимением иных надежных моральных императивов именно литература и ее персонажи служили хоть какими-то поведен-

ческими ориентирами. Не Моральный же кодекс строителя коммунизма принимать во внимание, сами подумайте. Не Законы же юных пионеров! Не Нагорную же проповедь! Только этого еще не хватало!

Теперь стало считаться, что литературоцентризм сошел со сцены, уступив место вовсе не гуманитарному прагматизму. Мне кажется, что это не вполне так. Литература по-прежнему правит бал. И на ее образцах тоже учатся. Хотя и другому.

Пришло интересное поколение властной и окол властной публики, которое, так же как и его советские предшественники, действует по беллетристическим образцам. Но их поведенческие модели и поступки ярчайшим образом демонстрируют относительность, условность и амбивалентность навязанных, как пионерский галстук, но не вошедших в состав крови нравственных категорий. Обнаружило свою окончательную несостоятельность фундаментальное, казалось бы, деление литературных героев на положительных и отрицательных. Видимо, перекормила нас всех советская школа образами помещиков и лишних людей.

Те, прежние, были не лучше, разумеется. А в чем-то и похуже. Но они страх как маскировались и скрывали свое постыдное родство со всеми гадами, подлецами и кретинами, каковыми кишела мировая классика.

Поэтому так ревниво следили они за тем, чтобы где-нибудь в печати, на сцене или на экране не появилось бы что-нибудь про них. А про них было много чего, начиная с “нестандартного” режиссерского прочтения “Горя от ума” и кончая шварцевским “Драконом”. Начиная с Чаадаева и кончая Шаламовым.

С классикой у них были непростые отношения. С одной стороны, они не без насильственности насаждали ее, утверждая таким образом свою историческую легитимность. С другой стороны, она им страшно мешала своим неуживчивым вольнолюбием и старорежимными представлениями о свободе и личном достоинстве. Потому они так яростно конопатили щели, через которые мог просочиться враг. Но враг, разумеется, просачивался, потому что конопатили они так же бездарно и халтурно, как делали все остальное. Они пытались

покрыть всю общественную жизнь одним куском рогожи. Но рогожа была изначально дырявой, а со временем становилась все дырявее и дырявее. А ведь лишь сквозь эти дырки проникал и свет, и воздух.

У нынешних нет никакой нужды чего-то запрещать. Потому что все это к ним не имеет никакого отношения. Это все не про них — так они думают. И правильно думают. Они взяли и поменяли знаки, став таким образом абсолютно неуязвимыми для всяких там “жал сатиры” и “обличений свинцовых мерзостей”. Это и есть их ноу-хау.

Почему это не брать взятки, как бы говорят они. Вот городничий же брал. И давал. Ах, он смешной и нелепый? Во-первых, ну и что? А во-вторых, это не он нелепый, а нелепый тот, кто проносит мимо кармана. А если городничий чем-то и нелепый, то только тем, что так позорно лоханулся.

Они как бы говорят: “А чего тут плохого-то. Нормально. А если вы такие умные, то чего ж тогда вы такие бедные? Помогли вам “ваши ляхи”, ваши гоголи-моголи? То-то. А нам помогли.

Сатира, говорите? Салтыков, говорите, Щедрин? “Город Глупов”? А че, нормально мужик все написал. Так и сделаем все. Антиутопии? Ну-ка давайте сюда антиутопии, ща поглядим, что за такие антиутопии. Оруэлл? А чего? Правильный пацан. Доступно объяснил, что пиплу можно впаривать все наоборот. Чего тут плохого-то? Чего стыдного-то? Стыдно лохом быть, а тут-то чего? Прикольно? Прикольно. Простенько? Простенько, да только ты поди придумай. А мы вот дотумкали”.

Дотумкали, это правда. И это надо признать.

Разница между теми и этими не только в том, что карманы первых были набиты “идеями”, сильно мешавшими при ходьбе, а в карманах у вторых нет буквально ничего, кроме разве что двух-трех кредитных карточек. Разница еще и в том, что первые были духовными потомками провинциальных гимназистов-второгодников, в головах которых среди беспорядочного вороха трескучей революционной фразеологии застревали там и сям отдельные цитаты из “Онегина” и “Русских женщин”. А нынешние ведут свою родословную от тех блатарей тридцатых годов, которые постигали ми-

ровую культуру с помощью врагов-троцкистов, за баланду и хлебную корку “тискающих романы”, то есть пересказывающих языком, понятным клиенту, “Одиссею”, “Фауста”, “Капитанскую дочку” и “Анну Каренину”.

И теперь они могут сказать: “Нам нереально поперло, пацаны, если вдуматься. В эти, как их, лихие девяностые всякие америкосы относились к нам серьезно, вроде как к своим, только отстающим. Ну и предъявы, понятно, были другие. Крутись тут как хочешь. А щас, короче, на нас смотрят как на психов со справкой, у которых в подполе залежся солярки, а в сарае булава, которая, если что, полетит на кого бог пошлет. Оно им надо? Правильно, не надо. Вот пусть и утрутся. И все нам можно, короче. Вот один датский принц — мне рассказывали — тоже косил под психа, дурака включал. Валил кого хотел — и ничего. И все ему, короче, с рук сходило. Что? До поры до времени? Ну, так подставляться не надо, голову надо иметь, понял?”

Как не понять.

## Разрешите обратиться

**В** самом начале девяностых годов, годов великого перелома во всех сферах общественной и культурной жизни, я наблюдал такую сцену. На троллейбусной остановке стоял пьяноватый мужичок и орал на всю улицу, обращаясь неизвестно к кому. “Господа-а! — с неизъяснимым сарказмом в голосе блажил он. — Тоже мне господа объявились! Ха! Господа! Какие вы, на х..., господа! Я таких “господ” на х.. вертел!” Что и кого конкретно он имел в виду, было не вполне понятно, хотя основной пафос его ко-



роткой, но яркой речи был в общих чертах понятен и в общем-то объясним.

Новые времена требовали не только новой этики, но и нового этикета. Этикет никак не складывался. Не сложился он, прямо скажем, и по сю пору.

Октябрьская революция, уничтожившая сословия, заодно истребила и сословную речевую этикетность. “Судари” и “барышни” исчезли как классово враждебные. А наряду с республиканско-революционными “гражданами” и “гражданочками” в городах вместе с наплывом крестьянского элемента обрели хождение патриархально-общинные “мамаши”, “бабули” и “сынки”.

Особняком стояло обращение “товарищ”. “Это слово гордое “товарищ” нам дороже всех красивых слов”, — пелось в песне Дунаевского на слова Лебедева-Кумача. “Тамбовский волк тебе товарищ”, — кричал, размахивая наганом, румяный следователь разоблаченному врагу народа, вчерашнему товарищу. Особенно ужасно звучало это обращение применительно к лицу женского пола. В революционную пору с ее манифестацией

всяческой романтической мужественности “товарищ Ольга” звучало даже как-то свежо. Но постепенно коротко стриженный женский “товарищ” в потертой кожанке мутировал до “товарищ Парамоновой” в строгом райкомовском костюме и с высокой прической. Суровый и аскетический советский “товарищ”, сохранившись лишь в армии и полиции, из нынешнего обихода все же исчез. И, надо сказать, вовремя. Иначе нынешние феминистки показали бы нам всем такую “товарищ”, что мало бы никому не показалось.

Впрочем, уже и в позднесоветские годы “товарищ” как-то скукожился до того состояния, что едва успевал обслуживать лишь достойнейших представителей страны — партийно-хозяйственный актив. А в повседневном обиходе все в большую силу стали входить обращения по половому признаку. Эти “женщины” и “мужчины” оскорбляли нежный слух интеллигентных горожан уже и тогда. Но взамен никто ничего предложить не мог.

Явочным путем кто-то как-то все же пытался. Вот помню давний эпизод. Мы с моим приятелем

лем заходим в гастроном купить бутылку вина. Время — без десяти семь. В семь, если кто не знает, заканчивалась в те легендарные времена торговля алкоголем. Тетка за прилавком нам говорит: “Все, закрыт отдел”. “Но ведь еще десять минут”, — говорю я довольно нервно, что и объяснимо в данной ситуации. “Не знаю ничего, — не менее нервно реагирует продавщица, — мне еще деньги сдавать. Давайте, давайте! Не стойте тут”. Мой товарищ говорит: “Подожди. Я сейчас с ней нежно поговорю”. “Видите ли, сударыня...” — вкрадчиво начинает мой друг, но продолжить не успевает. “Чего-о? — взвывается тетка. — Сударыня? Милицию, что ли, вызвать? Сударыня! Я тебе щас такую сударыню покажу!” Вина мы не купили.

Или другая история, тоже довольно давняя, рассказанная мне моей хорошей знакомой. В то время, к которому относится рассказ, эта знакомая была привлекательной молодой особой лет тридцати пяти. А выглядела она еще моложе. Так вот, идет она, эта дама, по улице со своим псом, а навстречу ей идет молодой симпатичный африканец. Подойдя к ней, африканец вежливо

раскланивается и обращается к ней по-русски, хотя и с сильным акцентом: “Скажи-ка мне, старушка, — говорит он на манер персонажа русской народной сказки, — где здесь метро?” Как же она обиделась! “Какая я тебе старушка!” — стала кричать она на бедного иноземца, виновного лишь в том, что ему как-то никто не объяснил, что старушками не следует называть никого, включая и самих старушек.

Нет, действительно, совсем непонятно, как именно надо обратиться к незнакомому человеку, чтобы он на тебя не обиделся. Всяческие “сударь” и “господа”, как мы видим, прививаются худо — связь времен порвана, и, кажется, безнадежно. Так вот и мямлим: “Э-э-э... простите... э-э-э... не скажете ли...”

А решил я обо всем этом написать по той лишь причине, что буквально на днях в течение одного дня ко мне трижды обратились тремя различными способами.

Утром около моего подъезда ко мне подвалил один из тех страждущих, что постоянно ошиваются в нашем дворе, и сказал: “Отец, выручи де-

сяткой, щас умру”. Выглядел он, мягко говоря, ну никак не моложе меня. Я выручил.

Днем я шел по Цветному бульвару, а шедший навстречу человек средних лет, которого, судя по всему, чья-то щедрая душа уже успела как следует *выручить*, обратился ко мне с неподдельным сочувствием: “Сынок! Милый! Как же ты поседел!” И пошел себе дальше. Пошел дальше и я.

А вечером того же дня кассирша в нашем супермаркете и вовсе огорошила меня вопросом, однозначного ответа на который у меня не нашлось, что и понятно. Она спросила: “Молодой человек! А пенсионное удостоверение у вас при себе?”

## Ледовое побоище

**Т**еперь мне кажется, что я ненавидел его всегда. Ненавидел и боялся. Я его боялся и ненавидел как метафору всего мертвого, бездушного и скользкого. Впрочем, в буквальном смысле я его ненавидел тоже. А иначе как могло бы так случиться, что я ни разу в жизни не надел коньков. Даже жалкие детские “снегурочки”, которые прикручивались к валенкам с помощью веревки и деревянной палочки, так ни разу и не прикрутились к моим ногам. Я боялся льда. Я его ненавидел. Лет семь или восемь мне было тогда, когда я слег со страшной ангиной после того,

как “на слабо” съел огромную сосульку. С тех пор я сосулук не ем и вам не советую.

Почему я про все это вспомнил? А вспомнил я это потому, что достал он меня, этот лед. Достал в буквальном смысле этого слова. Он настиг меня поздним февральским вечером на пустынной московской улице. Он лег мне под ноги, как гадкий шпаненок. Он подбросил меня, как тряпчного паяца, в воздух. Он шваркнул мною оземь и сокрушил мои бедные ребра. Он, что называется, намял мне бока, отомстив за мое к нему отношение. Ладно — квиты.

“Интересно, — подумал я, когда обрел наконец возможность думать о чем-нибудь, кроме ужасной, парализующей боли в левом боку, — интересно, если бы подобная штука произошла бы со мной где-нибудь, скажем, в Берлине, сколько бы я смог слупить с городского начальства? Много? Думаю, немало”. И тут же вспомнил историю о том, как именно в Берлине некая пожилая дама поскользнулась на тротуаре, упала, сломала что-то, к счастью, не очень значительное и получила от городских властей какую-то невероятную кучу дойчемарок.

Называется, повезло. Мне тоже повезло, но не так. “Вам повезло, — сказал мне врач из травмопункта, сфотографировав соответствующий фрагмент моего внутреннего устройства. — У вас сломаны три ребра, но зато не задето легкое”.

И правда ведь повезло, не возразишь. А что касается берлинской дамы, то я забыл сказать, что поскользнулась она не на льду, как я (откуда на берлинском тротуаре возьмется лед), а на кучке собачьего дерьма. Разница с точки зрения клинических последствий вроде бы несущественная, но она есть. Ибо упасть, поскользнувшись на какашке, — это вроде бы не только больно, но еще и обидно. Не каждому ведь расскажешь, при каких именно обстоятельствах ты сломал руку или ногу. Так что вполне возможно, что, когда устанавливали размер компенсации, был учтен также и моральный, так сказать, аспект происшедшего.

А вот мне кажется, что это не так уж и обидно и не так уж оскорбительно, ибо упомянутая скользкая субстанция — все же продукт жизнедеятельности. А лед — это продукт смертеедеятельности. И какие тут могут быть компенсации? Даже



смешно. Сам ведь виноват. Под ноги надо смотреть. Мечтать не надо. И скажи спасибо, что отделался тремя ребрами. Тебе ведь сказали, дураку, что тебе повезло. Ты что, хочешь поскальзываться на банановой кожуре? Или на мокрых осенних листьях? Или — как та берлинская тетка? Тогда меняй географию. Или на худой конец дождись смены сезона. Если, конечно, дождешься — гарантий администрация не дает. А у нас тут с вами пока что, извините, лед.

У нас — лед. И он повсюду: на тротуаре, под крышей, на подоконнике, на ступеньках, на перилах, в государственных учреждениях. Ты что, против льда? Ты что, забыл, что в жилах наших венценосных особ текла кровь Снежной королевы? Ты забыл, из чего складывается слово “вечность”? Правильно, из льдышек — вроде тех, что в каком-нибудь заграничном баре-ресторане плюхают мне в стакан с водкой, если я не успеваю вовремя завопить: “*No ice!*”

Водка — вот еще одна константа нашей жизни и нашей истории. Лишь она вправе претендовать на роль универсального средства против тотального обледенения. Она лишь вправе возглавить

антиледяное сопротивление. Ибо она и есть тот самый “пламень”, который хоть льда и не растопит, но утешит тебя и согреет. И в одном стакане им делать нечего.

Если водка — воплощение всего человеческого, то лед — всего государственного, ибо наша государственность столь же тверда, холодна, мертва и бездушна. Она такая же скользкая и не менее опасная. Не зря же наиболее яркие, судьбоносные и не слишком осмысленные страницы отечественной истории разворачивались на льду.

Кажется, все началось с того, что бригада ходившего под ордынской крышей некоего Александра по кличке Невский разобралась однажды с командой “ливонских”. Разборка эта имела место на замерзшем Чудском озере, а потому и проходила она в сводках как Ледовое побоище.

А “нас бросала молодость на кронштадтский лед”? А Папанин на льдине? А застрявший во льдах “Челюскин”? А фигурное катание — что парное, что одиночное? А триумфы советского хоккея? “Трус не играет в хоккей” — помните? Ледовое побоище продолжается, и не видно ему конца.

Хорошо и раздольно чувствует себя государство на льду. Легко и уверенно скользит оно по гладкой поверхности замороженной страны. А граждане? А что граждане? Подданные великого государства неподвижно и терпеливо сидят во льду, как устрицы, готовые к употреблению. А если они и движутся, то движутся осторожно, стараясь смотреть себе под ноги и не делать резких движений. А если не уберется — пеняй на себя. И молись, чтобы повезло. Ну хотя бы как мне.

## Я поведу тебя в музей

**Ч**то было раньше? Стихотворение про то, о чем “сказала мне сестра”, или все-таки сам музей? Не помню. Кажется, все-таки, музей. Какой? Кажется, Исторический. Или Музей подарков Сталину? Опять же не помню. Да это и неважно. Важно, что первые впечатления не выветриваются десятилетиями. Синкретическое детское сознание не отделяет музей от театра. Первый музей и первый спектакль (в моем случае, помню точно, это была мхатовская “Синяя птица”) со временем смываются на уровне деталей, но живут практически

вечно на уровне столь же неясных, сколь и сильных ощущений.

Благоговейная тишина, нарушаемая лишь почтительным шуршанием привязанных к ботинкам тапок и негромким голосом экскурсовода. Странное, загадочное освещение. Странные, непривычные вещи. Попадают вещи и вполне привычные, но вырванные из бытового контекста и помещенные в контекст музейный, они тоже становятся странными, небывалыми. Мечи и доспехи. Пули и ядра. Дуэльные пистолеты и шахматные доски. Столы и стулья. Книжки и тетрадки. Лампы и тарелки. Глобусы и микроскопы. Сапоги Петра I. Ночная ваза Екатерины II. Телефонная трубка Ленина. Курительная — Сталина. Чей-то университетский диплом. Чей-то простреленный комсомольский билет. Чья-то шинель. Чьи-то гантели, подтяжки, аптечные рецепты, повестка в суд, логарифмическая линейка, пенал, ластик, волейбольный мяч, зубочистка, макет паровоза, колесо от автомобиля, шнурок от ботинка, банка из-под сгущенки, мятый, весь в пятнах листок медицинского заключе-

ния, чернильница из хлеба, спичечный коробок, носовой платок, конфетный фантик, слуховой аппарат, зубные протезы. В детстве все это производит немыслимое впечатление, впечатление, которое трудно сформулировать. Лишь когда ты становишься взрослым, ты начинаешь понимать, в чем тут дело. Музей как идея способствует особому взгляду на мир: ты осознаешь, что нет ничего случайного, ненужного, заслуживающего забвения. Любая вещь, любое слово, любой жест суть потенциальные единицы хранения, объекты музеефикации.

Что такое музей для взрослого культурного человека? Прежде всего это, разумеется, музей художественный. Посещение Парижа, Петербурга, Мадрида или Нью-Йорка чревато ритуальным паломничеством в Лувр, Эрмитаж, Прадо и Метрополитен. Если ты съездил, допустим, в Мюнхен и не сходил в Пинакотеку, то твой визит туда как бы уже не вполне легитимен.

Но бывают музеи, куда нас загоняет летний ливень. И тогда мы входим туда, бродим по залам и пьемся на все подряд, потому что дождь

никак не кончается. А когда дождь закончился и мы вышли наружу, мы понимаем, что все, что мы только что видели, мы запоем навсегда. Я вот, например, много лет не могу забыть, как в каком-то музее, где среди прочего были выставлены чучела разных зверушек, страдающих различными анатомическими отклонениями, я наткнулся на удивительный экспонат. К совершенно пустой витрине была прищиплена бирка. На ней значилось: “Кучерявость у ежей”. На другой бирке, чуть ниже, было написано: “Экспонат на реставрации”. И разве это важно, что ни в тот раз, ни после я так и не увидел кучерявого ежа? Зато я точно знаю, что такие бывают. Да и что она, жалкая реальность, по сравнению с разгулявшимся воображением?

Бывают музеи, в реальное существование которых верится с трудом. Но они ведь есть. Перечень их названий в телефонном справочнике читается как поэма, мощно заряженная неизбывным оптимизмом. Можно туда зайти, а можно и не заходить. И так уже хорошо. Эти причудливые, маленькие, скрытые от нескромных взоров, тихие и незамет-

ные, как Акакий Акакиевич, и трогательно-уморительные, как Чарли Чаплин, именно они, эти музеи и музейчики, подспудно и ненавязчиво играют роль тех прозрачных ниточек, каковыми штопается и латается наша расплзающаяся по всем швам историческая память. А без нее — куда?



## За ваше и наше здоровье

**В**ы заметили, что чем вертикальнее вертикаль, тем с большим рвением проявляет она заботу о нашем с вами здоровье? Вот и рождаемость стала государственным, политическим делом. А уж где рождаемость, там и здоровье. Но древний, как сама наша государственность, пафос бесконечной борьбы за что-нибудь против чего-нибудь неизбежно преобразует заботу о здоровье в борьбу против нездоровья, против нездорового образа жизни.

Но что такое нездоровый образ жизни? Воля к саморазрушению? Отсутствие бытовой

культуры? Черная неблагодарность по отношению к родному государству, вложившему в тебя и в меня деньги и душевные усилия? Или просто некая совокупность так называемых вредных привычек? А вредными привычками принято называть все то, что для многих людей — по крайней мере пока они живут на этой земле — является источником радости. Так что такие ли уж они вредные, эти вредные привычки? Хотя бывают, конечно же, привычки и по-настоящему вредные. Например, борьба за здоровый образ жизни.

На первый взгляд кажется, что словосочетание “мода на здоровье” есть бессмысленный трюизм. А на что же, действительно, еще может быть мода — на болезни, что ли? Какой же псих станет спорить с утверждением, что здоровым быть лучше, чем больным?

Но не все так просто. Ведь были же в истории и такие романтические или декадентские поветрия, когда всяческие “печати смерти” и чахоточный блеск в глазах считались необычайно привлекательными. Когда дамы поминутно шлепались в обмороки, а кавалеры выразительно кашляли

и томно подносили к губам белоснежный платок. Когда здоровые завидовали больным, потому что здоровье ассоциировалось с глупостью и тривиальностью, а болезнь — с талантливостью и прочими “безднами”. Когда вполне нормальные молодые люди для того, чтобы заинтересовать девушек, туманно намекали им на свои особые отношения с психоневрологическим диспансером.

Можно сказать, что здоровый образ жизни — это всего лишь образ жизни человека, наделенного здравым смыслом и развитым инстинктом самосохранения. Можно так сказать и на этом прекратить разговор. Но разговор на этом как-то не прекращается.

Потому что “здоровый образ жизни” — это еще и идеология. Считается, что массовая приверженность вредным привычкам — пьянству, наркомании и обжорству — есть признак социальной апатии, а вот общественная тяга к здоровому образу жизни есть знак социального оптимизма. И это в общем-то верно, особенно если помнить о том, что самыми продвинутыми по части всяческого оптимизма являлись, как правило, обще-

ства тоталитарные. Как забыть вас, крепкозадые физкультурники и грудастые физкультурницы, сливавшиеся в вавилонских пирамидах? Как забыть вас, нормы ГТО? Куда вы сгнули, ворошиловские стрелки? Где вы, эпические богатыри Осоавиахима и ДОСААФ? Где гипсовые девушки с проволочными веслами? Родине были нужны крепкие ребята. Но не для того, чтобы жить долго и весело, а для того, чтобы давать стране угля или с винтовкой в руке гибнуть за торжество общего дела.

В открытых же обществах “здоровый образ жизни” — это очень даже неплохой бизнес. Борьбу за здоровый образ жизни можно понимать в том числе и как борьбу производителей тренажеров и гантелей с производителями пепельниц и винных пробок.

“Здоровый образ жизни” — это еще и род болезни, болезни беспощадной, требующей новых и новых жертвоприношений. Это изнурительная, иссушающая душу безысходная погоня за бессмертием. Почему “здоровая” пропагандистская риторика так раздражает людей со вкусом, юмором

и действительно здоровым отношением к жизни? А потому что такое понятие, как “мера”, вообще остается за бортом этой риторики. Потому что само слово “здоровье” во все времена наиболее уместно и особенно оптимистично звучало под аккомпанемент “нездорового” хрустального звона.

## Личный вес

**С**ам-то я всегда был худым. Мой вес не менялся с шестнадцати примерно лет. В девятом классе я записался в секцию бокса, где в моей весовой категории для меня конкурентов не было. В том смысле, что их вообще не было в этой секции. Боксером, впрочем, я так и не стал, а легчайший вес остался при мне. Кстати, если кому-то придет в голову что-нибудь пошутить насчет переносного значения слова “легковесность”, то автор просит не беспокоиться — считайте, что уже пошучено.

Но речь не об этом. Речь о том, что я всегда испытывал какое-то не вполне объяснимое чувство солидарности с людьми, про которых теперь принято говорить, что они “страдают лишним весом”. А в дополиткорректные времена их называли толстяками. Думаю, что чувство это уходит корнями в школьное детство, где толстяков (“жиртрестов”) и очкастых задохликов вроде меня третировали с равным энтузиазмом. Толстяк и сублильный очкарик были братья.

Впрочем, во времена моего послевоенного детства толстяки (как, кстати, и очкарики) были наперечет. Родительская же озабоченность чаще всего была направлена на то, что “ребенок какой-то слишком худенький”. Малокровие? Авитаминоз? Глисты? Чаще всего — и то, и другое, и третье.

В давние советские времена, в полном соответствии с устоявшимися фольклорными представлениями, толстяк был существом по преимуществу комическим. Экраны кинотеатров заполняли потешные пузатые управдомы в соломенных шляпах и задастые хамоватые официантки в цветастых платьях. Толстяк был смешон и глуповат, но не ужа-

сен. Три Толстяка Юрия Олеши или плакатные толстопузые буржуи двадцатых были тем исключением, которое лишь подтверждало правило. Вредители, двурушники и шпионы были, как правило, костлявы, иные — в очках. Положительный же герой был умеренным во всем.

Проблема так называемого лишнего веса существовала более или менее всегда, но расцвела она пышным цветом сравнительно недавно. Прежде за родственно-дружескими столами говорили в основном о тараканах, клопах, детях, зубах, денежных реформах, товарном дефиците и о том, будет ли война. С некоторых пор вопрос похудания встал в ряд самых проклятых вопросов современности.

Спрос не замедлил породить предложение в виде невероятного количества различных диетологических инициатив — одна другой краше. Вот, помню, какое-то время ходили по улицам люди с огромным значками на груди. На значках было начертано: “Хочешь похудеть — спроси у меня как”. Далеко не все носители этого сакрального знания вызывали слепое доверие. А внешний облик некоторых из них провоцировал совсем другие вопросы, например, такой:



“Каким же, милый мой, ты был раньше, если, похудев, ты стал таким, какой ты есть теперь?” Потом эти значки вместе с их носителями куда-то подевались. Впрочем, время от времени они возникали в других, более уместных контекстах. Мой приятель пошел однажды на родительское собрание в школу, где учился его сын. Собрание происходило в кабинете биологии. В углу кабинета застенчиво притулился человеческий скелет. А на грудной клетке учебно-методического пособия красовался достопамятный значок, тот самый — “спроси у меня как”. Остроумные бывают дети — ничего не скажешь.

Реклама похудательных мероприятий неизменно поражает воображение. Все только и делают что пересказывают друг другу, чего такого удалось им обнаружить на эту тему. То предлагается “похудеть навсегда”. Еще лучше — “похудеть до восьми килограммов”. (А это уж точно навсегда.) А знакомый филолог и вовсе опасно поежился, наткнувшись где-то на рекламный слоган, содержащий довольно-таки зловещую угрозу: “Лишу живота”.

Идиотизм идиотизмом, но коллективная истерия, связанная с мечтами об истончении собствен-

ных тел, не утихает, рекрутируя все новых толстяков, включая и вполне худосочных астеников.

А почему? А зачем? “Не худейте, дорогие друзья и подруги! — хочется крикнуть этим заблудшим душам. — Мне так будет вас не хватать. Я хочу, чтобы вокруг меня были разные люди — толстые и тонкие, низкие и высокие, лысые и лохматые, бритые и бородатые. Не надо стремиться к общему знаменателю, тем более что его нет. Не надо думать о *лишнем* весе. А думать надо о весе *личном* — у каждого он свой, неповторимый, то есть именно тот, каким наделен”.

И между прочим, никто никому не доказал, что худым быть лучше, чем толстым. Вполне возможно, что вовсе и наоборот. Во всяком случае, наш родной язык на это явственно намекает. Не даром же слово “худой” означает по-русски “плохой, никудышный”. А про располневшего человека говорят, что он “раздобрел”. А если человек — это сосуд, то решайте сами, какой из двух сосудов предпочтительнее — тот, что *полный*, или тот, который *худой*?

Так что вот.

## Апология одного места

**О**н не хотел меня обидеть — я уверен. Наоборот. Он, старинный мой знакомый, встретившийся мне недавно на улице, сказал: “Слушай, я купил твою книжку. Я даже хотел тебе позвонить, но как-то не собрался. Прекрасная книжка! Ее читает вся семья. Она постоянно лежит у нас в...” Тут он запнулся, страшно смутился и посмотрел на меня с некоторой трусливостью во взоре. Несмотря на то что в роковой этой фразе он не дошел до самого рокового места, он понял, что я все понял. И он испугался. Испугался, что

нанес неосторожный удар по моему авторскому самолюбию.

Нет, не нанес. Напротив, он чрезвычайно потешил мое авторское тщеславие, в чем я и постарался его уверить, прибавив к этому свою искреннюю благодарность.

Мои любимые книжки тоже лежат там. И там же, в тиши и благостном уединении, они читаются и перечитываются. И ни я, ни мой незадачливый почитатель в этом далеко не одиноки. Бывая в гостях и посещая время от времени чужие клозеты, вольно или невольно изучаешь ассортимент хранящейся там печатной продукции. Попытки обнаружить ту или иную систему и вывести из нее те или иные законы успехом никак не венчаются: там может быть все что угодно — от прошлогодних юмористических журналов до разрозненных томов энциклопедии, от самоучителя игры на шестиструнной гитаре до томика стихов Степана Щипачева, от каталога собачьих шампуней до сборника латинских афоризмов. Самой, пожалуй, значимой и семиотически насыщенной в данном контексте находкой показалась мне “Книга

о вкусной и здоровой пище” — так сказать, единство и борьба противоположностей.

Но среди этого непредсказуемого, а потому и бесконечно интригующего гарнира там непременно наличествует и так называемая настольная книга, распознаваемая по повышенной потрепанности. У кого-то это сборник анекдотов про Вовочку, у кого-то — “Критика чистого разума”.

Словосочетание “настольная книга” с некоторых пор начисто утратило свое первоначальное значение. Кто читает за столом? Читают в поездах и учреждениях, читают на диванах и в гамаках, читают на эскалаторе, спускаясь или поднимаясь. Но там не читаются настольные книги. Настольные книги читаются там, в тех местах, где нет стола, но есть покой и воля.

Когда это началось? Думаю, где-то с начала шестидесятых, то есть тогда, когда из подвалов, бараков и коммуналок людей стали переселять в новые отдельные хрущевские малогабаритки. В коммунальном сортире считаешь, пожалуй. Там тебе так почитают!

Новые хрущевские квартиры были отдельными, но тесными. Тесными, но отдельными. Ком-

натки были маленькими. Кухни и сортиры — тоже. Но они были свои — не общие, не отчужденные, и это было очень важно. Не потому ли эти сугубо служебные помещения, эти безличные вроде бы “места общего пользования” стали средоточиями уютнейшей приватности, сердечной теплоты и повышенной интеллектуальной интенсивности?

Тогда же возникло понятие “кухни” как особого социально-культурного феномена. Кухня стала гостиной, салоном, клубом. А что стало кабинетом? Правильно.

Там, между прочим, не только сладко и плодотворно читается. Там и думается ой как славно, ой как плодотворно. Как мечтается там! Там человека поджидают глубочайшие, высочайшие и благороднейшие откровения. И это известно более или менее всем, а если в этом стыдятся признаваться, то исключительно из ханжества и лицемерия. Ведь попробуй только заикнуться в присутствии того или иного пошляка о том, что только что высказанная тобою мысль пришла тебе в голову там-то и там-то. Что он скажет на это? Правильно, он глупо ухмыльнется и скажет, что “оно и видно”. Вот дурак!

Кстати, упреждая неизбежную реакцию неизбежного шутника, пожелавшего поинтересоваться, в каком именно месте автор сочинил это произведение, отвечу: нет, к сожалению, не в том самом. К величайшему сожалению, написано это на компьютере в помещении редакции, под гул голосов, телефонные звонки и неритмичные взрывы праздного смеха. А потому если и возникнут у кого-нибудь претензии к форме и содержанию текста, если и покажется он кому-то вяловатым, непоследовательным и малоубедительным, то прошу отнести это ощущение на счет того, что текст был сочинен, увы, не там, где надо. Дело лишь в этом.

## Мы отдохнем

**У**лица, где я живу, характерна, кроме всего прочего, немереным количеством парикмахерских, с некоторых пор именуемых салонами красоты. Такой салон обнаруживается чуть ли не в каждом доме. А еще у нас под боком дикое скопление всевозможных оздоровительных учреждений. Например, напротив моего дома располагается “Оздоровительный центр”. Около входа постоянно околачивается специальный дядька (таких называют людьми-бутербродами), облаченный в картонные доспехи, на которых размещается реклама означенного цен-



тра. Репертуар предлагаемых оздоровительных мер подозрительно игрив: сауна, бассейн, тайский массаж. Не слишком свежий вид дядьки в значительной мере снижает коэффициент успешности осуществляемой им рекламной акции.

В доме рядом — опять “центр охраны”, но на этот раз уже международный и, так сказать, персонифицированный. Полностью он называется так: “Международный центр охраны здоровья Игоря Сергеева”. Первая мысль: “Что же это за такой эксклюзивный Игорь, что под охрану его драгоценного здоровья отведено крепкое трехэтажное строение из красного кирпича?” Впрочем, довольно быстро до тебя доходит, что это всего лишь очередная выходка коварного родительного падежа и что загадочный Сергеев — все же не объект охраны здоровья, а его субъект. То есть именно он-то и призван по мере сил и возможностей, причем на международном уровне, неусыпно охранять наше с вами здоровье. Ну что ж, взялся — охраняй. Мы что, против?

Но, несмотря на повышенную концентрацию парикмахерских услуг и оздоровительных меро-

приятий, несмотря на ярко выраженный культ красоты и здоровья в отдельно взятом марьинорощинском квартале, я, кажется, нигде прежде не встречал такого скопления пьяных людей. И не просто пьяных, а как-то гомерически пьяных, пьяных, что называется, раз и навсегда, давно и безнадежно лишившихся “облика и склада”, потерявших счет времени и ориентацию в пространстве. Один из таких пузырей земли, страшноватое и пахучее существо, поросшее дикой шерстью, нечесаное и небритое, заснувшее тревожным сном у порога того или иного салона красоты или же какого-нибудь из оздоровительных центров, вполне мог бы стать геральдическим символом нашего микрорайона. Такой вот ничем не объяснимый парадокс, один из тех многочисленных парадоксов, что совокупно работают на неизбывный миф о загадочности русской души.

Я все думал: почему эти смрадные чудища, что имеют обыкновение по утрам скапливаться прямо у моего подъезда, зыря по сторонам в поисках радости, норовят обратиться за вспомоществованием именно ко мне? Что-то в моем облике есть

особенно милосердное? Не думаю. Скорее, во мне видят законченного лоха. И мой жизненный опыт показывает, что видят не зря. Но это еще ладно. Гораздо интереснее другое — почему, обращаясь ко мне со штампованной слезой в голосе, они называют меня отцом: “Отец, помоги! Выручи, батя!”

“Какой же я тебе батя? — злобно думаю я всякий раз. — Неужто я выгляжу старше тебя? Мне, конечно, трудно объективно судить о собственной наружности, но чтобы выглядеть так же, как твой гипотетический папаша? Нет, этого быть не может. А ты, кстати, давно вообще в зеркало-то смотрел?” И тут же соображаю: в том-то и дело, что давно, очень давно не смотрел он ни в какое зеркало.

Эти ребята, эти дорогие мои “сынки”, давно и безнадежно выпавшие из социума, по-прежнему видят себя лихими подростками, только что раздавившими за дровяным сараем свой первый пузырь портвейна. Они как-то росли, как-то послужили в армии, как-то женились и кое-как завели детей, как-то где-то когда-то кем-то работали, но смотреть в зеркало перестали раз и навсегда. Причем как в прямом, так и в переносном смысле.

Так и подмывает сказать: “Посмотрись-ка в зеркало, видишь, сколько парикмахерских вокруг тебя, знаешь, какие там зеркала? И ты многое, очень многое поймешь. Не думаю, что жизнь твоя как-то вдруг возьмет да и развернется на все сто восемьдесят градусов. Но ты хотя бы перестанешь называть меня отцом. И смягчится сердце мое. И я одарю тебя двадцаткой. И ты найдешь между двух салонов красоты неприметное, но хорошо знакомое тебе злачное местечко. И ты купишь заветного пивка. И ты поправишь, хотя и ненадолго, свое здоровье без всяких этих мудацких оздоровительных центров, обступивших тебя со всех четырех сторон. И мы с тобою увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнем”.

## Танцуют все

**Т**анцуют все. И всегда. Особенно — перед охотой на мамонта. После охоты — тем более. А собираясь на войну? А вернувшись с войны? А уж в предвкушении сочного куса того или иного представителя вражеского племени поди-ка не затанцуй, если ноги сами в пляс идут.

Семантика этого древнейшего языка, как и языка орнамента, основательно забыта, но его мощная семиотическая заряженность ощущается и поныне. Танцуют все. Те, кто умеет, и те, кто не умеет. Те, кто знает зачем, и те, кто не знает.

Танцуют для самовыражения и самоутверждения, для наведения мостов и установления диалога, для протрезвления и утряски чересчур обильной пищи. Танцуют за деньги, танцуют бесплатно, танцуют просто так.

Танцуют дети и взрослые. Танцуют академики и грузчики бакалейного магазина. Танцуют простые граждане и власти предрержащие.

Это теперь пляски властей отдают невыразимым комизмом. А в старину-то власть очень даже лихо отплясывала. Все свободное от войны и охоты время. Некоторые, как показала история, доплясались. Буквально до упаду.

Пляшущего большевика представить себе еще труднее, чем плачущего. Помните анекдот: “Социальная г’еволюция, о необходимости котог’ой так долго говог’или большевики, свег’шилась! А тепег’ь — дискотека!” Очень смешно.

При Сталине они уже помаленьку заплясали. Сам-то, конечно, не танцевал — этого еще не хватало. Но в стольких мемуарах, романах, фильмах были явлены расчудесные сцены, где на своих упырьих посиделках резвилось Политбюро, что, кажется, видел

сам: Ворошилов — на баяне, Хрущев в украинской рубашке — вприсядку, Молотов, протирая очки, медленно хихикает, хозяин в такт беззвучно ударяет живой ладошкой о мертвую, за окном маячит ушанка часового. Весело, товарищи, весело.

Вообще же руководители партии и правительства были не по этому делу. Охота, банька, домино в цековском санатории — это пожалуйста. Но чтобы танцы — боже упаси!

Наши нынешние в области балета продвинулись не слишком далеко, но все же как-то со скрипом затанцевали, причем прилюдно. Что до репертуара, то он, понятное дело, подчинен текущему моменту и геополитическим обстоятельствам, а не как бог на душу положит. На кремлевском приеме — одно, на татарском сабантуе — другое, на предвыборных подмостках — третье.

Хореографические данные нашего первого президента вполне описываются словами Гоголя, сказанными, впрочем, по другому случаю. Танцующий на подиуме Борис Николаевич точно так же, как и незабвенный Собакевич, щеголял “некоторою даже ловкостию, как такой медведь, который уже

побывал в руках, умеет и перевертываться, и делать разные штуки на вопросы: “А покажи, Миша, как бабы парятся”, — или: “А как, Миша, малые ребята горох крадут?”.

Впрочем, это никакие не танцы — это политика...

А танцы героев классической и прочей литературы? А их описания? А язык их описаний? Кто забыл о пушкинских “ножках” или о первом бале Наташи Ростовской?

Танцы играли роль вполне системообразующую. Танцы — это серьезно. Они могли закончиться дуэлью, а могли — свадьбой. Они тревожили, ввергали в отчаянье, утешали.

Помните, как поручик Пирогов из гоголевского “Невского проспекта” после произведенной над ним экзекуции довольно быстро утешился — и даже настолько, что “отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров”.



А помните, как толстовский Иван Ильич, “будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но, когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос: “В самом деле, отчего же и не жениться?” — сказал он себе”. И женился.

Если вынести за скобки явное несходство эпох и положений, а также особенности толстовского синтаксиса, то нечто очень похожее произошло и с моими родителями. Провинциалка-мама, приехав году примерно в 1937-м в Москву, была приведена кем-то в дом моего отца. В большой, перегородженной вдоль и поперек коммунальной комнате, где проживало человек этак семь, происходили почти

ежедневные танцы. Тогда это было принято. Тогда это было модно. Было принято и было модно уметь танцевать. Фокстрот “Рио-Рита”. Танго “Брызги шампанского”. По поводу танго бабушка отца (и, соответственно, моя прабабушка) говорила: “Я все понимаю. Но почему это делается стоя?” Много лет спустя мама говорила мне, что этот невысокий и лысоватый молодой человек покорила ее сердце именно танцами. Она, впрочем, тоже неплохо танцевала. Но отец! Я это помню хорошо.

Мой старший брат, принадлежащий к поколению стилиг, тоже любил это дело. Правда, танцы были уже другие. Из-за далекого океана до нас доплыл рок-н-ролл. Как же с ним боролись. Как сражались. Как издевались над этими “обезьяньими кривляньями” юмористы и сатирики. Чего только не пытались выставить ему взамен. Появлялись какие-то ублюдочные, гэдээровского производства *липси*. Появился однажды и местного разлива идиотически-бодрый танец с антикосмополитическим названием *айлюли*. Это дело сварганила композиторша Людмила Лядова. Был там и вполне программный, хоть и не отягченный из-

быточной философской глубиной текст: “Айлюли, айлюли — это новый танец. Айлюли, айлюли — он не иностранец”. Этот “не иностранец” был отвергнут практически немедленно со всей свойственной юности решимостью. А с рок-н-роллом вступили в неравную борьбу комсомольские бюро и дружинники в красных повязках. Брата чуть не выгнали из института за рок-н-ролл, исполненный им в паре с одной “чувихой” на новогоднем вечере. Его спасло лишь то, что он был, во-первых, отличником, а во-вторых, капитаном институтской сборной по волейболу. Впрочем, выговор по комсомольской линии все же вкатили. Видимо, над формулировкой выговора не час и не два трудились эстеты из комсомольского бюро, ибо формулировка эта выглядела довольно изысканно: “За искажение рисунка танца”.

В мое время нравы были помягче, зато резко упало мастерство. И за “рисунок танца” гнобить было особенно некого за полным отсутствием какого бы то ни было рисунка. Топтались и топтались. Топтались в школе. Топтались в квартирах при полумраке под проигрыватель, а чуть позже — под магнитофон. Боже, как потели ладони, как же

противно и позорно они потели. В летние месяцы топтались на танцплощадках. Топтались, топтались, а при выходе легко можно было и схлопотать по роже. Нет, неправильно: можно было как раз *не* схлопотать, но это было трудно, практически невозможно. Поэтому на танцы ходили толпами. Отдельным видом экстремального спорта были также походы на деревенские танцы во время студенческих “картошек”. Я, впрочем, от этих развлечений всячески уклонялся, о чем, честно говоря, не очень жалею.

А танцевать — люблю. Это я унаследовал от родителей. Любовь вот унаследовал, а умение — нет. Но ничего. Танцую иногда. Как умею, так и танцую. Так мы все и танцуем. Кто как. Но танцуем все.

## Вне игры

**О** футболе мне говорить легко и необременительно, как всегда бывает легко и необременительно говорить о тех вещах, в которых ты не понимаешь решительно ничего. Впрочем, слегка лукавлю. Совсем ничего не понимать в футболе практически невозможно. Особенно в нашей стране. Особенно человеку моего поколения. Особенно имея старшего брата, который, сколько я помню его и себя, тяжело и мучительно болел за “Спартак”, причем болезнь эта время от времени принимала буквальные формы, ибо,

когда какой-нибудь очередной Маслаченко пропускал мимо себя этот бессмысленный шарообразный шматок грубой кожи, у брата повышалась температура и он разве что не начинал бредить. Чужая болезнь не могла не заражать. Она и заражала.

Нет, мимо футбола не пройдешь. Когда из летних окон раздается синхронный вопль восторга, а чаще — отчаяния. Когда из радио на кухне доносится незабываемая скороговорка Вадима Синявского: “Внимание, внимание. Наши микрофоны установлены...” Когда ты садишься в такси, а водитель спрашивает в лоб: “Как сыграли?” Где же взять столько отваги, чтобы так же в лоб встречно спросить: “Кто?” Приходится юлить, изворачиваться и мямлить что-то насчет того, что “не знаю, в метро ехал”. Какое метро? Куда ехал? Ох, жалкий лепет оправданья.

Уже давно узаконено, что футбол — главный. Главнее всех в этой номинации. Вот как в театре, например, главнее всех опера, а в литературе, допустим, роман. В футболе и флаги побольше, и гимн погромче. И вообще...

Но футбол ведь — это уже не вполне вид спорта. Это не вполне игра. Какая уж тут игра, из-за которой ты готов убить и готовы убить тебя. Как бы ни увлекала знатоков и гурманов тонкая драматургия этой потной беготни, понятно же, что главная проблематика футбола располагается не там, не на поле. Она — вне поля, вне стадиона, “вне игры”. Футбол — дело национальное, государственное, международное, глобальное, геополитическое. “Эй, вратарь, готовься к бою. Часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет” — вот его универсальная формула, впервые прозвучавшая в песне Дунаевского из довоенного кинофильма “Вратарь”.

В рекламах страховых компаний любят изображать футболистов, приготовившихся к штрафному удару. Сняты они по пояс, в смысле — ниже пояса, ибо кому же интересна верхняя часть футболиста. Вот стоят они и прикрывают свои гениталии. Но прикрывай не прикрывай, а помни: поражение твоей команды в любом случае обернется хоть и символической, но безвозвратной поте-

рей, потерей либидо. Кастрацией, говоря проще. Да не твоей кастрацией, дурачок, кому ты нужен. Это будет кастрация твоей родины, державы, если угодно. Помни об этом, помни о пограничной полосе за твоей спиной. Плотней и надежней заслоняй наиболее чувствительные органы своего родного государства.

Нет, футбол — это не игра. Это, как и война, продолжение политики другими средствами. Это национальная идея. Можно вослед известной формуле сказать, что футбол как один из исторически сложившихся эрзацев патриотизма есть последнее прибежище негодяев. Сказать так можно, и это даже довольно соблазнительно, особенно если вспомнить о днях одного из недавних мировых чемпионатов, о том, как наша смена, наши юные патриоты, чуть не своротила к чертям собачьим исторический центр столицы своей великой, но незадачливой родины, уже в который раз поруганной азиатами “с раскосыми и жадными очами”.

Но обобщать неправильно. Как неправильно валить в одну кучу разные типы патриотизмов.



Да, футбол — мощный провокатор иррациональной агрессивности. Но он же, пусть и в куда более редких случаях, стимулятор благородных порывов. В общем, каково состояние общества, таков и пафос общественного энтузиазма.

Интеллектуалы всех стран нечасто бывают заядлыми болельщиками. А те, кто бывает, не склонны, как правило, соотносить свои футбольные переживания с подъемами и спадами национального духа, а тем более с текущей политической конъюнктурой. Впрочем, не всегда. Я помню, как в конце шестидесятых мы все яростно болели за чехов. Правда, это был хоккей, но какая в данном случае разница. Мои знакомые немцы традиционно желают поражения своей футбольной сборной, объясняя это тем, что в случае победы они опасаются взлета “патриотических настроений”. “А чем чреваты в нашей стране патриотические настроения, не надо напоминать”, — прибавляют они. А вот французские интеллектуалы ликовали по поводу победы своей сборной. Эту победу они восприняли как серьезный удар по ксенофобским тенденциям. Еще бы — в те дни национальными

героями Франции стали французы “неместного” происхождения.

А вот у нас-то как? А мы-то что? Как в этот-то раз будет? Пока что, честно говоря, как-то тревожно. Причем тревожно при любом возможном исходе.

## Человек и машина

**В**ремя от времени человека ставят перед странными, малоразрешимыми задачами. Почему-то считается, что если твое имя известно более чем ста гражданам, то ты уже являешься человеком “публичным” и именно на этом основании обязан иметь какие-то особые мнения по поводу всего, чего угодно.

То звонит мне какая-то барышня и говорит: “Здравствуйте. Меня зовут так-то и так-то, я с радиоканала такого-то. У вас есть минутка времени?” — “Есть, — говорю, — у меня минутка времени”. — “Тут вот какое дело. Как вы, очевидно,

знаете, на днях исполняется сто пять лет Сандуновским баням...” — “Начало многообещающее”, — думаю я, но не перебиваю, слушаю дальше. “Так вот. Что бы вы могли сказать по этому поводу?” — “Да как-то решительно ничего. Поздравьте от моего имени доблестный коллектив работников банно-прачечного производства”. — “Ну это понятно. А по существу?” — “По какому существу?” — “Ну, про баню”. — “А что про баню?” Разговор явно не клеился. — “Простите, я правильно позвонила? Вы такой-то?” — “Такой-то”. — “И что, вам нечего сказать про баню?” — “Решительно нечего”. — “Ну извините”. Отбой.

А то недавно — тоже откуда-то, но уже про автомобили. “Не могли бы ли вы что-нибудь такое про ваши отношения с автомобилем?” — “С каким именно?” — “Как с каким? С вашим. У вас какая марка?” — “Никакая у меня не марка. Нет у меня машины, никогда не было и, боюсь, уже не будет. И водить я не умею”. — “Да? Странно. Ну извините”.

Нет у меня никаких отношений с моим автомобилем по причине, указанной выше. Нет у меня

машины и никогда ее не было. Впрочем, вру, однажды все-таки была.

На девятилетие мне был подарен железный самосвал омерзительного синего цвета. Потом я узнал, что такой цвет называется электрик. Несколько дней я был счастлив, но счастье омрачилось тем, что мой отец с первой минуты возненавидел эту машину, которая страшно грохотала, когда я возил ее по комнате, а отец уставал после работы. Ну и цвет, само собой. Он ненавидел эту машину и ждал лишь повода, чтобы с ней расправиться.

И дождался. Однажды, гуляя со своим самосвалом во дворе, я набрал в кузов всякой дряни наподобие ржавых гвоздей, кирпичных ошметков, окурков и использованных презервативов, привез все это домой, поставил машину на обеденный стол и вывалил все свое добро на только что постеленную (ждали гостей) новую скатерть. В это время в комнату вошел отец. О дальнейших событиях я вспоминать не люблю.

С тех пор у меня своей машины не было. А вот любовь к машине была.

Как все мальчишки, я очень любил покататься на машине. Любовь эта омрачалась лишь тем обстоятельством, что меня очень быстро начинало укачивать, и меня время от времени рвало прямо на кожаные сиденья чужих машин, а своей у нас, повторяю еще раз, никогда не было.

Лишь в одной машине я чувствовал себя абсолютно комфортно и безопасно. Это был асфальтовый каток. Мне в жизни повезло: я имел друга — водителя асфальтового катка, его звали Сергей Сергеич. Когда на нашей улице клали асфальт (а это происходило каждую весну), появлялся и Сергей Сергеич на своем неторопливом величественном красавце катке. Ну и я, понятное дело, немедленно оказывался тут как тут. “Ну что, — говорил Сергей Сергеич, — залезай, что ли”. С предвкушением близкого счастья я вскарабкивался на жесткое стальное сиденье, каток трогался с места и начинал утюжить нашу улицу. Как же там было спокойно, как надежно и уверенно! Сладко вонял горячий асфальт, с элегантною нервностью поддрагивали рычаги, и каток, оседланный мною, двигался вперед уверенной поступью и не ведал

преград. И, что самое главное, меня абсолютно не тошнило. Не то что в бежевой “Победе”, на которой меня однажды прокатил дядя Володя, папин сослуживец.

Машины у меня никогда не было, и никогда я этим особенно не интересовался. Но с некоторых пор на улицах родного города я вижу величаво проплывающий мимо меня автомобиль несусветной, явно противоречащей всем представлениям о разумных пропорциях длины. Это, как я узнал чуть позже, называется лимузин. “А что же там внутри?” — всякий раз думаю я безо всякой надежды вообразить себе что-либо, что вмещалось бы в круг моих представлений о материальном мире.

Хотя однажды я имел возможность проникнуть в этот сакральный мир, то есть почти проник. В нью-йоркском аэропорту меня встретил именно такой вот продолговатый монстр. И я сел в его кабину, рядом с водителем. Кабина как кабина — ничего особенного. И водитель как водитель — даже говорил по-русски. А вот сзади этой кабины располагалось черное непроницаемое стекло.

Всю дорогу до отеля во мне боролись два равно сильных чувства — законное любопытство и смертельный ужас перед чем-то неведомым. И ужас, надо сказать, победил. Так я и не узнал, хотя и имел возможность, что же таилось в безразмерной утробе этого моторизованного аллигатора. И это, наверное, правильно: должна же в жизни человека оставаться хоть какая-то тайна, кроме той, самой главной.





**ФИРМЕННАЯ  
УПАКОВКА**



## Нам не дано предугадать

**Н**ачавшись еще в XIX веке, споры о пользе или бесполезности искусства не утихают и по сей день. Время от времени священной жертвы поэта требует не только один Аполлон, но и общество в целом. Поэт отмахивается и огрызается — молчи, мол, бессмысленный народ. Время от времени поэт вдруг осознает себя учителем и творцом истории. В этой роли он, как и положено артистической натуре, склонен перегибать палку. А поскольку его убежденность в своем праве на проповедь разделяют не все, характер его начинает портиться,

а голос — давать петуха. Тогда уже отмахивается от него “бессмысленный народ”: “Не грузи. Без тебя разберемся”.

Но это все о так называемой общественной пользе искусства, о его хотя бы потенциальной способности послужить делу исправления нравов и обо всем том, о чем уже говорено-переговорено, и нами в том числе. А бывает ведь еще и польза конкретная, практическая, непосредственная. Ведь сообщают же нам время от времени о каких-то захватывающих научных открытиях вроде того, что музыка Гайдна регулирует кровяное давление, а картины Веласкеса — лучшее средство от изжоги.

С некоторых пор я стал верить подобным вещам. Во-первых, почему бы и нет? Нам ведь и в самом деле не дано предугадать, чем слово наше отзовется. Можем ли мы просчитывать последствия наших художественных усилий? Должны ли? Праздный вопрос. Разумеется, не можем и, разумеется, не должны, уже просто потому, что мы не в состоянии это сделать. Так надо ли стараться? Но это опять же общие соображения.

А во-вторых, вот что. Как-то в одном доме ко мне подошел незнакомый молодой человек и сказал: “Как же я рад с вами познакомиться. Вы сами не представляете себе, какую важную роль вы сыграли в моей жизни. Ваши тексты...” Я потупил глаза. “Ваши тексты, — продолжал между тем приятнейший молодой человек, — буквально спасли меня”. И он поведал мне удивительную историю. За несколько лет до нашего с ним разговора пришло время быть ему призванным в Советскую армию, в какую-то армию он ни малейшим образом призываться не хотел.

И не хотел он в эту армию до такой степени, что залег в районную психушку на предмет соответствующего обследования. Человеком он был, по моим представлениям, вполне нормальным, а вот по мнению психиатров — все же “пограничным”. Пограничность эта заключалась главным образом в том, что наблюдаемый не читал газет и даже не знал фамилии членов Политбюро, а вот стихи любил, знал и беспрерывно их читал, иногда — вслух.

Тут надо чуть-чуть отвлечься. В мои годы, то есть в конце шестидесятых, откосить от армейской службы было как нечего делать. Сообщишь в процессе беседы с психиатром, что твой любимый художник — Ван Гог, а любимый писатель — Кафка, и полдела сделано. Уже само знание подобных имен вызывало определенные подозрения относительно твоей психической адекватности. Блаженные были времена, чистые и искренние, не то что теперь.

Юноша же этот отбивался от родной армии в начале восьмидесятых, в разгар афганской кампании. А в эти годы “косить” было чрезвычайно трудно, даже с помощью стихов.

Лечащий врач нашего любителя поэзии неизменно просматривал приносимые друзьями стихотворные книжки. Он их прочитывал и, ничего не говоря, возвращал. Так томительно тянулось больничное время, пока кто-то не занес нашему юноше мой машинописный сборничек. Зашел в палату лечащий врач. Спросил: “Что читаем?” — “Да стихи вот дали почитать”. — “А можно мне тоже?” — “Да почему ж нельзя?”

Пожалуйста”. Доктор взял стопку мятых листочков и ушел. На следующий день, не говоря ни одного слова, вернул их. А на следующий день молодой человек вышел из больницы с надежным диагнозом.

Что мог я сказать, выслушав подобную исповедь, кроме того, что жизнь прожита не зря. Больше ничего. А потому именно это я и сказал.



## Урок чтения

**Т**олько давайте как-нибудь уже без психоанализа. Без разных фиксаций и компенсаций. Без комплексов.

Все просто. Вот замечаем мы, допустим, что кто-то из вполне взрослых окружающих в разговоре все время цитирует что-нибудь детское и даже младенческое. Не надо с ходу подозревать, что ваш собеседник вдруг впал в детство. То есть, конечно, все возможно. Но скорее всего, у него не так давно появился внук.

Знаю это по себе. С тех пор как моя маленькая внучка вошла в тот возраст, когда проблема сосок

и памперсов постепенно сменяется проблемой слов и фраз, я стал вспоминать все больше и больше из собственного детского чтения. И не только вспоминать...

Мой слух устроен так, что он постоянно вылавливает из гула толпы что-нибудь поэтическое. Но если раньше моих ушей достигал лишь классический четырехстопный ямб, то в последнее время пошел косяком инфантильный прыгучий хорейчик. Вот и на днях в непосредственной близости от моего уха кто-то произнес буквально следующее: “А финансовый отдел, он вообще, блядь, обалдел”. Метрически-ритмические характеристики, а также изысканная аллитерированность маленького шедевра прямиком отсылают к сказкам Пушкина или на худой конец к “а из нашего окна площадь Красная видна”.

Что именно улавливают дети из того, что мы им читаем, непонятно. Налицо, во всяком случае, первобытно-синкретическое отношение к любому слову как к слову изначально волшебному. Вот, например, я читаю двухлетней внучке перед сном что-то про то, что у зайца была избушка... не по-

мню какая, а у лисы, соответственно, какая-то другая. Это в данном случае неважно. Важно другое. Когда я дочитал эту сказочку до конца, внучка потребовала продолжения. Что делать, надо продолжать. Перевернув последнюю страницу обложки, я начал читать: “Главная редакция литературы для детей... редактор М. В. Коростылева... корректор М. Г. Митрофанова... адрес редакции с почтовым индексом... телефон редакции с кодом города... заказ номер... тираж столько-то тысяч экземпляров... бумага офсетная, печать офсетная... формат такой-то” — ну и так далее до самого конца. Надо сказать, что выслушивалось все это с вниманием ничуть не меньшим, чем собственно художественная составляющая книжки.

Когда я рассказал об этом своему приятелю, он вспомнил, что его сын, когда ему было года четыре, требовал, чтобы перед сном ему ни в коем случае не читали ни сказок, ни стихов, а чтобы читали схему московского метро.

Не подтверждение ли все это моей давней убежденности в том, что любой текст в соответствующем контексте обнаруживает способность прочи-

тываться как объект высокой поэзии? Все может быть. Дети на то и дети, чтобы позволять себе существовать вне наших предрассудков и культурных конвенций.

А нам остается лишь читать и перечитывать. Перечитывание детских книжек — процесс вполне органичный и легкообъяснимый. И дело не только в детях-внуках-племянниках. Я думаю, что настоящее чтение, чтение без оглядок на опыт, образование, вкус, без попыток сопоставления и выстраивания иерархий — это чтение в детстве. Где-то я прочитал про маленькую девочку, сказавшую однажды: “Когда же наконец я уже вырасту и мне разрешат читать взрослые книги? Все детские такие страшные”. Все правильно. Детские книжки — самые страшные, самые веселые, самые умные. По-другому и быть не может.

Взрослый опыт не столько продолжает детский, сколько постоянно ревизует его, подвергает придирчивой проверке. Взрослый к своим детским воспоминаниям относится ревниво, подозревая — по-видимому, небезосновательно, — что ребенком он был тоньше, умнее и адекватнее. В общем, “бу-

дем как дети”. И будем, по словам поэта, “только детские книги читать”.

Вот мы их и читаем. Вот и перечитываем. Несколько лет тому назад я провел такой эксперимент. Я взял и перечитал наиболее любимые в детстве книжки. Какие-то из них оказались вдруг совсем никуда. Майн Рид, например, провалился с треском. Жюль Верн стал со временем уныл и косноязычен. Зато “Том Сойер”, “Остров сокровищ” и “Три мушкетера” оказались еще краше, чем прежде. Но это уже взрослый взгляд. Уже предвзятый. Уже подпорченный эстетическим и всяким прочим опытом.

Вот мы и возвращаемся всю жизнь к тому, к чему мировая словесность, что бы она ни мнила о себе, сводима без остатка. Вот он, наш внутренний мир, такой компактный и такой универсальный: агушеньки-агу, не ложися на бочок, сорока-ворона кашку варила, деток кормила, этому дала, колобок, колобок, я тебя съем, не плачь, дед, не плачь, баба, мы в саду поймали вора, если б я была царица, вместо шляпы на ходу, ах ты гадкий, ах ты грязный, а вы знаете, что у... — далее везде.

## Старые басни о главном

**Н**есколько лет назад на Рижском рынке я увлеченно наблюдал за занимательной сценой. Около прилавка с фруктами стоял не вполне трезвый гражданин, молча и сосредоточенно пытавшийся уцепиться с прилавка виноградную гроздь. Как только он в очередной раз пытался дотянуться до вожаделенного предмета, хозяйка винограда, не прерывая бойкой торговли, звонко шлепала его по шаловливой руке. Он отдергивал руку и некоторое время стоял слегка колеблющимся столбом, изображая полную свою непричастность к суетному миру.

Потом он снова тянул руку и снова получал шлепок. И опять. И еще. Это длилось, надо сказать, довольно долго. Но через какое-то время, утомившись от пылкой, но неразделенной любви к халяве и бесперспективного рукосуйства, гражданин торжественно резюмировал: “Говно твой виноград”. И устремился, солнцем палимый, в неясную даль в поисках лучшей участи.

Явственно почуяв своей смущенной душой тень античного баснописца, я не смог сдержать радостного, освобождающего смеха, чем вызвал любопытные, мягко говоря, взгляды погруженной в пучину товарно-денежных отношений рыночной общественности. И, уже в который раз убедившись в том, что дух веет где хочет — хоть на Рижском рынке, хоть где, — я принялся буднично прицениваться к своему любимому крымскому луку. Жизнь-то не должна же стоять на месте.

А чего я вспомнил про этот вечный эзоповский сюжет? Думаю, Америка тому виной. Ну, то есть не сама Америка, такая, какая она есть, а та мифическая Америка, которая уже в который раз за соци-

ально-психологическую историю нашего отечества играет роль того самого зеленого винограда.

То, что иррациональная ненависть есть обратная сторона потаенной страсти, знают все, кто хотя бы шапочно знаком с азами психологической науки. “Быть Америкой” — мечта стыдная, тайная, глубоко зарытая в плотном ворохе патриотической риторики. Но до Америки никак не дотянуться. Ни догнать, ни перегнать. Ни по мясу, ни по молоку. Ну в крайнем случае по ракетам и по поголовью мужчин в военной форме. Никак ею ни стать, сколько спутников ни запускай и сколько ни трынди про свое величие и двухполярный мир.

А потому и приходится вновь и вновь говорить самим себе, что “говно твой виноград”.

Реальной Америкой — где сила и свобода умеют работать друг на друга, а не исключать друг друга, — видимо, не стать. А потому надо придумать другую. Ту, которой нам уж никак не надо. И ее придумывают.

В шизофреническом образе мифической Америки легко совмещаются несовместимые черты —



например, маразматическая дряблость и вполне пассионарное “бряцание оружием”. Эта “Америка” разваливается прямо на глазах и при этом душит мир своим капиталом. Она совсем не имеет собственной культуры, но этой своей отсутствующей культурой заполонила весь мир. Она слаба и немощна, но, если потерять бдительность, она захватит все мировое пространство. Там гнобят несчастное цветное население, но “черные” там окончательно распустились. Она давно уже никому не интересна, но о ней думают и говорят с утра и до ночи.

Дело вовсе не в том, что реальная Америка и намного лучше Америки мифической, и намного ее хуже. Дело в том, что это просто две разные Америки.

Жить в мифе нервно и тревожно, но в целом надежно. Миф не требует ни доказательств, ни сопоставлений, ни эксперимента, ни чувства истории, ни ее знания. Есть мифическая Америка. И есть не менее мифическая Россия.

Мифическая Россия помимо ее имманентного величия характерна еще и тем, что она в одно

и то же время с маниакальной неутомимостью ищет под диваном притаившихся там многочисленных врагов и пытается встать с колен, не принимая в расчет, что эти два действия фатально несовместимы. Что-нибудь одно.

А с колен подняться было бы недурно. Ну хотя бы для того, чтобы подойти к зеркалу.

## Следите за рекламой

**В** последние несколько лет участились жалобы на то, что нынешние литература, кино, а также средства массовой информации сосредоточились исключительно на фиксации и смаковании негативных явлений нашей жизни. Сплошные, говорят, убийства, грабежи, бандиты и телки по вызову. Сплошная, говорят, злокачественная чернуха захлестнула наши экраны и наши страницы. Что это, спрашивают сами себя и друг друга, — простая безответственность или, хуже того, определенный умысел, выполнение тайного заказа на формирование у широких

слоев населения социальной депрессии? Как будто, говорят, нет у нас никаких позитивных сдвигов. Как будто бы возникновение искомого среднего класса не где-то уже тут рядом не за горами прямо на глазах как на дрожжах. Где хорошие новости? Где хорошие люди? Где, извините за выражение, положительный герой? Где он?

Где, где...

Вообще-то давно известно, что зло в различных своих дозах и воплощениях куда привлекательнее для художника, чем добро. Черти и злодеи, как правило, живее и обаятельнее, чем ангелы и праведники. Картины ада удаются художнику куда достовернее и веселее, чем наоборот.

Маршалл Маклюэн, прославленный исследователь массмедиа, утверждал, что настоящие новости — это плохие новости. Но ведь должен же существовать где-то мир вечного и беспримесного позитива, безразмерное пространство порождения и бытования положительных образов, вечно цветущая благая весть? Он есть. Это реклама.

Что же еще может столь последовательно, систематично и наглядно напоминать нам о том, что

в мире не только обжухивают, стреляют, бомбят, льют реки разбавленного кетчупа, прищемляют друг другу яйца в дверях и хватают друг друга за грудки в Государственной думе, в прямом эфире и на спортивных площадках? Что есть и другие, вечные и непреходящие ценности? Что есть мир, где царят истина, добро и красота? Там победили полное согласие и созвучие всего со всем. Там все со всем соотносится и все со всем рифмуется, даже такие вещи, как “модненько” и “в Сокольниках”. В профанной жизни не срифмуется ни за что, а там — сколько угодно. Там все взаимно вежливы и аккуратно подстрижены. Женщины там красивы и ухоженны, а мужчины... ну, в общем, тоже. Там опрятно и нарядно. Животные там не гадят, дети не галдят, а взрослые не уклоняются от налогов. Молодежь, выбравшая безопасный секс, весела, но не разнузданна, и все, типа, круто, прикольно и вообще *cool*. Соседка если и забежит на минутку, то не затем, чтобы занять столик или пожаловаться на ходока-мужа, а чтобы порекомендовать самое лучшее в мире моющее средство. Свекровь если и поселилась ни с того ни с сего в твоём доме,

то не для того, чтобы половчей сжить тебя со свету, а для того, чтобы день-деньской печь тебе аппетитные оладушки на полезном постном масле. Баварские пивовары после первого же глотка “Балтики” понимают вдруг, что вся их суетная жизнь прошла, в общем-то, зря, но не отчаиваются. Да и зачем — вокруг так много прекрасного. Слева, например, офигенная жвачка, справа булькает что-то жидкое, не давая тебе засохнуть. Слева стиральный порошок “Необычный”, справа — все входящие со всеми вытекающими. Слева кудри токаря, справа — кузнеца.

Герои масштабных рекламных полотен — это не просто положительные герои, носители светлых идеалов. Это практически святые наподобие князя Мышкина. Разве не сочтешь святым того мужа, который не только не гонит взащей свою законную супругу за то, что она травит его и его детей бульонными кубиками, но еще и безмерно ей за это благодарен? Это ли не урок смирения?

Герои рекламы — это даже не ангелы, это все-таки люди, но люди до грехопадения. Ибо только человек, еще не научившийся различать добро и зло,

может со столь оргиастическим восторгом вдыхать аромат растворимого кофе *Nescafe*. И только тот, кто не вкусил еще плода от древа познания, может с таким блаженным, сияющим, как импортная сантехника, лицом окунать чайный пакетик в кружку с кипятком.

Так что бросьте — с “позитивчиком” у нас все в полном порядке. И есть еще в жизни место подвигу, и улыбка, без сомненья, вдруг коснется ваших глаз, и кто хочет, тот добьется, и жизнь дается нам только раз, будучи хоть и сложной, но чертовски хорошей штукой, и вообще.

## Лебединое болото

**С**лово “китч” я узнал лишь в начале 1970-х годов. А до того все, что с некоторых пор стало обозначаться этим емким иноземным словом, называлось по-разному: мещанством, пошлостью, безвкусицей. Страшным мещанством были, например, плюшевые портьеры. Чудовищной пошлостью считалась песня “Ландыши”. Вопиющей безвкусицей была лакированная репродукция шишкинских мишек в золоченом багете.

Боже, как же люто я ненавидел какую-то ни в чем, как выяснилось впоследствии, не повинную



фарфоровую балерину, с обезоруживающей топорностью изображавшую умирающего лебедя на поверхности бабушкиного комода. Ой, а про комод-то я совсем забыл, как же так! А ведь и ему, несчастному этому комоду, не пришлось сладко от моей иконоборческой ярости. Вот уж пошлость так пошлость! Вот мещанство-то!

И немудрено: мои ранние вкусы и пристрастия формировались в годы дурашливого хрущевского “модернизма” с его трехногими падкими табуретами, с его пластиковыми журнальными столиками, с его прогрессивными торшерами, эстампами и асимметричными керамическими вазочками. Столь же смутное, сколь и сильное неудовольствие от окружающей реальности канализировалось во все то, что дружным хором определялось как мещанство. Мещанству — бой!

Слово “китч” я узнал вовремя. Я узнал его примерно тогда же, когда стал вдруг проникаться ностальгической нежностью ко многому из того, что так яростно ненавидел в годы мятежного созревания. Примерно в те же годы появилась замечательная частушка: “Кто газеты не читает, начи-

нает отставать. Он еще искореняет, что уже пора внедрять”.

Тогда же я стал понимать, что есть китч и китч. Все то, что третируется общественной конвенцией как заведомая безвкусица, эстетическая маргинальность и вообще “коврик с лебедями”, для эстетически чутких натур становится в какой-то момент объектом пристального и дружелюбного внимания, начинает вызывать особое чувство, которое очень приблизительно можно определить как ироническое любование.

Я помню, как зашла ко мне в гости одна родственница, интеллигентная дама, учительница музыки. Увидев на стене моей комнаты волшебную картинку с подкрашенным фотоизображением какой-то индийской красавицы, шикарно умирающей в объятиях изумрудной змеи (такие картинки продавались в те годы глухонемыми в поездах дальнего следования), она, не зная, как на все это отреагировать, сказала лишь: “Левушка! Что за китч? С твоим-то вкусом!”

Не мог я объяснить ей того, что ясно чувствовал, но не умел коротко и внятно сформулировать.

Не мог я ей сказать всего того, что и сам понял лишь спустя какое-то время.

Не мог я объяснить ей, что этот маленький шедевр — уже никакой не китч хотя бы потому, что он, невзирая на змею, безопасен. И не только безопасен, но и исключительно полезен как объект коллекционирования и как сырье для современного искусства. Что китч — понятие столь же исторически текучее, сколь и вкус. И что “высокое” и “низкое” — это вовсе не раз и навсегда установленные категории. Что они в зависимости от времени и социально-культурного контекста способны меняться местами. Сегодня — китч, завтра — высокое искусство. И наоборот. Что существует взгляд, в соответствии с которым ближе всего к истине банальность. И любая форма, общественно осознанная как китч, легко становится объектом “высокого искусства”. Для этого требуется сущий пустяк — наделить ее смыслом.

А вообще-то китч, настоящий китч, небезопасен. Особенно для людей с ослабленным эстетическим иммунитетом. Опасен он тем, что соблазнителен. Соблазнителен тем, что прост, как

выдвинутый вверх средний палец. Опасен тем, что пустое там всегда притворяется полным, низкое — высоким, а смешное — серьезным. Опасен тем, что всегда выступает в чужой роли. Фарс там выступает в роли мелодрамы. Мелодрама — в роли трагедии.

Китч — это то, что мучительно режет слух и глаз эстетически искушенного человека. Всегда было принято считать, что китч аполитичен. Это так и есть, если пренебречь тем обстоятельством, что трудно придумать что-нибудь более китчевое, чем язык политической риторики, где произносится одно, подразумевается другое, а выводы из всего этого делаются третьи. Особенно хорош в этом смысле язык, так сказать, державно-имперский — классический образец китча, где откровенно и безнадежно пародийное выступает в роли суперсерьезного. Чрезмерно серьезное вообще всегда смешно.

Китчем могут становиться и становятся даже отдельные слова, взятые на активное вооружение теми, кто способен в китч превратить все что угодно. Так, с легкой руки бессмысленных и тре-

скучих оборотов из госбанды под названием “Наши” абсолютно неудобопотребимым стало сильное когда-то слово “фашизм”. Точно так же, как не может быть ничего пошлее, чем официально инспирированная “борьба с пошлостью”, так нет нынче ничего более фашистского по сути, чем наш официальный “антифашизм”.

Китч маргинален в своей основе, но норовит шпарить исключительно по магистрали. Он всегда вьет гнезда в ветвях официальной культуры, которая смешна и сама по себе уже хотя бы потому, что всегда надувает щеки.

Любая авторитетная эстетика, любой социально-культурный мейнстрим — это и есть китч, по крайней мере потенциальный. А именно потому, что китч контекстуален, для меня и тогда уже было очевидно, что, например, балет “Лебединое озеро” (и в этом, разумеется, не виноваты ни великий Чайковский, ни блистательный Петипа) есть на сегодняшний день безусловный китч. Моя тогдашняя убежденность триумфальнейшим образом была подтверждена известными августовскими днями 1991 года.

Но и сама официальная культура исторически изменчива. В те времена, когда состоялся мой разговор с родственницей (то есть во времена вполне тоталитарные), наиболее авторитетной эстетикой считалась всяческая высокая классика (“Лебединое озеро”) и с разной степенью неумелости следовавшая ее образцам классика советская. А в нынешнюю, то есть скорее авторитарную, эпоху в качестве китчевого мейнстрима выступают жирный гламур, наглежащая от полной безнаказанности попса, несовместимый с жизнью телеюмор, сивушно-палехский патриотизм, всенародная резвушка Ксюша и мачо-президент, в маске горнолыжника вещающий что-то о геополитических интересах России. Об этом я и подавно не мог ничего рассказать своей чувствительной кузине, так как ничего подобного не мог тогда предположить и сам.

Не умел я тогда объяснить ей, что китч — это, в общем-то, не сисястая индианка с точкой во лбу и не потешная копия картины “Охотники на привале” в привокзальном ресторане. А это плакат “Народ и партия едины” на запертых по случаю переучета воротах Черемушкинского рынка. Это му-

чительно задушевная “первомайская” интонация радиодиктора. Это “беседы о прекрасном” в красном уголке горячего цеха. Это приуроченная к той или иной годовщине Великого Октября телетрансляция все того же “Лебединого озера”.

Китч — это полый знак, означающее без означаемого. Это высказывание, значение которого давно выветрено, заболочено, как злополучное “Лебединое озеро”.

Всего этого я не смог объяснить этой милой даме, поэтому пришлось малодушно соврать, что это так, случайно, не обращай внимания, завтра же, мол, сниму.

## Обнажение приема

**Е**сли попытаться определить основные художественные особенности сегодняшней официальной пропаганды совсем коротко, в двух буквально словах, то это обнажение приема. Это ее принципиально отличает от ее безусловного прототипа — пропаганды советской.

Пропаганда — что советская, что нынешняя — во все времена занималась одним делом: она с разной степенью вдохновенности вралась, облегчая тем самым интеллектуальную задачу хотя бы чуть-чуть думающего обывателя.



Обыватель, даже лишенный доступа к информации, твердо знал: дело обстоит прямо противоположным образом тому, что рисует ему газета или телевизор. Но если советский иллюзионист работал с ширмой, напуская всяческого тумана относительно таинств своей профессии, то нынешние распиливают тетку в золоченом платье прямо на глазах у почтенной публики безо всяких загадочных улыбочек, без розового дыма, без чалмы и прочих трахтибидохов.

Это и понятно: советская пропаганда, тоталитарная по определению, своей целевой аудиторией числила все совокупное население огромной страны. Нынешние фокусники, ясно осознавая новую информационно-технологическую ситуацию в стране и мире, рассчитывают лишь на тех, кто сам обманываться рад, а таких, к их величайшей радости, пруд пруди. А те, кто им не верит? Ну не верят — и не надо, пусть сидят дома и в наш цирк не ходят. А если сунутся со своим скепсисом, то уж по обстоятельствам.

Тому, кто в цирк не ходит, приходится самому воспроизводить картину обступающей его со всех сторон социальной жизни.

Вот, например, у всего того, что связано с грузинскими событиями, из множества разноречивых и противоречащих друг другу интерпретаций как-то особенно ярко выделяются две.

Одна — официальная, та, что для посетителей цирка.

Это защита. Защита своих граждан. Вам можно, а нам нельзя? Вы что, можете что-то возразить? Двойные, что ли, стандарты у вас? Так так и скажите. То есть как это не наши граждане? А вы у них паспорта посмотрели? Так посмотрите. То есть как это мы нарушили границы? Там же наши граждане, вам же сказали, вы что, тупые совсем?

Мне, вообще-то говоря, очень нравится, когда сильное и справедливое государство защищает жизнь, здоровье, права и достоинство своих граждан, где бы они ни находились. Но в данном случае именно это самое “где бы они ни находились” является моментом ключевым, чтобы не сказать роковым.

Я, кажется, усвоил, что надо сделать, чтобы обратить на себя и на свои проблемы внимание родного государства. Во-первых, бесполезно нахо-

даться в пределах собственной страны. Государство страдает дальновзоркостью и различает своих граждан только на очень большом удалении. Но и это не все. Все сложнее и причудливее.

Не в любой точке земного шара тебя разглядят, вот в чем дело. Если ты подвергся ментовскому гоп-стопу в Душанбе или тебя как шпиона и пособника сволокли на минский цугундер, надейся только на себя и на свой фарт.

Тебя защитят, непременно защитят, причем независимо от того, нуждаешься ли ты в таковой защите, — но только в том случае, если ты волею обстоятельств окажешься на той территории, каковая в процессе твоей защиты может быть изъята в пользу защищающего. Так сказать, символический гонорар за твою защиту. Так что, сограждане, запомните. Наиболее защищены вы там, где стреляют и где под боком сидит 58-я армия. А иначе — уж извините.

“Мы что, не можем защитить жизнь своих граждан?” — со сдержанным и благородным негодованием в голосе вопрошает один из участников парного конферанса г-н Путин. “А если мы защи-

щаем свои жизни, — со свойственным ему тонким сарказмом продолжает он, — то у нас отберут колбасу?” “У нас выбор какой? — вкрадчиво идет он на коду. — Между колбасой и жизнью?” И эффектно заканчивает на манер провинциального адвоката: “Мы выбираем жизнь!”

“Мы” — это хорошо. В позднесоветские годы в интересах незыблемости основ единственно верного учения страна (это я для тех, кто помоложе) сильно обесколбасела. Партия и правительство, как и теперь, тоже выбрали тогда жизнь, не сильно, впрочем, отказывая себе и в колбасе. Жизнь — уж такую, какая она была, то есть безо всякой особенной колбасы, — они выбрали для вверенного им населения.

Ладно, бог с ней, с колбасой. Колбаса как универсальный символ социального успеха советского человека — это вообще отдельная историко-культурологическая тема, да и наговорено на эту тему уйма всего.

Другая же картина происходящего укладывается в хорошо знакомую с детства большинству россиян пацанско-приблатненную логику, како-

вая, скажем попутно, верно служит основным движущим механизмом различных внешнеполитических телодвижений российского руководства. Эта логика схематически выглядит примерно так: “Короче, пацаны, харэ мне в сявках ходить. Я уже, типа, подрос, бицепсов накачал, фикса вставил, перо на бабулькины сахарные щипчики выменял, и ваще я теперь при делах. Хватит, короче, во дворе одному только Жорке Даблю быковать. Я тоже крутой. Я тоже хочу. И буду. И четвертый подъезд — мой! Понял, блядь? За кого захочу, буду заступаться. У кого захочу, мелочь отберу. И нех... мне тут!”

Эта картинка не очень-то скрыта за семью замками официальной риторики. Она довольно легко и органично просвечивает сквозь галлюциногенную пропагандистскую туфту, являя себя в виде судьбоносных словечек и примочек, хорошо усвоенных в школе питерских подворотен.

Прием обнажен. Он обнажен, как торс российского президента. Он гол как сокол. Гол, как король.

## Деревенская проза

**И**ногда бывает очень полезно вспомнить о первоначальных значениях тех или иных слов. Вот слово “политика”, например, происходит от греческого слова “полис” — “город”. Политика — явление сугубо городское. Это социальное устройство городской жизни. Кстати, и слово “гражданин” происходит от слова “город”. Гражданин — это горожанин.

В нашей стране, увы, так и не сложилась городская жизнь в ее европейском понимании. Не один и не два раза за отечественную историю она пы-

талась сложиться, но не сложилась до конца. Все время мешали войны, революции и прочие социальные катаклизмы.

Города есть, есть даже мегаполисы. А городской жизни нет. Города есть. А горожан почти нет. Потому что загадочная логика, движущая нашей историей, не допускала развития того самоосознанного социального явления, называемого в разные времена то “мещанством”, то “средним классом”, то “гражданским обществом”. А потому как были, так и остались в наших городах лишь бояре на санных, увешанных бубенцами и мигалками, да жмущиеся к заснеженным обочинам скрипучие телеги и стоящие вдоль дороги мужики, мнущие шапки в руках.

Не потому ли мы столь равнодушны к тому, как вечно и разнообразно корежат и лепят заново наши города? Не потому ли каждое новое поколение москвичей не узнает на картинке вид Пушкинской площади десятилетней давности?

Есть, конечно же, и всегда были люди с городским сознанием. В наши дни их принято называть “либералами”. Но их исчезающе мало, и они всегда

под подозрением. Как много лет была под подозрением своих соседей по коммуналке моя однокурсница Люба. Соседи никак не могли смириться с тем, что она каждый день принимала душ. Они загадочно и зловеще говорили: “Значит, есть чего смывать. Мы-то и без того чистые. Нам-то каждый день мыться без надобности”.

А потому и политика здесь такая, какая есть. То есть она, строго говоря, и вовсе никакая не политика. Политикой здесь называются все больше стрелки да разборки, терки да толковища, сходняки да правилки. Если это понимать и не называть это “политикой”, то все встает на свои места, и уже не столь мучительным кажется ощущение неизбывного абсурда.

Городскую жизнь регулирует закон. Российскойскую жизнь закон никаким образом не регулирует. Так же как в крестьянском мире правили “обычай”, а в криминальном — “понятия”, в нынешней квазиполитической жизни осуществляется верховенство “правил”, известных и понятных лишь узкому кругу жрецов. Остальным же дано право гадать, что по правилам, а что нет. Про свежепо-



саженного олигарха таинственно говорят: “Он играл не по правилам, вот и доигрался”. Играешь по правилам — можешь о законе даже и не думать. В случае игры не по правилам можно уже вспомнить и о законе. “Игра не по правилам” — это уже приговор. Остальное — лишь процедура, ритуальная и не слишком обременительная уступка цивилизованному миру, с которым наша “политика” все-таки связана какими-никакими товарно-денежными отношениями.

Штатные и добровольные апологеты нынешнего положения вещей любят ссылаться на статистическое большинство. А вот большинство поддерживает, говорят они в подтверждение своей правоты. Если бы действительно большинство поддерживало, это было бы печально, но не трагично. Вкусы, как известно, меняются. И иногда стремительно. Коллективное сердце электората склонно к перемене, как ветер мая. Боюсь, что дело обстоит гораздо хуже.

Никого, разумеется, большинство не поддерживает. Оно поддерживает лишь собственные штаны, раз в четыре года обреченно бредя в бли-

жайшую школу, чтобы окунуть в какой скажут ящичек какую укажут бумажку с какой покажут фамилией. Вот и вся поддержка. Это самое “большинство”, отходящее от телевизора только в клозет или чтобы помешать борщ в кастрюле, поддержит кого угодно. Потому что ему все равно.

Знакомый социолог, изучающий телеаудиорию, поведал мне страшноватую вещь. В результате недавних опросов выяснилось, что сокрушительно большое число телезрителей, особенно жителей небольших городов, не очень умеют отличать реальных персонажей российской действительности от мнимых, не делая никаких различий в восприятии тех или иных телевизионных жанров. Новости, кино, фабрики звезд, сериалы и концерты юмора для них примерно одно и то же. Поэтому и какая-нибудь Кармелита столь же реальна, как Ксения Собчак, Петросян с Галкиным слабоотличимы от Степашки с Хрюшей, а Путин с Медведевым могут достойно мериться рейтингами с какими-нибудь доном Педро и доном Леонсио.

А потому, если им предложат однажды прийти к урнам и проголосовать за Деда, например, Мо-

роза, они это сделают с величайшей готовностью, накорябав на бюллетенях свои самые заветные мечты: починить кран на кухне, трахнуть недотрогу-соседку, выдать замуж дочку, подправить повалившийся забор... Хотя хрен с ним, с забором, — есть дела и поважнее: выпереть азербайджанцев с рынка, отключить газ оранжевым хохлам и не допустить строительства американской военной базы в Гваделупе.

А начальство? Ну, какое есть, такое и есть.

Я недавно вычитал в дневнике хорошего русского писателя Пришвина удивительную запись: “Раздумывая о нынешнем циничном отношении народа к вождям, я прихожу к мысли, что это деревенская этика перекинулась в государственную, в русском деревенском народе на всякое свое близкое начальство смотрят как на необходимое зло, и в начальники идет последний человек”.

Впрочем, эта запись давняя, начала тридцатых годов. А с тех пор очень многое изменилось — и в жизни, и в сознании, не правда ли? Столько всего появилось за все эти годы. Вот интернет, например...

Интернет, например, мировая, так сказать, паутина. Вот читаю я на днях в интернете какой-то форум, где, уж не помню по какому вопросу, схлестнулись меж собой двое азартнейших пользователей. Один, как это понятно из контекста, житель России. Другой явно пишет из какой-то западной страны. В какой-то момент на что-то разгневанный россиянин пишет: “Ты не забывай, что находишься в русском интернете. Сиди в своей Европе-Америке и не лезь в наш интернет”. “Наш интернет” — неплохо, да? Вроде как: “Вы, зареченские, чтоб к нашим хрюпинским девкам даже близко не подходили!”

Ох как многое меняется в нашей с вами жизни. А уж в сознании!

## Вам музыку?

**П**опробуем поговорить на тему современности того или иного культурного жеста. О том, в частности, что подавляющее большинство художников либо опережают свое время, либо, что на порядок чаще, от своего времени фатально отстают. А еще можно поговорить о том, что один и тот же жест в одну эпоху может быть осознан как жест художественный, а в другую такое и в голову никому не придет.

Короче говоря, в середине семидесятых мне была подарена пластинка моего любимого (и тогда

и теперь) американского композитора Джона Кейджа, автора одного из главных шедевров XX века — сочинения под названием “4'33””. Четыре минуты тридцать три секунды — ровно столько времени сидящий за раскрытым инструментом музыкант не издает ни одного звука. А эту пластинку по моей просьбе привез мне мой американский приятель. Это была прекрасная, концептуально чистейшая вещь, впрочем, для многократного использования не вполне пригодная, потому что музыка эта выглядела примерно так: на протяжении сорокаминутного гробового молчания раз пять или шесть через равные промежутки времени хорошо поставленный голос четко произносил всего лишь одну фразу: *This is the music by John Cage*. Пока я внимал этому в высшей степени медитативному произведению, меня преследовало какое-то очень важное, но ускользающее воспоминание. Потом я вспомнил.

Кто-то об этом знает, а кто-то нет. Но в любом случае в конце пятидесятых существовал такой, как теперь говорят, носитель — самопальные музыкальные записи на рентгеновских пленках. Это называлось тогда “музыкой на костях”. Это

был, в сущности, тогдашний музыкальный самиздат. Старший брат иногда покупал такие “кости” с джазом и рок-н-роллом. Качество звука было чудовищным. Но ведь ничего другого все равно не было. Пластинки продавались какими-то подозрительными личностями в окрестностях ГУМа. Брат однажды купил то, что давно хотел. Элвис Пресли. Пятьдесят, между прочим, рублей. Деньги хоть еще и дореформенные, но для первокурсника явно не избыточные. И вот он приносит пластинку домой. И вот он ставит ее на проигрыватель. И вот он замирает в предвкушении восторга. И вот начинается характерное шипение. Но ужас-то в том, что характерное это шипение вовсе даже и не собирается перерасти во что-нибудь такое, что соответствовало бы его меломанским ожиданиям. И ужас этим не ограничивается, ибо к самому концу, когда уже не остается решительно никаких сомнений в том, что он подвергся наглой “наколке”, пластинка с мерзкими, издевательскими интонациями и с приблатненной “оттяжечкой” произносит: “Вам музыку?” И после некоторой паузы добивает: “А вот хуй вам музыку!” И все.

Вот вам и Джон Кейдж. Но если бы не Джон Кейдж и не вся современная художественная культура, это воспоминание так и осталось бы воспоминанием, в крайнем случае смешным, а скорее всего — просто противным. А может быть, и воспоминания никакого не было бы: что, мало нас, что ли, обманывали в этой жизни? И несмотря на то, что авторы этой незамысловатой аферы едва ли ставили перед собой какие-либо художественные задачи, это была вполне концептуалистская акция. Это было, конечно же, искусство, но искусство, трагически не понятое современниками, ибо слишком уж обогнало свое время.



## Точка пересечения

**К**лассический детектив начинается с трупа. И очень редко этим трупом ограничивается. Более того, страницы авантюрных книжек, как правило, кишат трупами. И ничего. Читатели не хватаются за сердце, а читательницы не падают в обморок. Читатель, глотающий эти набитые трупами страницы, невозмутим, как прозектор. Смерть литературная, то есть бумажная, — понятие жанровое.

И историческое.

Смерть героя античной и всех последующих трагедий не была смертью в нынешнем понимании этого слова. Это было высшее торжество и высшее утверждение. Это был фатум, с которым не спорят.

Герои романтических поэм и повестей умирали настолько нарядно, опрятно и привлекательно, что ничего, кроме мучительной зависти, вызвать не могли.

Смерть не как “смерть”, не как геройский жест или философическая метафора, а именно как смерть была по-настоящему освоена психологическим романом. Проза Льва Толстого насквозь прошита мотивом смерти. “Война и мир”, как на китах, композиционно держится на нескольких смертях. “Не понимаю, как он не боится так бояться смерти”, — сказал кто-то о Толстом. Но отчаянный, безрассудный и действительно бесстрашный ужас перед смертью становился мощной движущей силой.

Чехов знал о смерти, кажется, все и все понимал о ней — он был доктор. Смерть была для него

будничным делом. Его последним произведением стали слова, произнесенные им по-немецки. *Ich sterbe* — я умираю. Можно предположить, что он не захотел в тот момент говорить о ней по-русски. Говорить о ней по-русски — это литература, привычное дело, профессия, рутина. А он говорил не о ней, он говорил с ней. Он умирал по-настоящему. Искусство и сухое медицинское заключение сошлись в одной точке — точке пересечения.

Лишь из литературы мы знаем, что для того, чтобы поглазеть на иные пределы, не обязательно даже и умирать. Орфей и Данте вернулись живыми для того, чтобы свидетельствовать. Человеческая история, особенно история прошедшего века, реализовала эти великие метафоры. А еще история научила нас тому, что смерть — еще не самое ужасное, что может приключиться с человеком. И что тот, кто затевает обустройство земного рая, получает крошечный ад. Об этом можно говорить долго, но лучше перечитать прозу Шаламова.

Писатели умирали и тут же сами превращались в литературных героев. “Какой светильник

разума угас”, “Погиб поэт, невольник чести”, “В молчанье твоего ухода упрек невысказанный есть”. Поэты со сладострастием предсказывали собственную гибель, и иногда им удавалось оправдать читательские ожидания. Смерть писателя — это не только медицинский факт, это неизбежно еще и факт литературный. А “смерть поэта” — это такой жанр.

Ее боятся, ее заклинают, ее дразнят, ее зовут, с ней шутят, ее любят. Ее странные, двусмысленные, иногда вполне интимные отношения с искусством во все времена бесконечно интриговали и завораживали. Точки их пересечения всегда были самыми болевыми точками. “Строчки с кровью убивают — нахлынут горлом и убьют”. И ведь бывало так, что убивали. Ибо если литература — это игра, то прежде всего игра со смертью.

Да, о смерти написано много. Да, в литературе то и дело гибнут, тонут, застреливаются и закалываются, умирают от чахотки, холеры или горячки. Но даже если там не умирают, не лезут в петлю и не гибнут на дуэли, все равно все — о смерти. Буквально все, даже “травка зеленеет, солнышко

блестит”. Ибо смерть — это не тема литературы, это ее внутренняя пружина и, как это ни парадоксально, могучий гарант ее живучести. Все остальное текуче и изменчиво. Одна лишь смерть нас никогда не подведет — явится ровно в назначенное время.

## Доиндустриальный пейзаж

**К**акая еще индустрия? Это у нас тут теперь индустрия. Причем всего подряд: чего нихватишься, того и индустрия. И какая такая “индустрия развлечений” в кажущиеся уже такими далекими, а на самом деле такие недавние советские времена? Никакая это была не индустрия, а было это, чтоб вы знали, “неустанной заботой партии и правительства о культурном досуге трудящихся”. А со словом “индустрия” ассоциировались лишь грандиозные картины сталелитейного цеха и оглушительный металлический скрежет, сопровождавший величавую поступь

текущей пятилетки. В основном была “тяжелая индустрия” — та, которой хвастались. Была, впрочем, и “легкая”, но уже не индустрия, а всего лишь “промышленность”. Ею хвастались тоже, но с некоторой все же застенчивостью, вполне, впрочем, объяснимой.

Да и слово “развлечения”, прямо скажем, если и практиковалось, то скорее в негативном контексте. “Ты развлекаться сюда пришел или спектакль смотреть?” — спросила однажды меня, шестиклассника, суровая театральная билетерша. Это было сказано в том смысле, что в театре надо смотреть на сцену и помалкивать, а не шептаться с соседом и не вертеть башкой в разные стороны. Нет, “развлечения” не особо приветствовались, как не приветствовалось все то, что не было напрямую связано с воспитательным процессом, каковой в свою очередь рассматривался в исключительно производственной или же военно-патриотической перспективе. А “развлекаться” значило примерно то же, что “отвлекаться”, то есть косить в сторону от всего того, чем напряженно и ритмично дышало наше сплоченное общество.

Вот мы и отвлекались как могли. И даже была кое-какая индустрия этого дела, хотя, повторяю, это все называлось совсем иначе.

Телевидение, появившись на моей памяти практически одновременно с самой памятью, особой роли не играло. Тотальную роль коллективного организатора, пропагандиста и утешителя оно обрело лишь многие годы спустя. А поначалу телевизор работал лишь часа четыре в день, водился далеко не у всех и вообще какое-то время скромничал и держался в тени, покуда не осознал фактическую безбрежность своих скрытых возможностей.

Очень много всего понаписано — в частности и автором этих строк — о той роли, какую играл в до- и раннетелевизионную эпоху кинотеатр. Это было самое демократичное из всех культурных учреждений страны. Туда ходили семьями, производственными коллективами, парами и поодиночке. Там скрывались от непогоды. Там обжимались во мраке. Там прогуливали уроки и лекции. Там смотрели все подряд и часто — по несколько раз.



Еще — клуб. Когда в наши дни произносят что-то вроде того, что “пойдем вечером в клуб”, у меня неизменно возникает в памяти некое типовое, с псевдоклассицистскими претензиями сооружение с шестью белесыми колоннами по фасаду. Иногда это называлось Дворцом культуры. Там были кружки, хоровые и хореографические коллективы, наездами бывали и настоящие артисты. Кино опять же... Теперь, несмотря на очевидную убогость этих культпросветовских институций, бросить в них камень рука как-то не поднимается. Немало все-таки одиноких сердец обрели утешение и покой в этих неуютных стенах. Да я и сам не без благодарности вспоминаю драмкружок, кружок по фото и еще какой-то, чуть ли не авиа-модельный. Да и в хоре я, помнится, пел. Альтом.

“Отвлекались” также в парках культуры и отдыха. Воскресный день, семья, мороженое, лодочка, папа на веслах, мама в крепдешиновом платье, сцена-ракушка, карусели, шашлык, папе пиво, мне лимонад. Эти парки, эти пруды, эти лодки, эти мужчины в шелковых теннисках и женщины в платьях с плечиками, эти гипсовые барышни с веслами

и живые голосистые мороженщицы стали на долгое время необходимым антуражем огромного количества советских кинокомедий. Поэтому личные воспоминания легко сплетаются с воспоминаниями кинематографическими. Ну вот видите — опять кино.

Что еще можно выдернуть из памяти? Дачные танцплощадки с обязательной дракой в конце? Школьные, студенческие и учрежденческие “вечера отдыха” с концертом художественной самодеятельности и танцами под вокально-инструментальный ансамбль? Санаторных массовиков-затейников? Выдернули.

Можно упомянуть также о музеях и библиотеках как неплохих способах “отвлечься” для людей, как сказали бы пару десятилетий спустя, более продвинутых. Там особую коммуникативную функцию выполняли буфет и курилка. Один мой давнишний знакомый регулярно посещал эти места с единственной, в общем-то, целью — подцепить интеллигентную девушку. Постепенно это превратилось у него в род спорта. И надо сказать, в этом виде спорта равных ему в нашей компании не было.

Но было и совсем другое. Какой еще Дворец культуры? Какая дискотека? Какой, на хрен, телевизор? Какой еще чтец-декламатор в клубе имени неважно кого, когда у нас есть домашние чтения, завершающиеся, как правило, счастливыми нищими застольями? Зачем нам ихняя выставка в ихнем Манеже, если мы вечером идем смотреть новые картины такого-то в его мастерскую, а насчет того, чем завершится просмотр, см. предыдущее предложение.

Все это наряду с выпиваниями в скверике и бесконечными блужданиями по улицам и бульварам с заходами в гости то к одному, то к другому знакомому, все эти неофициальные, внеинституциональные и уж подавно внеиндустриальные, но зато свободные и прекрасные в своей органичности времяпрепровождения вспоминаются чаще всего и с особой благодарностью. И почему-то вспоминаются они тем чаще, чем чаще и агрессивнее звучит там и сям словосочетание “индустрия развлечений”. С чего бы это?

## Гуляем

**П**рошу понять меня правильно. Я вовсе не адепт концепции рая в шалаше и его ближайших окрестностях. “В тесноте, да не в обиде” не есть мой позитивный идеал. Я всего лишь хочу сказать, что детское сознание, мое по крайней мере, в общем-то было вполне глухо к вечному советскому “жилищному вопросу”. Уверяю вас: не было места уютнее, чем под круглым столом, покрытым бордовой плюшевой скатертью с бахромой. И боюсь, уже никогда не будет. И не отыщется уже никогда ничего раздольнее, чем пыльный двор с дровяными сараями

и бельевыми веревками. Проблемы каких-то специальных “уличных зрелищ” никогда не стояло.

Хотя нет, не совсем так. Я помню, как мучительно хотелось праздника, как душа рвалась к чему-то небывалому, выходящему, так сказать, за пределы. И оно, выходящее, представьте себе, таки обнаруживалось в этом скученном и монохромном мире. Помимо праздников общих, вроде 1 Мая, когда во двор высыпали принаряженные девочки и мальчики в новых негнущихся сандаликах (будь они неладны), были и прочие, неконвенциональные события и зрелища. Я не забуду никогда, с каким замиранием сердца, с каким предвкушением прикосновения к мрачной и величественной тайне неся я на зов услышанного за километр духового оркестра. Почему я, да и все мы так любили похороны? А дорожные аварии? А драки у пивного ларька? А появление во дворе чьей-то новой “Победы”? А пожары? Чем не зрелища?

Нет, нельзя сказать, что никакого представления об уличной жизни в других временах и пространствах мы не имели. Все-таки книжки и кино являли нам более или менее красочные образцы

карнавалов, ярмарок и прочей улично-площадной стихии. Сегодня самое время признаться, что заветной моей мечтой до сих пор является обладание настоящей шарманкой в рабочем состоянии. Казалось бы, уплыл безвозвратно объект моей мечты в недостижимые музейно-мосфильмовские дали. Так нет же: одним из первых и, надо сказать, наиболее сильных впечатлений от Парижа, куда я попал лишь на сорок третьем году своей жизни, был живой шарманщик на бульваре Сен-Мишель. Жива, жива шарманка! А значит, станет она однажды и моей. Главное — не расставаться с надеждой.

У нас же никакой не санкционированной свыше уличной музыки не было и быть не могло. Духовой оркестр в парке по воскресеньям — это можно, иногда. Визгливая гармошка из открытого окна — это пожалуйста. Впрочем, в электричках моего раннего детства пели инвалиды, но это разве ж музыка? Сплошная мука. Один раз в конце семидесятых я увидел и услышал на Пушкинской площади маленькую группу музыкантов. Играли они недолго — ровно столько времени, сколько милицейскому наряду из ближайшего отделения

понадобилось дойти до места преступления. Перестройка началась с разрешенного Арбата. Постепенно поющий, играющий и жонглирующий Арбат расползся по центру столицы, но это уже другая эпоха.

А тогда черно-белую скуку городского ландшафта некоторые “горячие головы” пытались оживлять самими собой — нетривиальностью собственного облика и дозированной эксцентричностью бытового поведения. Это было безусловным вызовом, по крайней мере так это воспринималось государством, данным нам в наших ощущениях. Я помню, какой ужасающей была Москва в дни Олимпиады 1980 года. Я помню пустынные улицы и напряженную тревожную тоску в глазах редких прохожих. На безлюдной, как в похмельном сне, улице Горького я случайно встретил свою приятельницу. “Слушай, — сказала она слегка возбужденно, — я сейчас вон там, на Пушкинской, увидела классного парня — шел навстречу. Он выглядел, знаешь, как какой-нибудь персонаж братьев Grimm. Через плечо палка, на палке котомка. В шляпке такой забавной”. “Здорово”, —

говорю я. “Здорово-то здорово. Только шел-то он в сопровождении двух ментов”.

Проблему уличной жизни на свои могучие плечи взваливало само государство, устраивая нам по праздничным дням омерзительные “народные гулянья”. Все выглядело там как на агитпроповских плакатах, только еще противнее: какие-то повизгивающие в такт грохочущему салюту девки, какие-то алчущие драки пригородные подростки, какие-то измазанные шоколадом и помахивающие мятыми флажками полусонные дети, оседлавшие в меру поддатых папаш. Гулянье, одним словом. Народное.

Спектр значений русского слова “гулять” весьма широк — от академически невинного “пойдем погуляем” до сакраментального, наделенного оттенками явной или неявной деструктивности “ох, погуляли вчера!”. Гуляют по улице, гуляют в саду, гуляют на свадьбе (да еще как), гуляют “по буфету”, или уж совсем: “Гуляет с кем попало, вот и нагуляла”.

Гуляют все! И мы гуляем. И будем гулять независимо ни от чего.



“Улица корчится безъязыкая”, — написал поэт. Можно сказать и так. Но можно и по-другому. Улица, даже самая безлюдная и самая захолустная, всегда зрелищна и всегда эстетически содержательна. Вопрос лишь в том, умеем ли мы различать театральную, музыкальную и поэтическую составляющую повседневной уличной жизни. Умеем ли мы отдаваться ритму дворницкой метлы. Умеем ли обнаруживать радугу в струях поливальных машин. Умеем ли разглядеть за анонимной физиономией первого встречного экзистенциальную драму. Готовы ли воспринять как поэтическое откровение корявую надпись на ржавом гараже.

## Духи времени

**Э**то бывает со мной почти каждый год начиная с ранней юности. Время от времени, особенно ранней весной, когда обостряется всякая чувствительность, на меня внезапно обрушивается обонятельная галлюцинация — столь же мгновенная, сколь и мощная. В каком-нибудь наименее подходящем для этого месте и в самый неподходящий момент в мои ноздри уверенно и нагло врывается запах, допустим, сирени. Или, что уж и вовсе невероятно, моря. Озираться по сторонам в поисках возможного источника глупо — понятно же, что никакого

источника нет и быть не может: откуда бы оно, это море, тут взялось? Ответа нет, он и не предполагается. На днях же посреди ночи в совершенно пустынном месте меня настиг неожиданный, но незабываемый дух, дух времени — совсем другого времени. Это была “Красная Москва” — такие были когда-то духи, духи советского производства, из относительно дорогих. Это были духи моей мамы. И она душилась ими много лет. И я всегда дарил ей эти духи на дни рождения. Много лет. Но сначала куда-то исчезли эти духи. Потом...

Ладно, речь все-таки не об этом, а о том, что из нашей жизни исчезают одни запахи, сменяясь другими. Преобразуется со временем состав “дыма отечества”. Запахи меняются точно так же, как меняется архитектурный облик города, автомобили, одежда горожан, выражения лиц, вещественное наполнение помойки...

Как же разительно изменился мусор! Как похорошела наша свалка! Какой праздничный, какой заграничный вид обрела она! Какими шикарными вещами, если посмотреть из глубины хотя бы семидесятых, она наполнена. Вот пластиковые бутылки,

например. Ведь когда они робко и неуверенно стали появляться в Москве, до свалки они не добились. Их подбирали запасливые старушки и хранили в них постное масло. Их подбирали алкаши и бодро шагали с ними в ближайший пивняк — кружек-то не было. А потом, когда в таких же бутылках стали продаваться и постное масло, и пиво, и много чего еще, это пузатое чудо цивилизации вместе с другой роскошью — полиэтиленовыми мешками, пивными банками и цветастыми пакетиками от чипсов — отправилось на свалку, изрядно ее собою украсив.

Но мы опять отвлеклись. Сказать же хочется о том, что наше пространство и наше время всегда испытывали острый дефицит визуальности. Эпоха говорила заголовками газет и голосами радиодикторов. Висящие на стенах картинки из “Огонька”, портреты маршалов и артистов, почтовые марки и незамысловатый вид из окна не утоляли, а лишь усугубляли визуальный голод. Более того, они вводили в заблуждение, искажали пространство и время, делали и без того фрагментарный мир еще более дробным и невнятным. Принцип “лучше

один раз увидеть, чем сто раз услышать” повисал в воздухе. Нет уж, куда лучше услышать, прочитать, пощупать. Понюхать, в конце концов.

Не потому ли таким душевным томлением, таким ностальгическим уколом в сердечную мышцу отзываются старые детские запахи из подворотни, из подъезда, из пекарни, из парикмахерской, из гаража, из детской поликлиники? Эти запахи всегда семантически насыщены, но далеко не всегда соответствуют пространству своего обитания. И это есть важная сущностная примета нашего общего быта. В детстве это было вполне привычным, и ровно никакого удивления не вызывало то странное обстоятельство, что в угловой аптеке пахло махорочным дымом, в булочной — кошачьим флиртом, а в кафе “Молочная” — городской живодерней. В коммунальной квартире пахло всем сразу, и этого забыть невозможно. Запах был, в общем-то, нефункционален, что переселяло его с территории вульгарного быта на территорию высокого искусства.

Лишь тогда, когда я стал посещать европейские города, я понял, что значит семиотически налажен-

ная система, в том числе и система запахов. Ибо в европейских городах все пахнет ровно тем, чем и должно пахнуть в полном соответствии со своим назначением. Кроме сортиров, разумеется. Они пахнут не просто прекрасно, а как-то избыточно, как-то вызывающе прекрасно, своими райскими ароматами не только нейтрализуя постыдную зависимость человека от собственной природы, но и превращая указанную зависимость в полную ее противоположность.

У нас же в этом смысле все куда как честнее. Если многие другие запахи поражали воображение нарушением жанровых ожиданий, то отхожее место не обманывало никогда — оно пахло именно отхожим местом. Но заодно отхожим местом неизбежно пахло и все прилегающее к нему пространство. Этот незабываемый дух проникал повсюду и буквально пропитывал собою наше коммунальное тело. Сортир, таким образом, расширялся до размеров вокзала, вагона, школы, самолета.

Из нашей жизни исчезают запахи, сменяясь другими. А какими именно — бог их знает. Я, во всяком случае, перестал так остро, как прежде,

улавливать и считывать городские запахи. То ли это оттого, что я много курю, то ли агрессивный визуальный язык, постепенно оккупирующий наши просторы, начинает вытеснять все прочие языки, включая язык запахов. Так или иначе, но я перестал реагировать на какие-либо запахи, кроме самых отъявленных, благо что и их вполне хватает. Да и не стал бы я заводить этот разговор, если бы не настиг меня вдруг посреди весенней Москвы полузабытый запах “Красной Москвы”.

## Фирменная упаковка

**Н**едавно моя коллега побывала в Нью-Йорке, где навестила своих родственников, уехавших из Москвы лет восемь тому назад. “Ну, что нового в Москве? — начали они жадно расспрашивать ее. — Какие сплетни? С кем сейчас Пресняков?” Тут она слегка растерялась, пытаясь вспомнить хоть одного знакомого с такой фамилией. Потом до нее дошло, что речь идет о популярном певце. “Да откуда же я знаю?” — ответила она. “Как откуда? Ты же в Москве все-таки живешь!”



Это, конечно, смешно. Смешно и грустно, когда люди, не слишком уверенные в значимости и даже реальности собственного существования, озабочены обстоятельствами чужой и, главное, столь малоинтересной жизни.

Можно, разумеется, посетовать на низкий культурный уровень “широких масс”, склонных отождествлять автора с его персонажем и воспринимать артиста как свою собственность. Можно сказать, что подобного рода инстинкты бессовестно подогреваются телевидением и желтыми изданиями. Но это как-то слишком просто.

Любопытство, проявляемое к жизни артиста, интерес не только к его делу, но и к его, так сказать, телу во всем многообразии его проявлений и даже отправлениях свойственны более или менее всем. И даром что одних горячо волнует диета Кристины Орбакайте, а других — потаенная любовь Пушкина или тайна гибели Маяковского. Потайные пружины творческого процесса традиционно принято изыскивать в недрах художнической биографии.

Ситуация, узаконенная и тысячекратно умноженная институциями массовой культуры, восходит к романтической традиции, где судьбу художника предложено было прочитывать как художественное произведение. “Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать”. Справедливо. Но продаются также и вдохновенье, и слезы, и любовь, да и божество, в сущности. И “Любовь поэта”, и “Смерть поэта” рано или поздно становятся литературными жанрами.

После одного из первых моих заграничных выступлений мой переводчик сказал, что директор книжного магазина, где проходило чтение, приглашает нас поужинать вместе с ним. “Слушай, я страшно устал, — сказал я, — и есть совсем не хочу. Нельзя ли как-нибудь извиниться и слинять в гостиницу?” — “Нельзя, — с несвойственной ему жесткостью сказал переводчик. — В твой гонорар включено и это”. Я понял. Я понял, что проданным мною товаром в данном случае является не только мой текст и его публичное исполнение, но и неформальное общение, то есть неотъемлемая часть моей приватной и неповторимой жизни.

Можно считать, что сочинительство есть сугубо частное дело, и это так и есть. Но, коль скоро твой продукт обнаруживает способность становиться товаром, будь готов к тому, что товар твой нуждается в фирменной упаковке, каковою являешься ты сам.

## Торжество неумеренности

**Н**овый год — это праздник сугубо советский. Не в том смысле, что его, как большинство советских праздников, изобрели большевики, а в том, что празднование Нового года стало неким компромиссным эвфемизмом Рождества Христова. Сначала, во времена революционного пуризма, Новый год третировался наравне с мракобесными Рождеством, Пасхой, Троицей и другими опиумами для народа. Но как-то он все же пролез, прополз, просочился в советский быт и стал-таки праздником, вначале — полуофициальным. Окрашиваться в ка-

зенные цвета он стал постепенно. Я помню те легендарные времена, когда генсеки еще не поганили интимного новогоднего таинства своими физиономиями во весь экран телевизора. Было время, когда даже не было новогодних “Огоньков”. Да и телевизоры — теперь в это трудно поверить — были не всегда. Руководящая роль партии осуществлялась в этой чуждой, неудобной для нее атмосфере почти партизанскими средствами, подпольный райком действовал как умел. На елочных ветвях среди безыдейных шишечек, снежинок и завернутых в фольгу грецких орехов мелькали там и сям ублюдочные картонные красноармейцы в буденовках, салютующие пионеры, танки Т-34 и самолетки с красными звездами. Красная же звезда венчала елку, придав ей вид Спасской башни Кремля, даром что под ней хоть и стоял чекист, но все же не в кожанке и с маузером на боку, а деликатно замаскированный под Деда Мороза.

Но Новый год — это праздник и несоветский, ибо он стал калиткой в другой мир — мир дооктябрьского детства, невнятных семейных преданий, летучих частных, утробного тепла, мир,

в котором такие пустячные вещи, как запах хвои или мандариновой корки с шампанским хлопком и бенгальским шипением, взрываются внезапным и мощным ощущением того, что не вчера мы родились и не завтра умрем.

Новый год легитимирует всяческую лихость. Это торжество неумеренности. Но, как бы мы ни были уверены в своем полном праве на обжорство и пьянство, всякая причина, увы, все равно чревата своими последствиями. А потому каждый хранит в памяти пару-тройку связанных с такими последствиями эпизодов. Вот и я не могу забыть мучительного пробуждения первого января такого-то года в чужой квартире, где еще несколько часов тому назад было так шумно, пьяно и весело, что совершенно непонятно, почему вдруг все полегли чуть ли ни в одночасье в тех самых позах, в каких настиг их предательский сон. Открыв глаза, я обнаружил себя на краю какого-то то ли дивана, то ли сундука, где кроме меня непостижимым образом разместились еще человек шесть разнообразно храпящих людей. Кроме этого, я обнаружил нешуточную головную боль, характерную

сухость в полости рта и некую как бы предсмертную тоску. Беглый взгляд в сторону вчерашнего пиршественного стола тоски никак не развеял, и даже наоборот. Тем не менее предпринять что-либо решительное было необходимо, иначе никак. Тут последовало знамение в виде тонкого и яркого солнечного лучика, пробившегося сквозь закрытые шторы. Спасительный лучик пошарил по заляпанной, обсыпанной и усеянной мертвыми утиными костями скатерти и выхватил-таки из мерзостного хаоса сверкавшую девственной чистотой рюмочку, заботливо наполненную чем-то прозрачным. “Вот оно”, — подумал я, взял это чудо двумя пальцами и вдумчиво выпил. Взгляд привычно задвигался в поисках хоть чего-то, чем бы все-таки закусить. Самой пригодной показалась одинокая шпрота, терпеливо и застенчиво дожидавшаяся моей благосклонности. Я бережно взял эту шпроту, я стряхнул с нее капельки масла, я положил ее в рот и энергично разжевал. Последовавших ощущений я описать не берусь, но вы сами все поймете, если я всего лишь скажу, что шпрота оказалась никакой вовсе не шпротой, а основательно разбухшим

в масле сигаретным окурком. А также вы легко поймете, почему именно этот Новый год мне так запомнился. Впрочем, запомнились и многие другие, куда менее драматичные.

Есть вещи необратимые. Рождество ушло и не спешит возвращаться, как ни зазывают его со всех уличных растяжек. А Новый год остался со всеми своими телеобращениями и пародистами, телефонным перезвоном и пригоревшим пирогом, салатами и холодцами, с детскими надеждами на то, что с завтрашнего дня...

А что с завтрашнего дня? Как будто бы первый раз. Как будто бы сами не знаем, что завтрашний день — это похмелье, одышливость и апатия. Но зачем теперь-то об этом? Это же все завтра, не теперь. К тому же есть еще и послезавтра, и другие дни. Есть и другие дни, но их всегда так мало остается до следующего Нового года, что уж не будем их торопить.

Зачем?





**БОБРОВАЯ  
СТРУЯ**



## Страховое обеспечение

**З**аголовок следует понимать так, что мы на всю свою жизнь надежно обеспечены различными страхами. Не одними, так другими. Мы боялись, боимся и будем бояться. В детстве чего-то одного, в отрочестве — другого, в юности — третьего, в старости — и во все четвертого.

Помимо страхов вечного пользования, таких как, например, страх смерти, для каждой эпохи был характерен собственный каталог фобий и ужасов. Когда-то боялись леших и русалок. Потом — гнева барина и приезда станового. Боялись

ревизора, квартального, татя в ночи, шпика в гороховом пальто, дворника с бляхой и свистком. Боялись казака с нагайкой, цыгана с серьгой, дядю Сэма с першингом, ваххабита с детонатором. Боялись шпионов, диверсантов и вредителей. Но еще пуще боялись “компетентных органов”. Боялись колорадского жука и непарного шелкопряда. Боялись соседей и вагонных попутчиков.

Как только чуть-чуть перестали бояться Сталина, стали бояться атомной войны. Когда страх перед американцами чуть поутих, обнаружился ужас перед китайцами. Готовы были стерпеть все что угодно, только бы не было войны. Частушка “С неба звездочка упала прямо милому в штаны. Хоть бы все там оторвало, лишь бы не было войны” вполне отражала умонастроение эпохи.

Боялись оспы в конце пятидесятых и холеры в начале семидесятых. Да что там оспа и холера. А куда было деваться от тех зловещих невидимок, которые с неясной целью незаметно кололи нас шприцами? Что кололи? Зачем? Какая разница? Кололи, и все. Таких, которых укалывали, я лично не видел, но зато слышал в детстве множество рас-

сказов про “одну женщину с Веркиной работы”, которую чем-то кольнули в очереди за ковром. Те или иные последствия этих инъекций в рассказах почему-то не фигурировали. Видимо, младенческого происхождения ужас перед самим фактом укола был вполне самодостаточен.

А еще нас просвечивали лучами и всячески зомбировали. Нас воровали и разбирали на отдельные органы. А если мы не проявим должной бдительности, то не успеем и оглянуться, как нас станут клонировать. Что это такое и что это значит, не вполне понятно, но тем-то оно и страшнее. А “бесхозные вещи”, по поводу которых надо немедленно сообщать кому следует? В общем, “ужас, ужас, страх, петля и яма для того, кто на земле родился”.

Вот мы и боимся. И в общем-то, далеко не всегда обосновательно. И единственное спасение наше вовсе не в излишней бдительности, а, напротив, в том, что мы при всем при том легкомысленны и фаталистичны, как жители острова Таити. Я, во всяком случае, не припомню ни одной по-настоящему массовой паники. А помню я, как в октя-

бре 1993 года, когда на одном конце Нового Арбата звучала небутафорская пальба, на другом шла бойкая торговля трогательными сиамскими котятами. Более мирную картину трудно было себе вообразить. Это что — бесстрашие или атрофия воображения? А это, я думаю, и то и другое. В том смысле, что это одно и то же. А вот хорошо это или плохо, я, честно говоря, не знаю.

Коды и знаки приближающейся опасности формируются, как правило, в детском возрасте. С детства я привык понимать ее лексику, морфологию и синтаксис. Я знал, что скорее всего последует за фразой “парень, закурить не найдется?”. В крайне редких случаях это могло означать всего лишь то, что человек хочет стрельнуть у тебя сигарету. Но по особой интонации и непере译имой системе жестов ты понимал, что именно сейчас произойдет.

В начале девяностых я провел пару недель в американском городе Сан-Франциско. Меня поселили в мастерской какого-то художника, которого я так ни разу и не видел. Мне просто выдали ключ и сказали, что здесь я могу пожить и что в холодильнике есть фрукты, яйца и молоко.

И я вальяжно шлялся по окрестностям. Особенно мне нравилось гулять по ночам. Вокруг моего жилища протекала какая-то малопонятная и, как мне казалось, невероятно забавная ночная жизнь. Однажды я засиделся в гостях у одного знакомого, жившего в другом районе, но недалеко, в пределах пешего хода. В полночь я засобирился домой. “А как ты поедешь?” — спросил хозяин. “А я пойду пешком. Это же недалеко”. — “А где?” — “На такой-то улице”. — “Ты что! — завопил хозяин, — Это же самое криминальное место в городе. Туда можно ездить только на машине, и чтобы машина обязательно подъезжала к самому подъезду. А иначе...” Он не договорил.

И я стал бояться.

Хорошо, что до моего отлета оставался один лишь день. Но весь этот день я крался вдоль стен, воровато озираясь по сторонам. Взгляды прохожих сделались угрожающими, а в подворотнях притаились невидимые убийцы. Часов в восемь вечера я заперся на все замки и сел у телевизора, прислушиваясь к неясным шорохам. Впрочем, как можно заметить, все обошлось. Во всяком случае на этот раз.



Как для нас лучше и спокойнее — знать и понимать эту знаковую систему или пребывать в блаженном неведении — вопрос, однозначного ответа не имеющий. Не может ли быть так, что опасности подстерегают нас именно там и именно тогда, где и когда мы их ждем? Не может ли быть так, что своими страхами мы сами выманиваем зло из его нор и щелей? Все может быть.

И какой вывод сделать из сказанного? Ох не знаю. Очень хотелось бы выступить с пламенным призывом: не бойтесь, мол, господа, ничего, мол, не бойтесь. И тогда все будет хорошо.

Да нет, что-то не получается. Да и с чего бы: я и сам ведь боюсь. А временами так даже и очень.

## ВОСТОЧНЫЙ МОТИВ

**П**о весне, как известно, необычайно обостряются всевозможные чувства. В том числе обоняние. А потому стоит ли удивляться, что в один из недавних дней мои ноги сами пошли на запах, исходящий из недр маленького заведения с гордым названием “Арабская шаурма”. В любой другой сезон те же самые ноги ни за что не изменили бы намеченному маршруту. А тут пожалуйста: я понял, что просто не смогу жить дальше, если немедленно не зарулю в это пахучее место и не поглощу означенное кулинарное изделие, каковое в обычной,

невесенней, ситуации я, вообще-то говоря, терпеть не могу. Впрочем, бог с ней, с шаурмой, — речь не о ней.

Речь о том, что по весне решительно обостряется всяческая чувствительность. Не потому ли под шаурму и пиво я сидел и вполне сочувственно внимал какой-то невероятной по концентрации патоки восточной попсе, звучащей из магнитофона и улаждавшей тонкие чувства соответствующих работников общественного питания, а также их гостей в количестве одного человека, то есть меня? Я сидел, жевал свою злосчастную шаурму (которая, кстати, в довольно обозримом будущем отплатила мне за легкоеверие чисто восточным коварством) и едва не плакал от бурно нахлынувших чувств, слушая бесконечную, как путь каравана через сахарские пески, песнь определенно любовного содержания.

Пение осуществлялось на каком-то из тюркских, кажется, языков — может быть, на турецком, а может, на азербайджанском. После каждого куплета следовал припев из двух строк. Я не понимаю ни одного из восточных языков, но этого

и не надо, чтобы понять, что переводится этот припев — причем с соблюдением размера — примерно так:

*Я жду, что ты придешь,  
А ты все не идешь.*

Но это, так сказать, план содержания, если, конечно, слово “содержание” вообще уместно в данном случае. Форма же была несколько иной, ибо звучали эти две строчки как-то вроде этого:

*Нашиз бирком былрад  
Дюрак эль экторат.*

Вполне возможно, что и не так они звучали, но слышались мне они, многократно повторенные, именно так. “Ну зачем же, — думал я, меланхолически жуя опилки куриного мяса, — зачем же я столь приземлен и так удручающе политизирован? С какой стати мне слышатся кругом “избиркомы” с “электоратами”, когда есть такая вневременная и надмирная вещь, как любовь?”

Всю дорогу к дому “нашиз бирком” все звучал и звучал в моем ослабленном шаурмой и весной сознании, не позволяя сосредоточиться ни на чем другом. Так я и шел, поднывая себе под нос сладостный восточный мотив, пока не чиркнул боковым зрением о строительный забор, украшенный чьей-то заботливой рукой тремя внушительных размеров буквами русского алфавита. Но это были вовсе не те самые три буквы. Нет, это было не то заветное слово, без которого забор не забор. Это было совсем другое слово — именно то слово, что, как известно, было в начале, и слово было — “БОГ”.

Что? Кто? Почему? Неразрешимые вопросы. Причинно-следственный контекст этого загадочного феномена остался скрытым навсегда. Да и гадать незачем, достаточно констатации.

Весной страшно обостряются разные чувства. Весной довольно туго размышляется, но зато славно наблюдается, слышится и обоняется. Иногда — запоминается. А пойдем потом как-нибудь. Но пойдем обязательно.

## Бобровая струя

**Н**овому поколению уже мало что говорит это имя. А ведь он был очень известным детским писателем, его книжки лежали в каждом доме, где водились дети. Его звали Геннадий Снегирев. Он писал о животных. Особой же его страстью были бобры.

Однажды накануне 8 Марта он явился в Детгиз, где издавались его книжки, чтобы поздравить дам-редакторш. Вынув из кармана небольшой стеклянный пузырек, он сказал: “Вот вам подарок. Эта жидкость называется “бобровая струя”. Очень ценное вещество. Во Франции его добавляют

в парфюмерию для стойкости запаха”. В каких пропорциях добавляют, он не уточнил — то ли по забывчивости, то ли по незнанию, то ли из лукавства. А поэтому на ближайшие пару месяцев вся редакция обрела чрезвычайно сильный и действительно стойкий запах уездного зверинца.

Геннадий Снегирев был человеком-легендой, фольклорным, в сущности, персонажем. Чего про него только не рассказывали. Был он якобы и беспризорным, и юнгой на корабле, и кладоискателем. Будучи по советским меркам более или менее успешным литератором, он был вполне асоциальной личностью со многими чертами русского юродивого, которому не только позволяется все, но это самое “все” от него даже и требуется. В те времена на нестандартное поведение требовалась лицензия, каковой обычно служила справка из психиатрического заведения. Вот он и состоял на учете в психдиспансере и даже имел какой-то внушительный диагноз, хотя, по мнению близких друзей, был по-нормальней многих здоровых. Знакомый писатель рассказывал мне такую историю. Идет он, писатель, по улице, а навстречу идет Снегирев. “О, хорошо,

что я тебя встретил, — говорит Гена. — У тебя есть чуть-чуть времени? Не можешь со мной зайти на несколько минут в диспансер, вот тут, за углом?” “А зачем я тебе нужен?” — “Да мне там надо диагноз подтвердить, а я со своим диагнозом обязан ходить в чьем-нибудь сопровождении. Это быстро, выручи”.

Ну ладно. Приходят они в диспансер, входят в кабинет. Ласковый доктор спрашивает: “Ну, как ваше самочувствие, Геннадий Яковлевич?” “Хреновое самочувствие. Голова все время болит, не сплю, не ем. Вот и мама подтвердит”. И он, не оборачиваясь, показывает рукой на своего солидного, крупного и совершенно лысого спутника. “А вы уверены, что это ваша мама?” — вкрадчиво спрашивает доктор. “А кто же еще? Конечно мама”. Тут он оборачивается, выражает лицом крайнее изумление и говорит: “Ой! Да это не мама. Это блядь какая-то”.

А какие истории рассказывал он сам! Вот сидит, допустим, компания за общим столом, и Снегирев вдруг спрашивает: “А вы знаете, при каких обстоятельствах погиб академик Лебедев?” “А кто это?” — “Ну, такой академик был. По китам. Так



вот этот самый Лебедев отправился как-то на китобойном судне со своими исследовательскими целями. Как-то раз моряки загарпунили огромного китищу и подняли его на палубу. А академик тут как тут, ходит с каким-то прутиком в руке и все осматривает кита. То хвост потрогает, то в глаз заглянет. Потом взял да и пощекотал зачем-то зверя в области гениталий. И тут детородный орган кита так возбудился, что выпустил струю семени под давлением в триста двадцать атмосфер, и этой вот самой струей академику снесло голову”. Это лишь то, что вспомнилось с ходу. Было много и других рассказов, соревнующихся друг с другом в исключительной достоверности. Про то, например, что Брежнев, оказывается, был цыганом и до шестнадцати лет жил в таборе. Никто этих немислимых сюжетов так, кажется, и не записал. Фольклор фольклором и остался.

Про него как-то забыли. Да и я давно о нем ничего не слышал. Спросил недавно у старого своего приятеля, что слышно о Гене Снегиреве, его соседе по писательскому дому. “Умер Гена, — сказал приятель. — Уже полгода как умер”.

## С отдаленной поднявшись вершины

**В**еликий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в одном из своих бессмертных произведений рассказывает читателю о посещении Большого Кавказского хребта. В соответствии с романтической эстетикой того времени Кавказ ассоциировался в сознании людей с чем-то диким и натуральным, противопоставленным насквозь фальшивой и бездарной жизни столичных великосветских салонов. Именно с этим ассоциировался Кавказ, а вовсе не с Черемушкинским рынком, не с паспортным режимом, не с патриотическим движением скин-

ходов — и ни с чем прочим, с чем ассоциируется он в наше время. Впрочем, отдельные антитеррористические операции и другие действия по обеспечению территориальной целостности страны велись уже и в те далекие годы. Про Кавказ было известно не так много, во всяком случае, гораздо меньше, чем в наши дни. Впрочем, и тогда доподлинно было известно, что Кавказ — это очень высоко, просто ужасно высоко. Именно поэтому, желая подчеркнуть исключительно высокое положение своего лирического героя среди оставшихся внизу людей, поэт в первой же строке стихотворения взволнованно восклицает: “Кавказ подо мною”. В том смысле, что выше Кавказа, казалось бы, ничего нет, но и тот пониже будет. Понятно, мол? А чтобы уже совсем был понятен масштаб достигнутой высоты, поэт помещает на одном уровне со своей фигурой парящего орла как символ всего того, выше чего уже вообще бог знает что находится, то есть именно что сам Бог.

Это то, что касается всего “высокого”. А есть ведь еще и “глубокое”. Например, бывает “глубочайшее проникновение в суть вещей”. Или бывает

что-нибудь такое, что “мало с чем сопоставимо по глубине и силе”. Еще бывает так, что кто-нибудь вдруг возьмет да и “заглянет в бездну”. Всякое ведь бывает с людьми.

Здравый смысл убеждает нас в том, что стремиться одновременно ввысь и вглубь есть чистое безумие. Но, как показывает реальный человеческий опыт, зря убеждает. Более того, реальный человеческий опыт заставляет нас поверить даже в более чем абсурдное предположение, что в каких-то особых случаях “глубокое” оказывается выше “высокого”.

Теперь, чтобы было понятно, к чему я все-таки клоню, попробую пересказать удивительную историю, поведанную однажды двумя питерскими художниками — мужем и женой. Как-то раз собрались они попутешествовать по Сванетии. Их знакомые, побывавшие там какое-то время назад, рассказали им, что в таком-то месте есть такой-то Дом творчества художников и что, если они явятся туда и скажут, что они тоже художники, их, скорее всего, пустят на пару-тройку дней там пожить. Так они и сделали. Нашли этот самый Дом

творчества, представлявший собою несколько уютных деревянных домиков, сказали, что они художники из Петербурга, и их действительно приютили на три или четыре дня. Первым же утром, ранним, хрустальным утром, художница проснулась, разбуженная одним из вполне законных требований организма. Вышла наружу. Красота немислимая. Симпатичная дощатая кабинка обнаружилась сразу же. После совершенного действия художница рефлекторно заглянула в круглое отверстие и, к своему изумлению, не обнаружила там никакой ямы. Никакой ямы там и не было, а была там бездонная пропасть. Так она и стояла, замороженно вглядываясь сквозь сортирное очко в бескрайнюю бездну. Вначале грациозно и неторопливо проплыли два пушистых облачка. А когда облака проследовали куда-то дальше, она не без труда разглядела на страшной глубине гордо парящего орла.

## Весеннее настроение

**Т**акой небезукоризненной свежести заголовков появился, уверяю вас, вовсе не потому, что автор не сумел придумать чего-нибудь другого. Прекрасно мог бы. А просто тот заголовок, какой есть, связан с некими довольно давними музыкальными воспоминаниями.

Помните такое ублюдочное явление, как “легкая музыка”? Это чисто советское, как мне кажется, изобретение означало что-то такое невнятно-незапоминающееся, что-то такое, что не являлось ни симфонией, ни оперой, ни песней, ни даже

увертюрой к оперетте. Дрянь, в общем, какая-то, безответственный и невразумительный блямблям, кормушка для музыкальных троечников.

Так вот, рассказываю. Когда-то моя семья жила в композиторском кооперативе с не очень хорошей звукоизоляцией. Представили себе, что такое композиторский дом с плохой звукоизоляцией? Хорошо, тогда рассказываю дальше. Ближайшим нашим соседом по лестничной площадке был некий не сильно выдающийся, но зато сильно пьющий композитор по фамилии, допустим, Телятников. Доставал он нас, вообще-то говоря, не столько музыкой, сколько выяснениями отношений с женой. В минуты наивысшего драматического накала он орал: “Ты кто такая есть? Ты кто вообще? А я — композитор Анатолий Телятников! Заткнись, сука!” Иногда он бывал в хорошем настроении и тогда звонил в дверь посреди ночи, просил сигарету и норовил втиснуться в квартиру, чтобы “поболтать немножко, а то вот мы ведь соседи, а так мало общаемся”.

Время от времени жена от него уходила, и тогда начиналось уже совсем черт знает что. К нему

приходили гости, такие же обормоты, как он сам. В соответствии с каким-то неписанным протоколом сначала они звонили в нашу квартиру. Открываешь дверь и видишь, что стоит на пороге некое такое существо и напряженно молчит. “Вы к кому?” Молчит. Потом что-то долго вспоминает. Потом мучительно произносит: “Нтолий здесь жвет?” “Нет, вот сюда вам”. — “Спсб”. — Его сил хватает только на согласные. Но не уходит, продолжает стоять, пока его не развернешь лицом к двери искомого Анатолия. А один такой, когда я открыл дверь, и вовсе, не говоря худого слова, шагнул в мою квартиру, растянулся во весь свой немалый рост в коридоре и богатырски захрапел. Пришлось звонить в дверь к пресловутому Анатолию, чтобы тот, поминутно извиняясь и даже как-то приседая в пароксизме добрососедской сердечности, уволок своего гостя к себе. Волочь пришлось за ноги.

Запомнилась одна ночь. Весна. Но уже здорово жарко — видимо, это был май. Окна открыты. У соседа тоже. У него гости. Видимо, музыканты. Сначала монотонное “бу-бу-бу” и характерное стекольное позвякивание. Потом с грохотом отво-



рился рояль. И началось. Сначала партию фортепиано исполнил один из гостей. Дальше пошло что-то вроде обсуждения. Причем лексика и фразеология этого музыковедения по большей части была такой, каковая в телевизоре обычно звучит как “пим-пим”. “Это, пим, пимня полная! Вот я щас сыграю, пим, вот это, пим, настоящее”. Начинает играть. “Ты что, опимел, пим? На терцию выше, пим твою мать!” — “Ладно, не пима пим-деть-то!” Играет заново — и действительно выше, но не на терцию, а на две — это даже я понимаю. “Вот, пим, сразу бы так, пим. Теперь я. Вот смотри, пим, учись, пим, пока я жив, пим”. Потом еще. Потом еще. Потом опять позвякивание. Потом музыкальная пауза. Потом кто-то кого-то чем-то по чему-то. Падение на пол пары-тройки человеческих тел. Музыка. Храп. Позвякивание. Музыка. Пим-пим. Храп. Пим. Еще какие-то звуки. С первым криком петуха эта нечисть кое-как утомонилась, и я кое-как заснул.

Утро, надо сказать, получилось не самым бодрым. Как-то я все же встал. Включил зачем-то радио. А там смазанный каким-то несвежим салом

баритон диктора проникновенно произносит: “А теперь послушайте *легкую музыку*. Анатолий Телятников. “Весеннее настроение”.

Сказать, что я выключил радио, это значит не сказать ничего. С позаимствованными у композитора Телятникова и обращенными к нему же словами “заткнись, сука!” я действительно выключил радио, но я его выключил каким-то таким образом, что с зарплаты пришлось покупать новое.

А вообще-то весна — это конечно... Пробуждение природы, птички, мокрые ботинки, сопли, капель-апрель прямо буквально за шиворот, обострение хронических заболеваний, повышенные сонливость, плаксивость и влюбчивость, обилие странных праздников, посвященных то женщинам, то дуракам, то пролетариям всех стран, застенчиво выглядывающие из-под тающего сугроба собачьи какашки, легкая музыка, весеннее настроение.

## Мечты и звуки

**К** храпу я привык. Мне без него бывает иногда даже как-то скучновато. Он настигает меня во всех местах вне дома, где приходится проводить ночь. Чаще всего в поездах. Когда я куда-нибудь еду, я точно знаю, что если провидение не пошлет мне в этот раз храпящего соседа, то мамыши с ребенком, у которого режутся зубы, мне не избежать. Нет уж, лучше пусть храпят. Только, пожалуйста, ритмично и не очень громко.

В гостиницах то же. Когда вдруг случается переночевать в одном номере с тем или иным то-

варищем, всякий раз задаешься проклятым вопросом: “Храпит?” Один мой приятель, с которым мы заночевали в номере венской гостиницы, наутро томно сообщил: “Черт! Я не спал всю ночь”. “Тогда нет тебе оправдания”, — сказал я, имея в голосе тот процент металла, на какой мог рассчитывать в эту пору суток. “В смысле?” — насторожился товарищ. “А в том смысле, что если бы ты храпел во сне, то это одно дело. А поскольку ты храпел наяву, то это дело уже совсем другое”. Он слегка обиделся — и был, в общем-то, прав. Но и не сказать было никак невозможно, согласитесь.

А вот когда я был ребенком, в моей семье никто не храпел. И даже бабушка. Было, правда, нечто другое, не менее занимательное. Мой старший брат разговаривал во сне, да еще как. Он произносил протяженные монологи или же участвовал в диалогах, причем я, понятно, мог слышать только его реплики и лишь по ним реконструировать реплики его неведомого собеседника, пожизненно заточенного в неприступном пространстве сна. При желании к этим разговорам можно было подключаться. Примерно так. Брат, допустим, ни с того ни с сего

провозглашал: “А я-то тут при чем? Он первый начал”. “Кто, Миш?” — встревал я. “Кто, кто, Борька Гуревич”, — мгновенно реагировал брат, ничуть не просыпаясь. Таким, между прочим, способом можно было выведать у него все что угодно.

А вот храпеть — нет, никто не храпел. Но зато время от времени из Севастополя приезжала моя любимая тетя Люба — очень толстая, очень веселая и шумная, с яблоками и виноградом. Вот она-то как раз храпела. И не абы как...

Я с вожделением ждал той минуты, когда уже тетя Люба наконец заснет и начнутся мистерия с вакханалией. О, это был храп высокого полета — нынче так не храпят. Это был храп с огоньком и неисчерпаемой фантазией, с напряженной драматургией, со сложным, прихотливым ритмическим рисунком, с конструктивными нарушениями жанровых ожиданий. Там было все: хлопотливые будни ночных джунглей, грозное рычание разгневанного океана, широкомасштабное танковое сражение, встревоженная ночной грозой птицеферма, финальный матч мирового чемпионата по футболу, брачный дуэт кашалотов, шепот, робкое дыханье,

трели соловья. Я заворожено внимал и неба содроганью, и горних ангелов полету, и всякому другому. Со сладким ощущением близкого счастья я ждал апофеоза, я ждал, когда уже наконец-то тетя Люба разразится молодецким казацким посвистом, когда уже ее победоносный храп окончательно преобразуется в потерявший управление краснознаменный ансамбль песни и пляски какого-либо из военных округов нашей необъятной Родины. Ах, это было волшебно, можете мне поверить.

Но интересно еще и вот что. Не только сама тетя Люба решительно отвергала факт существования собственного храпа, но и муж ее, дядя Мотя, морской полковник, проживший и проспавший с ней на одной кровати много лет, никогда (никогда!) не слышал ничего такого, что бы хоть на минуту могло нарушить его безмятежный сон, сон человека со спокойной совестью. Нет, это не было глухотой — ни физической, ни эмоциональной. Это было любовью. Ибо ничем иным этого не объяснить.

## После антракта

**О**днажды я участвовал в спектакле в качестве артиста. Один раз всего. Но этот раз мне как-то запомнился. Это было давно, в студенческие годы. Мне позвонил школьный товарищ, ныне профессор, а в те годы студент консерватории. Он сказал: “Хочешь чуть подзаработать?” “Что за вопрос!” — “Пошли вечером в театр, сыграем в спектакле”. “Здрасьте, — говорю, — как это в спектакле?” “Да там нечего особенно делать. Я тебе потом все объясню. А платят сразу. Пятерку, между прочим. А главное — сразу”. — “Это хорошо. А делать-то что?” —

“Да сказал же я тебе — ничего особенного. Ладно. Все. Встречаемся у входа в сад “Эрмитаж” в полседьмого. Пока”.

Я пришел. Товарищ был уже там. Мы пошли в сторону внутренностей Летнего театра — был там тогда такой. По дороге быстро спрашиваю: “Что за театр?” “Не знаю, — говорит. — Какой-то из провинции. Гастроли тут у него. Да какая тебе разница?” — “Хорошо. А что за спектакль?” — “Дни Турбиных”, кажется. Да тебе-то что?” Приходим. Выясняется, что действительно “Дни Турбиных” и что надо нам поучаствовать в одной сцене, в той самой, где юнкера в гимназии рубят парты и что-то там еще делают. Объясняют: надо там как-то шевелиться и что-то говорить. А в какой-то момент спеть хором: “Эх, пташки-канашки мои, разменяйте мне бумажки мои. А бумажки все новенькие, двадцатипятирублевенькие”. Немножко отлегло: это можно, это запросто, это не проблема. Проблемой оказалось нечто совсем другое. Когда я напялил выданный мне якобы юнкерский мундир, я чуть не потерял сознание от острейшего запаха бог знает сколько лет не сти-



ранного тряпья. Но ничего, кое-как принюхался и дело свое сделал не хуже других. И получил, как и было обещано, свою пятерку, которую тут же в “Эрмитаже” и прогулял совместно с моим консерваторским другом. Но главное другое: я увидел театр изнутри.

Разве можно забыть тот неофитский восторг, который обуял меня от наглядного несоответствия того, что явлено со стороны зала, и того, что со стороны кулис. Я знаю: когда к этому привыкают, это перестают замечать. Но в первый-то раз! Наблюдая действие из-за кулис, я слышал, как артисты во время действия разговаривали на посторонние темы, обсуждали планы на завтра и вообще явно тяготились необходимостью произносить чужие слова и совершать чужие, несвойственные им телодвижения. Слева от кулисы сидел парень в очках, тоже по виду студент. Он осуществлял шумовые эффекты, не отвлекаясь от чтения какой-то французской книжки и жевания булки. Время от времени он бабахал чем-то по чему-то, вследствие чего люди на сцене начинали суетливо метаться и орать

что-то вроде того, что “стреляют уже на Владимирской горке”.

Потом был антракт, и артисты, трясая наспех приклеенной растительностью, бегали в уборную, делились анекдотами и жевали бутерброды. Потом в тоскливом ожидании своего выхода толпились за кулисами, жестами показывая друг другу, что стряхни, мол, крошки с бороды. А один пожилой актер, выходя на сцену, тяжело вздохнул и отчетливо произнес: “Ну что ж.. Пошли, что ли, притворяться”.

## Покурить, что ли?

**Б**ольница — она вроде бы больница и есть. То есть учреждение по определению оздоровительное. Но при этом настолько монотонное и унылое, что для более или менее ходячего, а к тому же еще и курящего пациента единственным местом хоть сколько-нибудь светской жизни служит курилка на лестнице. Это там, где в углу стоит переполненная урна, а зыбкую связь между тобой и внешним миром делает и вовсе зыбкой туманное треснутое стекло. В больнице курят больше, чем где бы то ни было, — такой вот парадокс.

В курилке говорят о погоде, о детях, о футболе, о предстоящей телепередаче. Но чаще всего — о диагнозах и процедурах. Об анализах и рентгенах. О том, что “у одной знакомой подозревали то-то и то-то, лечили от того-то и того-то, а оказалось вон что”. Впечатлительному человеку, склонному все примерять на себя, этого слушать не надо. А как не слушать-то? Не глухие же мы, в конце концов!

Мы не глухие. Поэтому стараемся вслушаться в чужие нехитрые речи, по возможности отбраковывая ненужный товар — разговоры о болезнях.

Мы не слепые. Поэтому взглянемся в лица товарищей по недугам. Вот рядом стоит и курит молоденький парень, с виду — здоровей некуда. На его предплечье интригующая татуировка: “Прости, Господи, за слезы матери”. На блатного, впрочем, он не очень похож. Откуда эта наколочка? Он направлен из военкомата. Здесь таких несколько. И вот что интересно. По виду и повадкам эти мальчишки не просто из разных социально-культурных групп, но из групп, в “мирной жизни” непримиримо враждующих. Один — типичный

рэпер, другой — по виду что-то вроде скинхеда, третий — и вовсе очкарик-ботаник. Но вот сила контекста: больница не предполагает вражды и соперничества. Здесь они курят рядом, играют в картишки, шутят и рассказывают про жизнь. И очень согласованно не хотят идти в армию.

А вот еще стоит и курит молодой кавказец с ярко выраженным акцентом. Он звонит кому-то по мобильнику. Вслушиваться, в общем-то, бесполезно: он говорит на заведомо непонятном языке. Иногда в его речи возникают слова вполне знакомые, но воссоздать по ним что-либо связное более чем затруднительно. О чем, например, может идти речь, если в середине фразы возникает “всэзубицелы” — именно так, в одно слово? И почему подобную констатацию стоматологического благополучия нельзя выразить на родном языке? Может быть, описываются достоинства девушки? Или коня? Все может быть. В жизни много загадок.

Врачи тоже курят. Вообще-то они курят в ординаторской, но иногда по двое или по трое появляются и на лестнице. Они рассказывают друг другу что-нибудь смешное из практики. “Одна сестричка-

практикантка из неврологии, — рассказывает один, который в зеленом халате, — после ночного дежурства оставила запись в истории болезни одного лежачего больного лет восьмидесяти. Там было написано: “В постели активен”. “А я когда-то видел запись, сделанную старым сельским фельдшером, — подхватывает другой, в голубом халате. — Так там вообще было написано: “Укус неизвестным зверем в жопу”. В скобках: “В уборной”.

Стоишь, слушаешь, куришь, время идет. Впрочем, четвертую подряд сигарету выкурить уже не дают. На лестницу выбегает медсестра с кучей каких-то бумажек в руках и орет, как будто все тут глухие: “Кто у меня тут Рубинштейн?” “Я у вас тут Рубинштейн”. — “Ищи вас по всему отделению. Быстро на клизму!”

На клизму так на клизму. А потом покурим.

## Дамы и кавалеры

**О**т Достоевского, ведущего нашего специалиста по униженным и оскорбленным, все мы знаем о том, что самое страшное — это когда тебе некуда пойти. Особенно с этим и не поспоришь.

В детстве я мечтал быть бродягой. Что вдохновляло меня на подобные мечтания, точно не помню. Вряд ли это была песня про бродягу, который “по диким степям Забайкалья”. Уж скорее это был знаменитый индийский фильм “Бродяга” с обаятельным, вечно что-то поющим Раджем Капуром.

Мой внешний облик середины семидесятых (кудри до плеч, штаны из плащ-палатки, веревочная сумка через плечо) провоцировал представителей правоохранительных органов на регулярную — в среднем раза три в день — проверку моих документов. На вопросы о причине такого внимания к моей персоне они лаконично объясняли: “Борьба с бродяжничеством”. Именно таким эти крестьянские, как правило, дети представляли себе бродягу. Бедные! Впрочем, бродягой, настоящим бродягой, я так все еще и не стал.

В начале девяностых напротив моего дома располагался магазин “Кулинария”, куда я захаживал, чтобы купить азу для кошки. Магазин был сугубо советского типа, грязноватый и скудный. В основном там грелись бомжи и поправлялись местные алкоголики. Из гущи этой малопочтенной публики продавщица выделяла меня как вежливого и интеллигентного человека, а потому и со мной старалась быть услужливой и любезной. Однажды, войдя в магазин и подойдя к прилавку, я ощутил такой нечеловеческой силы аммиачный дух, что спросил — несколько, впрочем, неопределенно: “Что же это



у вас сегодня такое? А?” Продавщица, судя по всему, меня поняла, потому что сочла возможным прояснить ситуацию: “Да у нас тут одна дама обоссалась”. И она показала рукой в сторону угла. Там действительно, слабо шевеля конечностями, расположилась кое-какая дама. На “даму” стилистической изысканности у продавщицы еще как-то хватило, для обозначения же произведенного дамой действия слов поделикатнее уже не нашлось, что, в общем-то, и понятно. В этот момент в магазин вошел вполне соответствующий этой даме кавалер. Войдя, он покрутил носом, сморщился и произнес всего лишь одно слово: “Смрад!” Нельзя не заметить, что и сам он, выражаясь словами Ильфа и Петрова, воздуха особо не озонировал. Но “смрад” — это, согласитесь..

Отдельные речевые проявления некоторых из этих людей страшно теребят воображение. Как ни пытаешься хотя бы скупыми мазками обозначить их прошлое, ни черта путного не выходит. Откуда они? Кто они? Куда их гонят? Кто из них Барон, а кто — Актер? Но даже смутная перспектива познакомиться с ними поближе начисто блокируется слишком уж сильным обонятельным впечатлением,

производимым большинством из них. Это сильнее самого отчаянного любопытства и даже желания чем-нибудь помочь. Сам знаю, что говорить так низко, политически некорректно и недостойно интеллигентного человека, но это так.

А у буфетной стойки на Курском вокзале стоял бомж и пытался выклянчить у буфетчицы стакан чаю. Видимо, он подходил уже не в первый раз, потому что буфетчица сразу же заорала: “Уйди отсюда! Уйди, я говорю! Уйди, а то сейчас милицию вызову!” Тогда бродяга повернулся лицом к очереди, развел руками и сказал: “Нонсенс!”

А знакомая девушка рассказывала, каких двух персонажей наблюдала она во дворе собственного дома около мусорного контейнера. Роясь в этом самом контейнере, они о чем-то горячо и, как ей показалось вначале, довольно агрессивно спорили — из-за пустой ли бутылки, из-за выброшенной ли кем-то меховой шапки. Так нет же. Когда она чуть прислушалась, до нее стали долетать такие слова, как “Бахтин”, “полифонизм” или “помните, в Пушкинской речи?”. Никакого сомнения не было в том, что речь шла о Достоевском.

## Собачьи метафоры

**У** моего товарища есть дом в деревне, где он проводит значительную часть года. В течение довольно долгого времени, рассказал он мне однажды, он каждое утро наблюдал в окне одну и ту же сцену. Когда колхозное стадо проходило мимо его двора, из калитки со звонким лаем выскакивал его приبلудный бобик и немедленно пристраивался впереди стада, как бы ведя его за собой. Через какое-то время дорога раздваивалась, стадо, ведомое пастухом, устремлялось по левой дороге, а пес, ослепленный своей путеводной миссией, некоторое время бодро

бежал по правой. В какой-то момент он оглядывался, растерянно обнаруживал, что стадо пошло куда-то не туда, и довольно долго и довольно склочно облаивал выбравших неправильный путь коров, призывая их к порядку. Коровы же, устремленные в сторону вожделенной клеверной полянки, самым обидным образом игнорировали его инвективы — ни одна даже не поворачивала голову в его сторону. Утомившись от своей шумной, но бесплодной агитации, пес на короткое время погружался в глубокую задумчивость. После чего, приняв стратегическое решение, он шустрым галлопом нагонял неблагодарное стадо и снова пристраивался впереди. И так бежал до самого конца. Это повторялось ежедневно, пока пес не состарился и не почил в окружении своих близких.

“Это смешно, — сказал я, — а к чему ты это вдруг?”

“А я это вспоминаю всякий раз, — сказал мой товарищ, — когда слышу о том, что Россия создана для того, чтобы указывать светлый путь всему человечеству. Именно поэтому, чтобы ты знал, ее ненавидят, боятся и стараются от нее избавиться.

Или хотя бы расчленишь и превратишь в сырьевую колонию. А слышу я об этом в последнее время все чаще и чаще. А еще мы все время всех спасаем — надо, не надо...”

“А вот про это, — говорю я, — у меня тоже есть своя история. И тоже, кстати, не без участия собаки. Сам был свидетелем”.

Подмосковье. Жаркий летний день. Заваленный пластиковыми бутылками и разнообразно раздетой публикой пляж на берегу дачного пруда. Все как обычно: волейбол, пиво, брызги, визги, дети, собаки. Среди собак выделяется огромный черный ньюфаундленд. Его еще называют водолазом. Это который специализируется на спасении утопающих.

Так вот. Сидит эта громадная, но вполне на вид мирная и благожелательная зверюга на берегу пруда, в сомнительных водах которого повизгивают да пофыркивают резвящиеся дачники, и со сдержанной плотоядностью вглядывается вдаль. И вдруг, уловив неведомо какой тайный знак, она срывается с места, подняв нешуточную волну, плюхается в воду и с крейсерской скоростью устремляется

в сторону отдельно взятого купальщика средних лет, беспечно плещущегося в мутной воде и флегматично поплеывающего кокетливыми китовыми фонтанчиками. Когда же эта жертва насильственного спасения увидела рядом с собой огромную мокрую башку черного левиафана, чьи намерения угадать было непросто, она, то есть он испустил страшный предсмертный вопль и изготовился, кажется, тонуть по-настоящему. В это время хозяйка водолаза металась по берегу и благим матом орала: “Джек, ко мне!”

Поколебавшись между унаследованной от предков миссией “принуждения к спасению” и благоприобретенной привычкой к послушанию, Джек выбрал все же послушание и с той же скоростью поплыл к берегу.

Недоспасенный купальщик, несмотря ни на что, тоже кое-как добрался до берега, где отзывчивые пляжники постарались укрепить его дух с помощью дружеских шуток и валидола под язык.

Поговорили мы с моим товарищем какое-то время о том, что умом все равно ничего этого не понять и аршином это никаким не изме-

рить. И про особенную статью тоже что-что поговорили. И еще раз поговорили о том, что понять все это невозможно даже с помощью “звериных” метафор. Но и о том, что с этими метафорами, хотя они тоже ничего толком не объясняют, как-то все же веселее ничего не понимать.

Но тема собак все никак не желала оставить нас в покое. А поэтому мой товарищ меланхолично спросил: “Как ты думаешь, почему деревенские собаки так яростно облаивают проходящие мимо автомобили?” “Не знаю, — сказал я, — но если ты имеешь в виду специфическое отношение к Западу...” “Ладно, — перебил он меня, — Хватит уже об этом. Давай о чем-нибудь другом”.

## Так, как есть

**В**от три маленькие истории, вроде бы ничем друг с другом не связанные.

Первую я выписал однажды из какого-то информационного сетевого издания, а потому приведу ее в подлиннике: “Клиент румынской службы “Секс по телефону” напал на ее сотрудницу, с которой регулярно общался, после того как увидел ее лицо. В магазине он обратил внимание на знакомый голос. Подойдя к своей собеседнице, мужчина заявил, что воображал ее необыкновенной женщиной с идеальными формами



и теперь чувствует себя обманутым, за что и отмстит”. Конец цитаты и истории.

Вторая такая. Когда-то мама моей старинной приятельницы являлась страстной и верной поклонницей артиста Жана Маре. Она смотрела все фильмы с его участием по многу раз, а всех знакомых и незнакомых мужчин постоянно сравнивала — не в их, разумеется, пользу — с победоносным французом, портрет которого, вырезанный из какого-то журнала, висел на самом видном месте ее кухни. Но однажды случился, что называется, момент истины. Пришли как-то к ее дочке две подружки, сидели на кухне, пили чай, трепались, обсуждали знакомых молодых людей. “Знаю я всех этих ваших кавалеров, — скептически сказала мамаша. — Ни рыба ни мясо. Вот мужчина!” — сказала она, молитвенно покосившись на заветный портрет. “Мужчина-то он, может, и мужчина, — безжалостно среагировала одна из девушек, — но ведь он же голубой”. — “Как голубой! Ты что!” — “А вы что, не знали, что ли?” — “Да не может быть!” — “Да точно. Это же всем известно”. Минуты две весьма почтенная дама, обремененная

высшим образованием и кандидатской степенью по химии, сидела в полной неподвижности, переваривая информацию, враз перевернувшую все ее базовые представления о мироздании и о порядке вещей. Потом она встала, подошла к портрету и не без театральности сорвала его со стены со словами: “Ну, если так, то зачем он мне тогда нужен?”

И третья. Сколько-то лет тому назад я в компании нескольких московских стихотворцев был участником поэтического вечера в одном из залов города Кельна. Перед началом чтений один из поэтов, человек уже немолодой, отвел меня в сторонку и спросил: “Лева, а вы знаете, сколько нам заплатят за выступление?” — “Нет, — говорю, — не знаю” — “А я вот узнал. По триста марок”. — “Ну и хорошо”. — “Что ж хорошего-то. Я выступал недавно в Гамбурге, и там мне заплатили пятьсот”. — “А что, — спрашиваю, — здесь вам обещали столько же и обманули?” — “Да нет, — говорит, — ничего они не обещали”. — “Так в чем же, — говорю, — дело? Сколько могут, столько и платят”. — “Но я-то рассчитывал на пятьсот. Ведь в Гамбурге же...” Разговор явно зашел в тупик,

и я каким-то образом сумел отвязаться от его явно бесперспективных притязаний. Но он уже не мог успокоиться и отзывал в сторонку то одного, то другого коллегу с тем же разговором. Через некоторое время он снова подошел ко мне, при этом лицо его, до этого предельно озабоченное, показалось мне едва ли не просветленным. “Лева, — сказал он, — я, кажется, нашел выход из положения. Я собирался читать двадцать пять минут, а буду читать всего пятнадцать. По-моему, это будет справедливо”. А по-моему, не очень. Но я уж не стал ему этого говорить. Не стал я ему говорить, что за краткость-то я бы как раз и доплачивал. Зачем рушить стройную, хотя и хрупкую систему?

Чем же, действительно, можно объединить все эти бесхитростные сюжеты? В общем-то ничем, кроме того, что все они — об обманутых ожиданиях. Об обманутых ожиданиях, кои и являются истинной причиной большинства наших крупных и мелких бед.

Требуется мораль? Пожалуйста. Мы много страдаем от несоответствия жизни нашим о ней представлениям. Кто сказал, что жизнь слож-

нее, чем наши представления о ней? Ничего она не сложнее. Может, она даже и проще. Она просто другая — такая, какая есть. И мы такие, какие есть. И принимать друг друга хорошо бы научиться такими, какие мы все есть. И не надо говорить, что это страшные банальности, — сами знаем. Но, во-первых, я убежден в том, что банальностью обычно называют то, что ближе всего располагается к тому, что обычно называют истиной. А во-вторых, эти самые банальности приходится повторять снова и снова. С чего бы это?

## Сон автора

Этот сон, мне приснившийся, есть одно из самых странных приключений всей моей жизни.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ, *“Подросток”*

**А**втору настоящего текста как человеку, известному многим не только многочисленными своими дарованиями, но и образцовой скромностью, ни за что не придет в голову говорить о себе как о человеке, обладающем многочисленными дарованиями и наделенном к тому же образцовой скромностью.

Пока все понятно? Тогда продолжим.

Я хочу сказать, что, считая себя талантливым и остроумным в реальной жизни, о чем я в силу указанных выше причин никогда не заявлю во всеуслышанье, я вынужден признать, что в моих снах все обстоит совсем по-другому.

В своих снах, иногда причудливых до необычайности, я не бываю, увы, ни умным, ни талантливым. Умными и талантливыми там всегда оказываются другие. Обидно, но что делать.

Мне, например, время от времени снятся прекрасные стихи. Я смело говорю, что они прекрасны, потому что они мне всегда снятся в качестве исключительно чужих стихов. А чужие же стихи я имею право называть прекрасными, не правда ли? В большинстве случаев стихи эти по пробуждении не вспоминаются. А если и вспоминаются, то лучше бы они не вспоминались. Видимо, не выдерживая напора вульгарной и погрязшей в циничном практицизме реальности, они тут же вянут и осыпаются, как тропические цветы в нашем бодром и здоровом — но не для всех — климате. Но в безвозвратно утерянном, как золо-

той век, хронотопе сна они бывают подчас совершенно прекрасны, хотите верьте, а хотите нет.

Некоторые отдельные строки, а то и целые произведения “чужого” поэтического искусства все же каким-то чудом выдерживают испытание суровой, не верящей слезам реальностью. И тогда мне приходится их не то чтобы присваивать, а усыновлять, что ли. А как еще? Их-то подлинные родители во-о-он где — поди-ка их разыщи. А стихи и мы обитаем здесь и сейчас. Не оставлять же их на произвол судьбы. Кто их там еще подберет? Чему научит? Для каких дел использует? Мы в ответе за тех, кого приручили.

Не только стихи или проза приключаются во сне. Бывают там и удивительные разговоры — умные, веселые, счастливые. Не то чтобы таких не бывает в реальности — еще как бывают. Но почему-то именно в призрачных застольях я всегда играю исключительно пассивную роль — роль благодарного слушателя и ценителя чужого таланта и остроумия.

Вот, например, совсем на днях некто (во сне, разумеется) рассказывает кому-то (а я всего лишь

присутствую при этом разговоре) про то, что затеян новый радиоканал, посвященный проблемам благотворительности и меценатства. “Все есть, — говорит некто, — и концепция, и даже деньги, и все остальное. А название до сих пор придумать не смогли. Есть какие-нибудь идеи?” “Есть! — немедленно отвечает второй. — Такой канал должен называться “ХРИСТАРАДИО”. “Гениально!” — кричу я и тут же просыпаюсь, потому что кот-подлец со всего размаху прыгнул мне на живот. “Почему же это не я придумал?” — завистливо думаю я и тут же спохватываюсь в том смысле, что почему же не я, если вроде бы как и я. Хотя и не я, строго говоря. А почему, собственно, строго? Вот ведь проблема.

Или вот еще. Мой приятель (тоже во сне) достает из портфеля какую-то газету и говорит: “Посмотри, какую чудесную опечатку я обнаружил”. И показывает мне какую-то статью, энергично обличающую отдельные пороки нашего общества, все еще не до конца окученного живительными нацпроектами. Статью я, естественно, читать не стал, а прочитал заботливо подчеркнутое моим приятелем



лем место. Место было такое: «... а также мизерные пениси наших стариков..» То малозначительное вроде бы обстоятельство, что автором статьи была, судя по подписи, дама, добавляло в этот маленький, но бесспорный шедевр еще и щепотку дополнительной околорейдистской прелести.

Был в этой призрачной газете и еще один бонус от щедрого Гипноса. Там была обнаружена мною также и театральная рецензия, судя по всему, язвительная, потому что называлась она так: “Не мытьем, так катарсисом”. Я и рад бы, конечно, подарить этот заголовок кому-либо из друзей-критиков, но не могу — не мое.

Вот кто, спрашивается, придумал этот заголовок? Вроде как не я. А “мизерные пениси”? Уже и совсем не я. И даже не я их обнаружил. Обнаружил их мой товарищ из сна, умеющий замечать такие вещи, которые ускользают даже от корректора. А я всего лишь оказался благодарным и счастливым соучастником чужой удачи. Но сон-то мой, черт побери! Что вы меня тут совсем запутали!

Нет. Ничего толком невозможно понять в туманной метафизике авторского права и всяче-

ской интеллектуальной собственности. Особенно если в это дело вмешиваются такие малоуловимые и никем не управляемые явления, как сновидения и прочие грезы, совершенно недоступные для осознания их в нравственных категориях, не говоря уже о юридических.

Но я в любом случае решительно отмежевываюсь от своих авторских прав на все стихи, шутки и опечатки, выуженные из сладких и страшных предутренних грез. Во-первых, в сновидческих приключениях вовсе не участвует авторская воля. Во-вторых, нам чужого не надо. Удовольствуемся ролью по возможности добросовестного свидетеля.

Бартовская формула “смерть автора” всегда казалась мне чересчур категоричной, хотя и эффективной. А вот “сон автора” будет, по-моему, в самый раз.

Не будем заодно забывать и о том, что не только во сне, но в общем-то и наяву мы не говорим ничего своего — все слова были уже произнесены до нас, и не один раз. Поумерим-ка свои демиургические амбиции. Будем скромны и смиренны. Ну, хотя бы как... (*см. начало*).



## *Послесловие*

# Рубинштейн как жирши

**Н**е знаю, как вы, а я о времени, потраченном на чтение книги, не жалею, если обнаружил в ней хотя бы одну свежую или вкусно изложенную мысль. По этому критерию текст, который мы с вами только что прочли, ей-богу, уникален. Его чуть ли не весь хочется растащить на афоризмы. Не сомневаюсь, что именно это и произойдет.

Какие из рубинштейновских максим вам понравились больше всего? Давайте сравним.

Все, которые впечатлили меня, приводить не буду — пришлось бы напечатать книгу второй раз. Приведу лишь мой “топ-тен”.

О национальной гордости великороссов: *“Обижать других нехорошо, безнравственно. Но шумно и вздорно обижаться на все подряд — не менее безнравственно”*.

Вообще о национальных особенностях: *“Это все либо для патриотов, либо для ксенофобов, что, в общем-то, одно и то же”*.

Заодно уж и о нынешней моде на патриотизм: *“Есть еще такая штука, как “патриотизм”, означающая, как правило, приблизительно то, что навозную кучу посреди родного огорода предписано любить на разрыв аорты, в то время как клумба с георгинами во дворе соседа ничего, кроме гадливого омерзения, вызывать не должна”*.

А вот емкая картина современного исторического периода: *“В нынешнюю... эпоху в качестве китчевого мейнстрима выступают жирный гламур, наглежащая от полной безнаказанности попса, несовместимый с жизнью телеюмор, сивушно-палехский патриотизм, всенародная резвушка Ксюша и мачо-президент, в маске горнолыжника вещающий что-то о геополитических интересах России”*.

Для равновесия — об оппозиции: *“Натужная, крикливая, неопрятная оппозиция так же глупа и неприятна, как respectable, самодовольная, лоснящаяся любовь к начальству. Впрочем, нет, не так. Глупа так же. Неприятна так же. Но в гораздо меньшей степени опасна для душевного здоровья общества”*.

О том, про что не хочется, но приходится думать: *“Аполитичность — это, если угодно, и есть сегодняшний конформизм”*.

О том, чем должна быть, но чем не является русская интеллигенция: *“Одним из признаков цивилизованности того или иного государства можно считать наличие такой общественной функции, носителем которой является человек, обычно называемый интеллектуалом. Это не оппозиционер и не апологет государства. Это его трезвый критик и ироничный комментатор. Это официально признанный носитель независимого взгляда. Это диагност”*.

На ту же примерно тему: *“Чрезмерно серьезное вообще всегда смешно”*.

О личном и наболевшем для меня как для автора “рыночной” литературы: *“Сочинительство есть сугубо частное дело, и это так и есть. Но коль скоро*

*твой продукт обнаруживает способность становиться товаром, будь готов к тому, что твой товар нуждается в фирменной упаковке, которой являешься ты сам”.*

- *Чрезвычайно точное и новое для меня суждение: “Зло никогда не бывает остроумным. А если бывает — то это уже не зло”.* Прочитал, подумал, засомневался. Подумал еще — согласился.

В принципе это должно быть очень скучно — если во всем соглашаешься с автором. Зачем тогда читать его сочинение? Но тут почему-то совсем не скучно.

Собственно, понятно почему. Сам же Рубинштейн и объясняет, когда пишет о детях (все-таки уложиться в “топ-тен” у меня не получилось; пускай будет “топ-илевен”): *“Они как-то вдруг умеют формулировать то, что должны были бы сформулировать мы сами, если б умели. Такое бывает при соприкосновении с хорошим искусством: “Как же так — это же так просто! Почему я это не сказал?”*

Поскольку Рубинштейн абсолютно не ребенок, остается второе: это хорошее искусство. Впрочем, раз

вы дочитали книжку аж до послесловия, нет нужды убеждать вас в этом факте.

Писать послесловие, особенно для такой книги, гораздо покойней и приятней, чем писать предисловие. Все чужие отсеялись в процессе чтения. Потому что Рубинштейна или уж любят и принимают целиком, или столь же страстно отторгают и ненавидят — таких тоже немало, в чем я с удивлением убедился, как-то заглянув в интернетовскую переписку по поводу его текстов. Ну и бог с ними, с ненавистниками. Если они и взяли в руки эту книгу, то полопались от злости еще на самых первых ее страницах. До конца же дошли только свои, которым не нужно ничего объяснять, а достаточно просто поделиться впечатлениями.

Я надеюсь, что вы прочитали эту книжку так же, как я, то есть не всю сразу и подряд, а с более или менее продолжительной остановкой после каждой главки. Здесь ведь пауза и рефлексия о прочитанном почти столь же важны, как сам текст.

Помните, как Рубинштейн читал свои стихи с маленьких карточек? Они и издавались так же, толстень-



кими пачками маленьких бумажек, которые надо было перебирать, словно игральные карты. Это для паузы. Чтоб слушатель/читатель вник и сверил свои ощущения с авторскими.

По тому же принципу издавались и эти эссе — в бумажных или сетевых журналах: текст, недельная пауза, снова текст. Я, как и многие мои знакомые, уже который год живу в этом ритме. Когда есть возможность сверять свои впечатления от жизни с рубинштейновскими, жизнь становится более внятной. Этот автор объясняет мне на моем *языке*, что происходит вокруг и что в связи с этим происходит внутри меня.

Когда мои реакции совпадают с его реакциями, это меня ужасно радует, потому что Лев Рубинштейн обладает абсолютным этическим и эстетическим слухом, а это очень и очень редкое сочетание. У меня часто бывает, что я напишу что-нибудь, да и засомневаюсь, не китч ли (вечная проблема массовой литературы). На этот случай есть верное средство. Я спрашиваю себя, наморщил бы от этого пассажа нос Лева или нет (когда этическое или эстетическое чувство Рубинштейна оскорблено, у него первым делом это отображается мимически).

Помню, пару лет назад был я на премьере одного иностранного фильма, чрезвычайно возвышенного, увенчанного всевозможными призами. Вся публика в зале вздыхала, сморкалась, а многие достойные люди даже плакали светлыми слезами, меня же довольно интенсивно подташнивало от привкуса фальши. И забеспокоился я, и почувствовал себя отщепенцем, даже моральным уродом. Но когда зажегся свет и растроганные соотечественники разразились аплодисментами, я разглядел поодаль Рубинштейна, бросился к нему и спросил: “Скажи, Лева, у меня затмение или же это тупфта?” Поэт наморщил нос, и мне сразу полегчало.

Литературную жизнь автора этой книги обычно хронологически делят на две части, стихотворческую и прозаическую. Причем принято считать, что Лев Рубинштейн все равно остался поэтом *par excellence*, просто до пятидесяти лет он писал стихи в виде стихов, а после пятидесяти тоже пишет стихи, но уже в виде эссеистики. Мол, смена жанра не меняет сути, ибо стихотворения раннего Рубинштейна эссеистичны, а его

замечательные эссе по отточенности стиля, емкости и образности — стихи в прозе.

У тюркских степных народов, суровые условия жизни которых отсекали все избыточное и оставляли в обиходе лишь самое существенное, литераторы традиционно делились всего на две категории: акыны и жирши. Первые — это (цитирую по энциклопедии) “поэты-импровизаторы, которые в речитативной форме выражают мысли, чувства и чаяния общества, обличают социальные пороки, воспевают героев, являются камертоном народных настроений”. А жирши — это сказители эпических произведений, так сказать, мастера крупной формы, толстые-шолоховы. Очень правильная, между прочим, градация.

Я всегда числил Рубинштейна в акынах. Вроде бы все совпадает. Налицо более или менее речитативная форма, обличение пороков, созвучность народным (то есть нашим с вами) чаяниям. Прокол лишь с воспеванием героев, но это, может, у нас просто временные трудности с героями. Было время, когда, восхищаясь рубинштейновским даром изложения, я приставал к нему, чтобы он взял да и написал роман о современности, которую он чувствует и умеет опи-

сывать лучше, чем кто-либо другой. Рубинштейн же не соглашался, утверждая, что он по своей природе акын, а не жирши (ну, не в этих точно терминах, но смысл возражений был именно таков). Я, помнится, ему даже поверил.

А теперь прочитал эту книжку и скажу: Рубинштейн — самый настоящий жирши, вне всякого сомнения.

Я ведь все эти тексты когда-то уже читал, по мере их опубликования. Однако, собранные под одной обложкой и в определенной последовательности, они обретают новое качество. Получился роман и, пожалуй, даже эпическое произведение о нашей с вами жизни, о своем и о чужом, о вчерашней, сегодняшней и завтрашней России. И не только о России. Знаете, мне даже кажется теперь, что только таким и может быть роман, написанный о современности. Обрывки подслушанных разговоров, какофония и эхолалия, мелькание ярких и тусклых жанровых сценок, несущественные детали, спонтанные эмоции, незаглушенные запахи — одним словом, духи́ и дү́хи нашего времени. Фабульность здесь будет искусственностью, а стало быть, ложью. Сюжет ведь появляется, когда все уже

закончилось, все устаканилось, прояснилось и выпало на дно в виде осадка, удобного для анализирования и, если охота, мифологизирования. Иными словами, когда все уже умерли.

Но много нас еще живых, и по этому поводу незачем печалиться. Между прочим, книжка Рубинштейна еще и об этом.

**Григорий Чхартишвили (Б. Акунин)**

**CORPUS** 241

**ЛЕВ РУБИНШТЕЙН**

**СКОРЕЕ ВСЕГО**

**16+**

*Главный редактор* ВАРВАРА ГОРНОСТАЕВА  
*Художник* АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО  
*Ведущий редактор* ЕВГЕНИЙ КОГАН  
*Ответственный за выпуск* ОЛЬГА ЭНРАЙТ  
*Технический редактор* ТАТЬЯНА ТИМОШИНА  
*Корректоры* ЕКАТЕРИНА КОМАРОВА  
*Верстка* АНДРЕЙ КОНДАКОВ

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

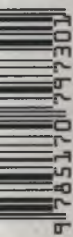
Подписано в печать 13.07.13. Формат 70×108 1/32  
Бумага офсетная. Гарнитура “OriginalGaramondC”  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2  
Тираж 4000 экз. Заказ №3353/13

ООО “Издательство АСТ”,  
127006 г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

По вопросам оптовой покупки книг обращаться по адресу:  
123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, БЦ “Империя”, а/я №5  
Тел.: (499) 951 6000

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО “ИПК Парето-Принт”, г. Тверь, [www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)



**ОБИЖАТЬ ДРУГИХ НЕХОРОШО, БЕЗПРАВСТВЕННО. НО ШУМНО И ВЗДОРНО ОБИЖАТЬСЯ НА ВСЕ ПОДРЯД НЕ МЕНЕЕ БЕЗПРАВСТВЕННО, ВОТ ВЕДЬ В ЧЕМ ДЕЛО.**

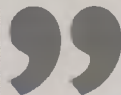
**ЕСТЬ ЕЩЕ ТАКАЯ ШТУКА, КАК “ПАТРИОТИЗМ”, ОЗНАЧАЮЩАЯ, КАК ПРАВИЛО, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ТО, ЧТО НАВОЗНУЮ КУЧУ ПОСРЕДИ РОДНОГО ОГОРОДА ПРЕДПИСАНО ЛЮБИТЬ НА РАЗРЫВ АОРТЫ, В ТО ВРЕМЯ КАК КЛУМБА С ГЕОРГИНАМИ ВО ДВОРЕ СОСЕДА НИЧЕГО, КРОМЕ ГАДЛИВОГО ОМЕРЗЕНИЯ, ВЫЗЫВАТЬ НЕ ДОЛЖНА.**



**ЗЛО НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ОСТРОУМНЫМ. А ЕСЛИ БЫВАЕТ — ТО ЭТО УЖЕ НЕ ЗЛО.**

Лев Рубинштейн — поэт, публицист, один из основоположников московского концептуализма. С приходом XXI века Рубинштейн прославился еще и как кolumnист — его колонки, выходявшие в “Итогах”, “Большом городе”, *Esquire*, на “Гранях.ру” и т. д., точны и остроумны. За свою книгу “Знаки внимания” он был награжден литературной премией “НОС-2012”. “Скорее всего” — это обновленный и разросшийся в полтора раза сборник “Духи времени”, выходявший пять лет назад.

**МНЕ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ СТАТЬ ПИСАТЕЛЕМ. ИНОГДА ХОЧЕТСЯ ТЕПЕРЬ.**



**АПОЛИТИЧНОСТЬ — ЭТО, ЕСЛИ УГОДНО, И ЕСТЬ СЕГОДНЯШНИЙ КОНФОРМИЗМ.**